

NARTAMONGÆ

The Journal of Alano-Ossetic Studies:
Epic, Mythology, Language, History



Vol. X

№1-2

2013

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТР СКИФО-АЛАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ им. В. И. АБАЕВА

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
CENTRE D'ÉTUDES RUSSES ET EURASIENNES

NARTAMONGÆ

Журнал
Алано-Осетинских Исследований:
Эпос, Мифология, Язык, История



Allon-Iron
Irtasænty Zurnal:
Epos, Mifologi, Ævzæg, Istori

2013

Vol. X

№ 1, 2

Dzæwdžyqæw/Vladikavkaz – Paris

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНТР СКИФО-АЛАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ им. В. И. АБАЕВА

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES
CENTRE D'ÉTUDES RUSSES ET EURASIENNES

NARTAMONGÆ

Revue

d'Études Alano-Ossétiques:

Épopée, Mythologie, Langage, Histoire



The Journal

of Alano-Ossetic Studies:

Epic, Mythology, Language, History

2013

Vol. X

№ 1, 2

Paris – Vladikavkaz/Dzæwdžyqæw

The Abaev Centre for Scytho-Alanic Studies

is a new academic institution devoted to the scholarly study of Culture, History and Languages of Ancient Iranian Nomads of Eurasia. It was established in its present form by the Russian Academy of Sciences as a part of its North Ossetian Branch in Vladikavkaz.

The Abaev Centre's Periodical,

NARTAMONGÆ

The Journal of Alano-Ossetic Studies:

Epic, Mythology, Language, History

is published twice a year in collaboration with the Centre d'Études russes et eurasiennes of Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris.

Current rates for subscriptions for the volume (calendar year):

Institutions \$ 50 p.a.

Private individuals \$ 40 p.a.

(Please add \$ 12.00 postage for non-Russian addresses)

Single issues of the NARTAMONGÆ may be purchased for \$ 25.00. For further information on how to pay or for any other questions, please contact:

RUSSIAN FEDERATION, 362040, Republic of North Ossetia-Alania, VLADIKAVKAZ, Prospect Mira,10. The Abaev Centre for Scytho-Alanic Studies

© Центр скифо-аланских исследований ВНИЦ РАН, 2013

© Издательство «Проект-Пресс», 2013

На обложке тома: изображение скифов на электроном сосуде: один скиф удаляет зуб другому.

Sur la couverture du volume: l'image de Scythes sur le vaisseau électrum: un Scythe extrait la dent de l'autre.

On the cover of the volume: the image of Scythians on the electrum vessel: one Scythian extracts the tooth of the other.

NARTAMONGÆ
The Journal of Alano-Ossetic Studies:
Epic, Mythology, Language, History

Rédacteurs en chef – General Editors
Главные редакторы

François CORNILLOT
(INALCO, Paris)

Bagrat TEKHOV
(The Abaev Centre for Scytho-Alanic Studies, Vladikavkaz)

Rédacteurs – Editors
Редакторы

Agustí ALEMANY
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Yuri DZITTSOITY
(South Ossetian State University)

Conseil Scientifique International – International Scientific Board –
Международный научный совет

Françoise BADER (E.P.H.E, Paris)
Georges CHARACHIDZÉ (Institut de France)
Gadži GAMZATOV (Russian Academy of Sciences)
Yuri VOROTNIKOV (Russian Academy of Sciences)
Nikolas KAZANSKY (Russian Academy of Sciences)
Askold IVANTCHIK (Russian Academy of Sciences)
Jean KELLENS (Collège de France)
Alexander LUBOTSKY (Leiden University)
Antonio PANAINO (Universita' degli studi di Bologna)
Adriano ROSSI (Istituto Universitario Orientale, Napoli)
Felix SLANOV (The *Aryāna*- Company, Moscow)
Georgy CHOCHIEV (The Abaev Centre for Scytho-Alanic Studies)

CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ
SOMMAIRE

Э. А. ГРАНТОВСКИЙ. «Серая керамика», «расписная керамика» и индоиранцы.....	7
S. S. MISRA. Bearing of the Indo-European Comparative Grammar on the Aryan Problem.....	48
F. R. ALLCHIN. Archeological and Language-Historical Evidence for the Movement of Indo-Aryan Speaking Peoples into South Asia.....	65
В. П. АБАЕВ. Жанровые истоки «Слова о полку Игореве» в свете сравнительного фольклора.....	84
Sonja FRITZ, Jost GIPPERT. Wyrzmaęs Eselsritt.....	110
V. A. KUZNETSOV. The Avars in the Nart Epos of the Ossets.....	127
Е. Б. БЕСОЛОВА. О форме мировосприятия нартов.....	133
Alain CHRISTOL. Introduction à l'Ossète.....	141
Alain CHRISTOL. Scythica (1, 2, 3).....	199
Alain CHRISTOL. Scythica (5).....	210
Ю. А. ДЗИЦЦОИТЫ. К этимологии теонима «куырдалагон».....	223
В. А. КУЗНЕЦОВ. Средневековые дольменообразные склепы Верхнего Прикубанья.....	234
Ilya GERSHEVITCH. The Ossetic 3rd Plural Imperative.....	250
Rainer ECKERT. Zu Einigen Ossetisch-Slawischen Übereinstimmungen.....	262
Sonja FRITZ. Ein Frühes Ossetisches Sprachdenkmal.....	270
Fridrik THORDARSON. An Ossetic Miscellany Lexical Marginalia.....	281
Dieter WEBER. Eine Angeblich Slavisch-Ossetische Lexikalische Übereinstimmung.....	290
Vladimir E. OREL. Ossetica.....	296
Содержание опубликованных томов журнала «Nartamongæ» (тт. I-X).....	300

Э. А. ГРАНТОВСКИЙ

**«СЕРАЯ КЕРАМИКА», «РАСПИСНАЯ
КЕРАМИКА» И ИНДОИРАНЦЫ**

Ни череп, ни меч, ни глиняный горшок не могут непосредственно свидетельствовать о принадлежности их бывших собственников к индоевропейскому или иному языковому единству.

О. Шрадер

«Арийская проблема», включающая вопросы происхождения, ранней истории и расселения индоиранских (арийских) племен со времени их выделения из индоевропейского племенного единства до распространения в странах, где они засвидетельствованы в исторический период, является по своему характеру проблемой комплексной. Ее исследование опирается на материалы самого различного рода. Это выводы чисто лингвистического порядка – прежде всего о классификации, генеалогическом родстве и ареальных связях арийских языков с другими индоевропейскими и между собой, а также о контактах с языками иных семей, от финно-угорских (с индоиранской эпохи) до дравидийских и мунда (для арийских языков в Индии); данные о животном и растительном мире, природно-климатических условиях, в которых жили индоевропейцы и арии; анализ исторических, а также современных географических названий и особенно гидронимов; сравнительные историко-лингвистические материалы о хозяйстве, быте, культуре арийских племен, об особенностях их социального и политического строя ко времени отделения от других индоевропейцев и позже; сведения источников об индоиранских племенах на заре их письменной истории (а также о переселениях в историческую эпоху) и многие другие данные, в том числе и относящиеся к более поздним периодам – например, характеризующие этнические черты индоиранских народов и процессы их этногенеза в соотношении с особенностями асси-

милированного населения, от чего зависят также выводы о характере и составе мигрирующих арийских групп (а от этого – и подход к поискам археологических следов таких миграций).

Важное место в разработке этой проблемы принадлежит археологическому материалу. В отношении упомянутых историко-лингвистических данных большое реальное значение этого материала состоит прежде всего в сопоставлении с выводами науки об «индоевропейских древностях», возможности хронологически и территориально проконтролировать те или иные положения о распространении индоевропейских и арийских племен в свете реконструкций их социального строя, хозяйства, быта и культуры. Это касается многих общих черт и конкретных деталей. Ограничимся таким общим примером. Некоторые ученые, в сущности, вопреки ряду выводов индоевропеистики сдвигали родину индоевропейцев или их восточной ветви, ариев, ближе к азиатским степям или в их пределы; при этом, учитывая данные о развитии у индоевропейцев и особенно у ариев скотоводства и коневодства, исходили и из соображений этнологического плана об особом значении скотоводства и всадничества в этих степных областях, где в историческое время обитали скотоводы-кочевники. Но, как теперь известно по археологическим свидетельствам, эти области были заняты охотниками и собирателями в то время, когда формировалось и существовало индоевропейское единство, а частично и после начала его распада.

Вообще же археология вполне подтверждает традиционную локализацию индоевропейского единства перед его распадом в Европе, примерно в пределах территории от Балкан до районов к северу и северо-западу от Черного моря и Центральной Европы (либо также в некоторых прилегающих к этой территории областях), а в природно-климатическом отношении – в нормально-умеренной (с продолжительной и довольно холодной зимой) и преимущественно лесной зоне. Сравнительные историко-лингвистические данные указывают на раннее развитие у предков индоевропейцев земледелия и скотоводства, связанных с ними хозяйственных и бытовых особенностей, на дальнейший прогресс хозяйства и социального строя. Все это соответствует современным археологическим материалам, намного удревнившим возникновение и распространение земледельческо-скотоводческого хозяйства в упомянутых областях и последующее социально-экономическое развитие ряда культур Европы¹.

Равным образом распространение культур с особой ролью скотоводства (сочетавшегося, однако, с земледелием) в Северном Причерноморье и соседних областях с IV–III тыс. до н. э. и позже вполне сочетается с данными о возросшем значении скотоводства у индоевропейцев (или их

части) в эпоху перед распадом их единства и о ведущей роли скотоводства (но без разрыва с земледелием) у ариев. Вместе с материалами о социальном развитии тех же культур это соответствует и обычной локализации индоиранцев в ту эпоху в районах к северу от Черного моря и Кавказа. Природные и хозяйственные различия в ареале обитания индоевропейцев, одни из которых жили в лесной, а другие (прежде всего арии) – в степной зоне, существовали, по одному мнению, уже в эпоху «пранарода», а по другому (видимо, более оправданному) – были вторичны, и предки ариев некогда разделяли с другими индоевропейцами традиции хозяйства в одинаковых природных условиях. Но в любом случае эти надежные выводы о различных для разных групп индоевропейцев хозяйственных и экологических условиях, подразумевающих «контрасты леса и степей», указывают на контакты таких групп в областях севернее Черного моря. Данное наблюдение, сделанное на основе сопоставления с географическими и историко-этнологическими данными, теперь подтверждается и может быть конкретизировано в свете материалов археологии.

На территориях от областей Европы, где обычно помещают родину индоевропейцев, до Ирана и Индии, куда проникла часть арийских племен, открыты и изучены археологические материалы, позволяющие представить развитие культурных, хозяйственных, а также социальных процессов на этих территориях. На их археологической карте остается все меньше территориальных и хронологических пробелов, расширяются и уточняются данные об уже известных культурах и их датировках. Несомненно, что роль материалов археологии в разработке «арийской проблемы» будет постоянно возрастать, но лишь при условии их конкретного соотнесения с историко-лингвистическими выводами.

Необходимо подчеркнуть, что языковые и сравнительно-исторические данные должны иметь приоритет при постановке и изучении любых аспектов этой проблемы и сама она в основе историко-лингвистическая. Заметим, к примеру, что носители культур Северного Индостана и Иранского нагорья времени преобладания там индоарийских и иранских языков в первой половине I тыс. до н. э. на основании одних лишь археологических (или антропологических и т. п.) данных не были бы признаны родственными не только индоевропейцам Европы, но, очевидно, и между собой и с населением северных степей, также «арийским» (скифы и др.). Устанавливая само родство индоиранских племен, степень их близости внутри арийской группы и ее иранской ветви, лингвистические и сравнительно-исторические материалы дают также конкретные свидетельства о хозяйстве, быте, социальном строе, культуре и т. п. арийских племен со времени, когда их предки входили в индоевропейское

единство, и на разных этапах их дальнейшей истории вплоть до появления на Иранском нагорье и Индостанском субконтиненте.

На упомянутом пути Европа – Индия известны многие археологические культуры, и нелегко назвать среди них такую, которая по тем или иным концепциям не связывалась бы с индоиранскими племенами. Причем с ними отождествляются и такие синхронные культуры, которые одновременно никак не могли бы принадлежать этим племенам. Существование различных или взаимоисключающих гипотез по спорной проблеме само по себе, конечно, вполне допустимо. Но часть таких гипотез, если не большинство, практически не сопровождается опирающейся на историко-лингвистические данные аргументацией, которая показывала бы, почему та или иная культура и ее материалы должны или могут быть отнесены к индоиранским племенам.

Нередко исходят прежде всего из того обстоятельства, что в историческую эпоху на тех же территориях обитало население этой языковой группы, что, однако, никак не может служить аргументом, тем более если нужно решить как раз вопрос о том, когда в данных областях появились индоиранские племена. К началу же исторической эпохи они были распространены от низовьев Дуная до долины Ганга и от границ тайги до Аравийского моря, но в предшествующие периоды они могли обитать лишь на части этой территории (а еще ранее, возможно, и за ее пределами). В качестве археологического довода в пользу раннего обитания ариев в тех или иных частях указанной территории одинаково используют «ретроспективный» метод, прослеживая преемственность культурных (а также, как полагают, этнографических) традиций от времени обитания в этих районах исторически известного населения индоиранской группы через предшествующие, сменяющие друг друга археологические культуры до весьма отдаленных эпох, иногда до энеолита, а то и ранее. Преемственность «культур», а также тех или иных «этнографических» признаков по ряду археологических показателей в таких случаях действительно наблюдается, но это лишь подчеркивает, что она могла сохраняться и при появлении нового этноса и полной смене этноязыковой принадлежности населения, в том числе его «арианизации» по крайней мере на части названной территории (или, хотя и в разное время, на всей в целом).

Если подобным образом аргументируют автохтонность арийских племен в одних областях, то для доказательства их продвижения в другие часто ссылаются на такие явления, которые также могли происходить и, безусловно, происходили на тех же территориях задолго до проникновения туда ариев (независимо от того, указывают ли вообще такие факты на

новый этнос и миграции или нет). При этом часто ссылаются на появление или распространение таких черт материальной культуры, как орнаментация керамики, формы сосудов и ряда других изделий и т. п. Но сами эти изделия, в каком бы оформлении они ни выступали, не имеют ничего специфически «арийского». Так, глиняная посуда имелась, понятно, и у индоиранских, и у многих других племен и народов. А в отношении культур с керамикой, сделанной на гончарном круге (многие из таких культур также отождествляются с ариями), прежде этого отождествления следовало бы задаться вопросом, существовало ли у индоиранских племен в доисторическую эпоху профессиональное гончарное ремесло.

При отсутствии более надежных археологических критериев в настоящее время целесообразно исходить прежде всего из того, может ли данная археологическая культура по своим бытовым, хозяйственным, социальным и тому подобным характеристикам быть сопоставима с культурой ариев или их отдельных групп в соответствующую эпоху по историко-лингвистическим материалам (конкретные же формы изделий и распространение их типов должны учитываться лишь в случае, если сами предметы по своим функциям для данных территорий и эпох могут быть связаны с арийскими племенами или их влиянием). В общих чертах указанная задача сейчас вполне разрешима. И если таким образом нельзя прямо указать на ареал определенной культуры, принадлежавшей именно ариям, то, во всяком случае, можно намного сократить число археологических культур, в области распространения которых могли обитать арии или их отдельные группы. Это имело бы существенное значение для дальнейшей разработки истории арийских племен и в частности вопросов их социального строя, хозяйства и культуры. Вместе с тем возможность исключить для определенных территорий и эпох присутствие индоиранских племен позволила бы внести важные территориальные и хронологические коррективы в картину расселения ариев по лингвистическим теориям (согласно этим теориям, территории, по которым распространялись индоиранские племена до проникновения в Иран и Индию, часто выступают как некое недифференцированное, в том числе в хозяйственно-культурном отношении, пространство).

Заметим, однако, что, несмотря на существенные расхождения в выводах упомянутых «лингвистических» теорий, в целом они обычно направляют единое направление индоиранских миграций, относящихся к определенной, хотя и весьма широкой в совокупности всех этих теорий эпохе, и учитывают данные о расселении ариев от их выделения из индоевропейского единства до распространения в Индии, Иране и других странах в начале исторического периода. По большей части иначе обсто-

ит дело с построениями, основанными на иных материалах и связывающими ариев с отдельными историко-географическими регионами и их археологическими культурами. Так, предполагая древнее пребывание индоиранцев в данном ареале, не указывают (или вообще не учитывают), какие выводы индоевропеистики позволяют помещать там ариев в столь раннее время и допустима ли вообще такая гипотеза в свете любых существующих историко-лингвистических положений. Или, полагая, что проникновение ариев в данный регион отмечено появлением неизвестных тут ранее особенностей материальной культуры, нового типа керамики и т. п., не пытаются уяснить, могли ли перед этим арии жить на соседних территориях, откуда они могли бы проникнуть в данную область, а сопоставляя распространение подобных особенностей материальной культуры на соседние территории с продвижением арийских племен, не стараются установить, отвечают ли этому мнению историко-лингвистические или даже иные археологические данные, относящиеся к территориям, в сторону которых направлено это предполагаемое движение. В результате такие выводы и этнические атрибуции археологических культур часто оказываются бездоказательными или неприемлемыми. Поэтому при изучении вопроса о происхождении и миграциях ариев и их групп на материалах отдельных областей и эпох необходимо учитывать данные по проблеме в целом, и территориально и хронологически – от выделения ариев из индоевропейского единства до их проникновения в Иран и Индию. В этом требовании также проявляется комплексность «арийской проблемы» на существующем уровне ее разработки.

Далее в свете сказанного будут рассмотрены теории, связывающие с ариями доисторические (ранее I тыс. до н. э.) земледельческие культуры юга Средней Азии и соседних областей Иранского нагорья.

В начале 30-х годов в Северо-Восточном Иране, на равнинах Горгана (Туренг и Шах-тепе) и у Дамгана (Гиссар), были изучены поселения с монохромной «серой» (или «серо-черной», «черной») керамикой, отнесенной к III–II тыс. до н. э. Так как в доисторические эпохи в Иране, население которого не было тогда индоевропейским, в основном была распространена расписная керамика – в том числе и после того, как на северо-востоке страны ее сменила монохромная «серая», – последняя была приписана «индоевропейцам» или индоиранцам. Иных доводов в пользу этой атрибуции приведено не было. Впоследствии она более конкретно аргументировалась лишь археологическими материалами более поздней поры, свидетельствующими о распространении элементов культуры серой керамики в ряде областей, где еще позже известны племена индоиранской группы. Указывалось также на бытование сходной керамики в

некоторых других странах (в эгейском мире и др.), но они отделены от Северо-Восточного Ирана огромными расстояниями, а такая керамика появилась в них намного позже, чем в Горгане. В Западном Иране в IV–III тыс. до н. э. не было ни этой керамики, ни индоиранцев, и поэтому часто полагают, что серая керамика «горганской культуры» принадлежала племенам, пришедшим из Средней Азии; однако и оттуда она принесена быть не могла. Тем не менее положение о какой-то специфической связи серой керамики с «индоевропейцами» получило широкое признание и в зарубежной литературе является чуть ли не общепризнанным; следуют ему и некоторые советские ученые. При этом были тщетны отдельные возражения лингвистов и историков (и применительно к этому случаю выступавших против самого соотнесения керамики с этносом), а также некоторых археологов, отмечавших, в частности, что серая керамика не могла происходить из Средней Азии, где сама появилась в результате влияний из Ирана. Этот контраргумент исходил, однако, от исследователей, которые вели раскопки неподалеку от Горгана, на юге Туркмении, и изучали поселения типа Анау, предложив, в свою очередь, считать их арийскими с весьма раннего времени (по некоторым мнениям, даже более раннего, чем появление серой керамики в Горгане).

Еще в конце 40-х годов в советской литературе была выдвинута гипотеза, предлагавшая видеть индоиранцев в носителях культур крашеной керамики юга Средней Азии и соседних областей Иранского нагорья и одновременно считать более северные степные культуры также принадлежащими индоиранцам – предкам восточноиранских племен; предполагалось также, что при контактах носителей культур крашеной керамики юга и охотничье-рыболовецких и затем скотоводческо-земледельческих культур севера вообще происходил этногенез индоевропейцев. Тезис об индоевропейском этногенезе в этих восточных районах (и в этих хозяйственно-культурных условиях) явно неприемлем. Но сам автор указанной гипотезы позже не возвращался к ней и считал степные племена открытой им в Южном Приаралье культуры середины – второй половины II тыс. до н. э. пришедшими с северо-запада и представлявшими «первую значительную волну» индоиранцев или иранцев в этих районах. Мнение об арийской принадлежности населения северных степей в археологической литературе появилось с 20 – 30-х годов, а с 50-х годов среди части советских археологов получила распространение точка зрения о связи индоиранских племен именно с носителями степных культур (обычно имелись в виду культуры андроновского круга) и о последующем продвижении племен из этой зоны на юг Средней Азии, в Иран и Индию.

Между тем гипотеза о связи культур крашеной керамики юга Средней Азии с ариями получила дальнейшее развитие, главным образом усилиями исследователей памятников юга Туркмении, а затем юга Узбекистана и севера Афганистана с открытием там доисторических земледельческих комплексов. Данная теория также приобрела значительное число последователей, оказав влияние и на концепции некоторых сторонников более ранней связи с ариями «серой керамики». В свою очередь, последняя точка зрения (в модифицированных вариантах) повлияла на дальнейшую разработку проблемы этнической принадлежности культур Анау–Намазга и на их более поздних этапах.

Ученые, связывающие с ариями культуры расписной керамики, на комплексах Анау–Намазга после конца III тыс. до н. э. сменяющейся нерасписной, допускают, что предки индоиранцев жили тут не позже второй половины III тыс., вообще с III тыс. или «с древнейших времен»; иногда пишут также, что они формировались в этих районах «исконно», «генетически», со времени развития производящего хозяйства и культур расписной керамики (т. е. с VI–V тыс. до н. э.). Такое удревнение в свете упомянутой традиционной аргументации вполне логично, так как комплексы типа Анау–Намазга показывают в общем непрерывную линию развития и не дают каких-либо свидетельств о появлении нового населения, например, в эпоху Намазга IV (вторая половина III тыс.). За распространением элементов этой культуры второй половины III – начала II тыс. до н. э. и предполагаемым передвижением населения в том же направлении к концу III – первым векам II тыс. на восток Афганистана и к границам Индии видят расселение ариев (или индоариев). Позже из того же ареала выводят иранцев, к которым относят локальные культуры обычно расписной («поздней») керамики первых веков I тыс. до н. э. в Иране и Средней Азии.

Подобный метод еще более широко и последовательно применяется в теориях, ассоциирующих с ариями «серую керамику». Ее появление в небольшом количестве на северо-западе Ирана и в соседних районах Передней Азии к середине II тыс. до н. э. сопоставляется с данными того времени об ариях на Ближнем Востоке. С XIV–XIII вв. до н. э. серая керамика «массированно» охватывает большинство районов Северо-Западного Ирана, и это рассматривается как результат распространения там западно-иранских племен. Равным образом в инфильтрации серой керамики в восточных областях Иранского нагорья и на его окраинах видят свидетельство продвижения туда из районов Гиссара–Горгана ариев или индоариев, например на северо-запад Пакистана (Сват, по материалам с третьей четверти II тыс. до н. э. до эпохи раннего железа). Появление

ние серой керамики на поселениях Южной Туркмении – первоначально еще в «расписную» эпоху Намазга IV, а затем в период Намазга V, – а иногда и саму утрату в то время росписи остальной посудой также расценивают как признак распространения индоиранских (или конкретно индоарийских) племен с северо-востока Ирана и ассимиляции ими местного населения предгорий Копетдага; затем это, уже смешанное, население, как полагают, стало продвигаться далее к востоку (по материалам эпохи Намазга V–VI и VI, еще также с некоторым процентом серой керамики). Помимо самой керамики, техники ее изготовления и т. п. основываются и на некоторых иных аналогиях, например формах сосудов, близких к сероглиняным сосудам Горгана – Гиссара, или отдельных металлических изделий. Преимущественно последние уже давно использовались для определения пути расселения ариев из района Гиссара или через его территорию при движении к Индии.

Если, таким образом, совместить упомянутые точки зрения или непосредственно следовать некоторым из них, окажется, что индоиранские племена растекались по Иранскому нагорью или его северной части, точно по огромному сосуду из узкого горла, ограниченного Горганом с примыкающими к нему районами. Вместе с тем и исследователи, специально не ассоциирующие ариев именно с «серой» керамикой, по другим элементам культуры, по формам сосудов, иных изделий и т. п. связывают с населением Горгана–Гиссара (и гипотетично археологически не изученных областей Хорасана) и северных предгорий Копетдага носителей культур земледельцев, распространявшихся во II тыс. до н. э. на восток по югу Средней Азии и северу Афганистана, также относя их к различным индоиранским группам (в частности, к иранским или даже «восточноиранским»).

Отбрасывая некоторые крайности упомянутых положений, можно заметить, что обе основные охарактеризованные теории (о культурах Анау–Намазга и Горгана–Гиссара) в общем плане арийской проблемы весьма близки – и по сходному типу отождествляемых с ариями земледельческих культур, перерастающих в «протогородские» (впрочем, сам этот социально-хозяйственный аспект при отождествлении с ариями обычно не учитывается), и по времени появления или вообще обитания ариев на юге Средней Азии и северо-востоке Ирана, и по их дальнейшему распространению; тут обе теории и территориально и хронологически во многом покрывают друг друга, а в некоторых случаях, как мы видели, и непосредственно совмещаются.

Некоторые сторонники этих теорий происхождения индоариев и иранцев игнорируют не только проблему более ранней истории ариев, но

и данные о принадлежавших к ним племенах, обитавших на иных территориях. В других случаях отмечают, что и племена северной степной зоны были арийскими, обычно относя их к иранским (или «восточноиранским»), частично продвинувшимся затем на земледельческий юг, который уже был занят ранее другими арийскими группами (при этом северные степные и южные земледельческие группы определялись как «этнически одинаковые племена с различным способом хозяйства»). Наконец, существует даже мнение, что арийским сначала было именно или только южное земледельческое население, а иранизация степного – результат более поздних влияний и переселений с юга.

Общим обоснованием для последнего мнения служат археологические данные о влияниях, шедших на север из тех же областей на северо-востоке Ирана и юге Туркмении. Так, указывают на воздействия в области металлургии и диффузию типов металлических изделий (часто также с особой ролью гиссарских традиций) в северных областях Средней Азии и далее в азиатских степях восточнее Волги и до Южной Сибири; отмечают также распространение керамики и традиций ее производства из тех же южных областей с III – II до первой половины I тыс. до н. э. в разных районах от Среднеазиатского междуречья до туркменского Прикаспия. Кроме того, высказывалось мнение о формировании степной доандроновской керамики и ее орнамента под южным влиянием; правда, другими археологами это мнение не принимается, как и сопутствующее ему положение, что считающаяся обычно степной керамика с ряда поселений времени Намазга VI является местной кухонной. Другие сторонники иранизации степи с юга не сомневаются в «степной» принадлежности этой керамики с земледельческих поселений; при этом были приведены новые факты такого рода и, более того, данные о расположенных рядом с этими поселениями стоянках степных племен с той же керамикой. Но такие данные, указывающие на распространение степных племен вплоть до поселений южного земледельческого ареала, расцениваются при этом лишь как свидетельство тех постоянных мирных контактов, в результате которых, по данной точке зрения, и происходила иранизация степи. Но для всех вариантов этой теории характерно убеждение, что далеко к югу степные племена не продвигались и во всяком случае не играли существенной роли в дальнейшей судьбе населения южных земледельческих районов (так полагают и некоторые авторы, считающие арийским и раннее степное, и южное земледельческое население).

Независимо от конкретных определений этноязыковой принадлежности доисторического населения Средней Азии рядом ученых по археологическим и антропологическим данным предполагается значительная

роль переселенцев с юга и их культурных традиций в формировании населения и культуры ряда областей Средней Азии, в том числе междуречья и Южного Приаралья, в конце III – первых веках I тыс. до н. э.; причем для ранних этапов данной эпохи речь идет о первых культурах с земледельческо-скотоводческим хозяйством в районах, где ранее преобладало «присваивающее» хозяйство. А по одному из упомянутых мнений об иранизации степи, именно в результате расселения групп южного населения, его влияний и смешения с охотниками и собирателями северных степей там вплоть до границ леса и тайги получило развитие производящее хозяйство, в соответствии с местными экологическими условиями преимущественно скотоводческое. По данному мнению, население северной степной зоны становится ираноязычным еще в доандроновское время, в конце III – первых веках II тыс. до н. э.

По иной точке зрения, иранские языки степи также распространились с юга Средней Азии, но это было следствием длительных и постоянных контактов и передвижений с юга на север на протяжении эпохи бронзы или даже позже. Предполагается также, что иранизация степи осуществлялась вместе с номадизацией (и обе были двумя аспектами одного процесса), а переход к кочевничеству сопровождался сломом многих предшествовавших, в том числе именно андроновских, культурных традиций населения степи (причем также при влияниях, например, в районах Казахстана с «иранского» по языку земледельческого юга). Последний тезис направлен и против распространенного мнения о прямой преемственности культур племен степной бронзы и скифо-сакских племен и о том, что это может служить доказательством ираноязычия первых, причем настаивают на бездоказательности такой аргументации (с чем можно было бы согласиться, если иметь в виду лишь формальную «археологическую» сторону вопроса).

Все упомянутые теории, и тем более последние – об иранизации степи, практически не учитывают историко-лингвистических данных по проблеме. Если же абстрагироваться от этих данных, то положение о распространении иранских языков в степи с юга Средней Азии может выглядеть даже более логичным, чем иные мнения, по которым арийский ареал весьма рано включал юг Средней Азии и соседние области Ирана. Положение это более последовательно выдерживает тот археологический принцип, который прежде всего и лежит в основе всех упомянутых теорий. А при применяемой в них методике, в частности, вполне оправдан вывод о многовековом обитании ариев в ареале культур типа Анау–Намазга или Горгана–Гиссара (и именно одно из мнений об иранизации степи связано с положением об исконном развитии ариев на юго-западе

Средней Азии и в Иране чуть ли не с VII–V тыс. до н. э., а по другому мнению, их раннее обитание здесь аргументируется, в частности, ссылкой на выводы, «удрежняющие» пребывание «индоевропейцев» в этих районах до IV тыс., по данным о местной «серой керамике», см. об этом ниже).

Вместе с тем сторонники этого мнения, обращаясь к территориям за пределами древнего земледельческого ареала, учитывают, что к северу от него до определенного времени жили охотники и собиратели (каковыми предки ариев уже давно не были); это наблюдение может иметь большое значение при оценке ряда положений о связи ариев с доисторическими культурами Средней Азии и Ирана, как и сделанный при сопоставлении степных и древнеземледельческих культур вывод о том, что арии по происхождению должны относиться к одному культурно-хозяйственному ареалу. Заметим, что оба эти обстоятельства независимо отмечались и при выводах о расселении ариев преимущественно на основе историко-лингвистических данных, однако при прямо противоположных заключениях о направлении миграций и хозяйственном типе ариев. Согласно мнению об иранизации степи, они оказываются в основе не «скотоводами», а «земледельцами» – того типа, который был характерен для доисторического ареала юга Средней Азии – востока Ирана. Но это определение хозяйственного типа, опосредствованное, в свою очередь, лишь самим данным мнением о происхождении ариев, остается в остальном чисто умозрительным и не подкреплено какими-либо лингвистическими материалами о хозяйстве, быте и культуре индоиранских племен в общеарийскую эпоху и иранских в общеиранский период. Между тем имеющиеся данные, вполне позволяющие конкретно решать эти вопросы, очевидно, не соответствуют упомянутому мнению об иранизации степи с земледельческого юга Средней Азии, да и вообще это мнение в любых вариантах неприемлемо в свете различных историко-лингвистических данных (ср., в частности, ниже). Но на его фоне более отчетливо выступают слабости в аргументации некоторых других бытующих положений о происхождении ариев, а также и индоевропейцев в целом.

Конкретным основанием для этого мнения служат, как говорилось, культурные влияния, шедшие в направлении степи со стороны земледельческого юга Средней Азии. Но такие влияния, как и экспорт из районов старых земледельческих цивилизаций, были постоянными явлениями в истории (а если им и сопутствовала миграция, то обычно в обратном направлении). Культурные и хозяйственные влияния со стороны древних цивилизаций Востока или промежуточных областей шли также через Кавказ и Малую Азию – юг Балкан. Но это, конечно, не значит, что одни

группы индоевропейцев происходили из Малой Азии, другие – из Закавказья, а третьи – из Средней Азии и Восточного Ирана. Помимо общих соображений и конкретных данных индоевропеистики подобный вывод был бы невозможен и в свете древневосточных материалов, определенно свидетельствующих об автохтонном неиндоевропейском населении в ряде стран Передней Азии, в том числе на отделяющих Восточный Иран от Малой Азии обширных пространствах Западного Ирана, Иранского Азербайджана, соседних областей Армянского нагорья. Данные клинописных текстов об их населении в III – начале I тыс. до н. э. исключают присутствие среди него индоевропейцев в целом, выделившихся из их среды основных или еще малорасчлененных тогда групп и более поздних обособившихся племен – кроме отдельных, безусловно, не являвшихся тут аборигенами и появившихся уже в историческое время².

По упомянутому мнению об арианизации степей, одновременно со становлением там производящего хозяйства вместе с навыками скотоводства, земледелия, металлургии и т. п. местное население восприняло у ариев и отсутствовавшую у него ранее соответствующую терминологию. Это общее соображение также не подтверждено какими-либо конкретными данными. Согласиться же с ним невозможно по многим причинам и, между прочим, потому, что индоиранская терминология, связанная с этими отраслями хозяйства и даже с более развитыми экономическими и социальными достижениями, бытовыми условиями, идеологией и т. п., лежит в основе либо общеиндоевропейского происхождения, либо разделяется арийскими языками с некоторыми другими индоевропейскими. Значит, все это было известно ариям в эпоху единства или продолжавшегося соседства с другими индоевропейцами. Поэтому, если принять упомянутое мнение об арианизации степей с юга Средней Азии и Восточного Ирана, это привело бы к выводу, что эти области были родиной не только ариев, но и других индоевропейцев, включая славян, балтов, германцев, кельтов, италийцев и др. Подобное заключение, естественно, противоречило бы самым различным фактам из истории индоевропейцев и в частности не только обычной локализации их общей прародины, но и независимым данным о местоположении тех или иных индоевропейских групп в последующие эпохи. Так, предки только что названных народов еще долго сохраняли тесные взаимосвязи, а их диалекты незначительно отличались друг от друга. По различным основаниям, в том числе по материалам европейской гидронимии, эта общность располагалась в Центральной Европе или также в примыкающих (и, безусловно, тоже «лесных») районах. Время бытования этой общности (называемой «среднеевропейской» и т. п.) никак не позволило бы провести ее в предшествующие периоды

через степи из Средней Азии, тем более учитывая, что кроме юго-западной окраины Средней Азии далее к северу долго обитали охотники, рыболовы и собиратели (когда индоевропейцы уже давно обладали достаточно развитыми формами земледельческо-скотоводческого хозяйства). Поэтому предки указанных народов не могли бы тогда пройти по этой зоне с границ Иранского нагорья в Европу (как и арии не могли проделать этот путь в обратном направлении в то время; ср. ниже). Такому распространению «среднеевропейцев» препятствовали бы и многие другие факты, в том числе лежащие в основе уже упоминавшихся выводов о хозяйственных и экологических различиях, устанавливаемых для ариев, с одной стороны, и большинства остальных индоевропейцев – с другой. Свойственная последним, в том числе и особенно «среднеевропейцам», линия развития не показывает в этом отношении какого-либо существенного разрыва в сравнении с условиями индоевропейской эпохи. Это касается и хозяйства (причем с сохранением многих индоевропейских земледельческих традиций) и природы (к тому же явно в «лесном» окружении). Для ариев же весьма рано или исконно было характерно значительное отклонение от этих хозяйственных традиций и экологического фона. Так что и по этим причинам предки славян, германцев, кельтов и других индоевропейских народов не могли бы после индоевропейской эпохи расселяться и обитать на степных территориях к северу от Средней Азии и Кавказа, Каспийского и Азовского морей. И, напротив, арии со свойственным им хозяйственно-культурным типом могли совершить этот путь и действительно проделали его, долгое время обитая в степной зоне.

Напомним теперь некоторые из фактов, которые и независимо от выводов об индоевропейской прародине и вытекающих из них положений о расселении индоиранцев свидетельствуют об их обитании в северных степях. Заметим сначала, что, по данным письменных источников и ономастическим материалам, в Северном Причерноморье еще до появления собственно скифов и савроматов находилось ираноязычное население, в частности говорившее на диалектах без ряда скифо-сарматских особенностей (разделявшихся и собственно скифским), и что к ираноязычным племенам должны быть отнесены также киммерийцы; уже по этим данным, по крайней мере в конце эпохи бронзы, на рубеже II–I тыс. до н. э., иранские племена обитали в европейских степях. Лингвистические данные индоевропейистики свидетельствуют о многочисленных и системных ареальных (не являющихся общеиндоевропейскими) связях с рядом языков Европы: во-первых, арийского в целом, во-вторых, уже независимо от индоарийского – общеиранского и, наконец, уже без иных иранских языков – лишь отдельных из них; здесь особенно показательны

установленные в недавнее время по материалам осетинского многие изоглоссы со «среднеевропейскими» языками, в том числе определенно указывающие на контакты в пределах II тыс. до н. э. Эти данные хронологически примыкают к упомянутым выше материалам исторической эпохи, позволяющим говорить об ираноязычном населении на юге Восточной Европы в конце II – начале I тыс. до н. э. А все указанные выше данные могут свидетельствовать, что племена индоиранского происхождения целиком не покидали европейской части степной зоны, но происходило расселение оттуда их отдельных групп (то же относится и к иранцам после того, как предки индийских ариев уже ушли из Европы).

К тем же выводам приводят и еще более характерные свидетельства финно-угорских языков. В них, как известно, выявлено большое число индоиранских заимствований, в том числе определенно общеарийского и затем иранского происхождения. Некоторую группу слов иногда также считают воспринятой из праиндоарийского, но критерии для таких определений не вполне определенны; если все же согласиться с ними, это было бы дополнительным указанием на выделение будущих индоариев еще в пределах Европы. В ином случае те же слова или по крайней мере часть их (в том числе с арийским *s*, сохранявшимся в индийском, но перешедшим в *h* в иранском) увеличивают фонд общеарийских заимствований в финно-угорские языки. Таким образом, эти языковые контакты, происходившие в общеарийскую и затем в иранскую эпоху, должны были осуществляться на границах лесной зоны Поволжья и Урала (и не далее к востоку). К таким вполне надежным свидетельствам можно было бы добавить другие, которые, возможно, указывают на пребывание арийских или протоиндоарийских и протоиранских племен к северу от Кавказа и, по иным данным, на северо-востоке евразийской степной зоны. Но эти данные неопределенны или единичны; само пребывание племен арийского происхождения в упомянутых северо-восточных степных районах возможно, но они были бы тогда продолжением того «арийского мира», который имел контакты с финно-угорскими племенами северо-востока Европы.

В отличие от северной степной зоны не имеется никаких данных о распространении арийских языков в доисторическую эпоху в земледельческом ареале юга Средней Азии и Иранского нагорья. Но даже если условно допустить такую возможность, все равно придется признать, что одновременно эти языки бытовали в степной зоне, причем, безусловно, и в общеарийскую эпоху.

Теперь следует подчеркнуть, что для индоиранцев – предков ариев Индии и племен иранской группы – характерны единообразие и глубокие

до многих деталей черты сходства в хозяйстве, быте, обычаях, социальном строе, культуре, религии и т. п. Это ясное и достаточно хорошо известное положение не нуждается в специальной аргументации (и если те или иные выводы о расселении индоиранских племен входят в противоречие с ним, то не из-за того, что оно вызывает сомнения, а лишь потому, что просто не учитывается). Бесспорным представляется также существование индоиранского единства как реального исторического комплекса, возникшего на основе интенсивных связей и общего развития на определенной и единой в хозяйственно-культурном отношении территории. На ее степной характер могут непосредственно указывать данные о хозяйстве и быте ариев. Но и независимо от этого само единство их культуры по всем ее показателям ясно свидетельствует, что из двух синхронных и разнородных по общему культурному и социально-экономическому облику типов, которые представляют древние земледельческие цивилизации юга Средней Азии и Ирана, с одной стороны, и северные степные культуры – с другой, арии по происхождению могли быть связаны лишь с одним. Предположение, что их разные группы жили в совершенно различных культурно-хозяйственных условиях, недопустимо для того периода, пока формировались общеарийские языковые особенности и вместе с тем социальные, хозяйственные, культурные и другие черты, характерные для индоиранцев в целом, т. е. для эпохи арийского единства. А как мы видели, индоиранские языки были тогда распространены в степной зоне, и поэтому неизбежен вывод, что арийские племена в ту эпоху обитали именно и только там (или, возможно, также в примыкающих однокультурных районах лесостепи).

По традиционным историко-лингвистическим аргументам, в том числе исходящим из большой близости языка первых памятников индоарийской и иранской словесности (конец II – первая половина I тыс. до н. э.), различные исследователи относят завершение индоиранской эпохи ко времени от 2000 г. до середины II тыс. до н. э. (на даты в таких пределах указывают и сведения ближневосточных текстов о языке переднеазиатских ариев). Эта датировка может быть подкреплена или уточнена с привлечением данных археологии. Имеется возможность сопоставить археологические материалы с территорий, где могли обитать индоиранские племена в арийскую эпоху, с теми конкретными чертами и общим уровнем развития хозяйства и социального строя, которые отражены и в индийской и в иранской традиции и были выработаны еще при общих связях всех арийских племен. Этот уровень социально-экономического развития в ряде отношений, конечно, уже намного превосходил общинно-европейский (хотя частично такие особенности возникли и развивались

у ариев еще при контактах с предками некоторых исторически известных индоевропейских народов Европы).

В других работах мне уже приходилось отмечать, что археологические материалы из европейских степей конца III – середины II тыс. до н. э. свидетельствуют о развитии общества, которое вполне может соответствовать индоиранскому по своему уровню и ряду особенностей, которые его характеризовали и были необходимы для его функционирования. Скажем здесь несколько подробнее лишь об одной из общеарийских «реалий» – боевой конной колеснице, с которой в индоиранской традиции тесно связаны важные обычаи и институты, лежащие в основе многих общих социально-политических представлений, мифологических образов, оборотов религиозно-поэтического языка и т. п.

Тут уместно остановиться на упоминавшемся мнении, что более высокого социального уровня, устанавливаемого сравнением данных вед и Авесты, из всех ариев достигли лишь предки ведийцев и той части иранцев, общество которых отражено в Авесте, и что это произошло в условиях социально стратифицированной цивилизации, в которых они оказались, продвинувшись в области древних культур на юге Средней Азии и Иранском нагорье. По тому же мнению, колесницы на своей арийской родине они не знали и познакомились с ней в Иране или на его окраинах. Одновременно полагают, что конная колесница была изобретена в Передней Азии или в ее горных районах, а затем распространилась в другие страны. Сторонники этого положения, противостоящего мнению о введении коневодства и боевой колесницы индоевропейцами или именно ариями, указывают, что до появления последних в Передней Азии существовали коневодство и колесница, а задолго до этого и колесный транспорт. Но уже сама эта постановка вопроса не вполне правомерна, и на заре истории те или иные хозяйственные и другие достижения, будучи введены в одном историко-географическом районе, достаточно быстро получали распространение и в соседних (если, конечно, там имелись к этому необходимые социально-экономические предпосылки и потребности). Колесный транспорт в Европе распространился, видимо, действительно при влияниях из Передней Азии, но это произошло уже за много веков до начала II тыс. до н. э., как показывают и археологические материалы, и сравнительные данные индоевропеистики. Напротив, коневодство, по тем же свидетельствам, было там распространено гораздо ранее, чем в Передней Азии, и, очевидно, вообще возникло впервые в областях к северу от Черного моря и в соседних районах. На этих территориях имелись и другие условия, необходимые для появления боевой колесницы.

Широкое употребление колесницы в военных целях и сопутствовавшее ему интенсивное развитие коневодства на Ближнем Востоке началось в относительно короткий период времени перед серединой II тыс. до н. э. Особую роль при этом играли новые на соответствующих территориях племена, в том числе или прежде всего арии и рано вошедшие с ними в контакт народы. Бесспорные данные о проникновении в древние местные языки ряда стран Передней Азии связанной с коневодством арийской лексики и специальной терминологии ясно показывают, что арии принесли с собой неизвестные там ранее навыки коневодства, применения колесницы, тренировки упряжных лошадей и т. п. С другой стороны, современные археологические материалы свидетельствуют, что распространившиеся около середины II тыс. до н. э. на Ближнем Востоке приемы взнуздывания лошади и элементы конской сбруи связаны с теми, которые бытовали в ряде областей Европы. Но здесь для нас важен даже не вывод о «приоритете», а сам факт, что конная колесница уже использовалась тогда в этих европейских областях, и именно в тех, где по упоминавшимся выше основаниям должны были обитать индоиранские племена в арийскую эпоху.

Историко-лингвистические данные также противоречат мнению, что арии в ту эпоху не знали колесницы. По различным причинам не может быть принято и положение о том, что особенности социально-экономического строя, реконструируемые по материалам вед и Авесты, были характерны лишь для «ведийцев» и «авестийцев». К тому же последние, принадлежа к иранской ветви ариев, пережили вместе с другими иранцами последовавшую за индоиранской общеиранскую языковую эпоху, когда также произошли различные хозяйственные, военные, социально-идеологические, религиозные и тому подобные нововведения, причем сама Авеста отражает такие традиции, более поздние или вторичные в отношении общеарийских, и в том числе возникшие позже, чем освоение боевой колесницы. Уже поэтому общие по происхождению черты общества, прослеживаемые по сравнению данных вед и Авесты, должны быть свойственны и иранцам в целом.

Элементы той же общественной структуры и отражающей ее идеологии устанавливаются также по сведениям о других ираноязычных группах, по материалам их языка и эпической традиции. Это относится, например, и к развивавшимся долгое время именно в степи племенам скифской ветви (ср. данные античных авторов, скифо-сарматской ономастики, осетинского языка и нартовского эпоса), и к западным иранцам: античные сообщения о мидянах и персах и ахеменидские надписи (скудные по объему, но, в частности, отражающие соответствующие ведийским

представления и формулы той же арийской социальной идеологии) тут дополняются ономастическим и лексическим иранским материалом из текстов на иных восточных языках. Так, недавно опубликованные эламские тексты из Персеполя на обширном материале подтвердили, что древнеперсидский язык обладал разнообразной политической, социальной и тому подобной терминологией, унаследованной от индоиранской и общеиранской эпох; сюда входят и новые свидетельства арийских традиций в использовании колесницы – дополнительные данные о бытовании как самого ее названия, так, например, и термина *ратайиштар* («стоящий на колеснице»). В Авесте это слово – наиболее частое техническое обозначение членов касты военной аристократии, а его индийское соответствие встречается в перечислениях тех же каст («варн») на месте более обычного «кшатрий». Соответствие последнему термину также известно для западноиранского, а от эквивалента индийскому *киштра* (означавшего, в частности, функцию этой касты, ее название и пр.) образовано осетинское эпическое имя группы нартовского общества, наделенной качествами индоиранской военной знати; предкам скифо-сармато-осетинских племен была известна и колесница под ее арийским названием. Здесь упомянуты лишь единичные факты такого рода; вообще же говоря, в настоящее время многие подразумевавшиеся выше черты арийского общества могут быть установлены и без ссылок на Авесту, лишь на основе сравнения иных (помимо авестийских) иранских данных с древнеиндийскими.

Так что упомянутая социальная структура (включавшая и сражавшуюся на колеснице знать), реконструируемая по данным вед и Авесты, должна быть возведена к общеарийскому периоду. Мнение же о том, что она возникла лишь у части арийских племен на юге Средней Азии и Иранском нагорье, не подкреплено конкретными доказательствами, а основано лишь на убеждении, что этот относительно высокий уровень общественных отношений мог быть достигнут только в условиях древних культур земледельческого ареала Востока. Но как раз они по своему социальному и всему хозяйственно-культурному облику, видимо, не могут соответствовать общему типу и отдельным чертам арийского общества. Напротив, степные культуры, как уже отмечалось, и по социальным показателям вполне удовлетворяют общим и частным характеристикам этого общества, что становится еще более очевидным в настоящее время.

Вернемся к тому же примеру с колесницей. Известные в начале 60-х годов археологические материалы еще тогда позволяли считать, что в Поволжье и соседних районах конная колесница применялась уже к середине II тыс. до н. э., а судя по некоторым находкам элементов конской

сбруи, и ранее и что такие данные для того времени должны указывать не на всадничество, а на колесничье дело. Теперь в бытовании колесницы на территориях от Поволжско-Уральских степей до Северного Причерноморья можно убедиться «наглядно», в частности по изображениям на сосудах колес со спицами и самой колесницы, и тем более по открытым следам колесницы на колесах со спицами в одном из могильников Зауралья. Тут нет необходимости подробнее останавливаться на этих уже хорошо известных находках. Но следует подчеркнуть, что наличие колесницы не только говорит о бытовании ее самой как одной из арийских реалий, но подразумевает существование военной знати и, например, также металлических орудий, развитого ремесла или некоторых его отраслей и соответствующих профессионалов-ремесленников. Все это независимо устанавливается и по индоиранской традиции (военная аристократия с племенными вождями из ее среды; металлургия; ремесленники, а именно плотник, в Ригведе изготавливающий колесницу и обозначаемый термином с иранским соответствием), и по археологическим материалам из упомянутой степной зоны; так, захоронения, свидетельствующие о социальном неравенстве или о выдающемся положении погребенного в племенном обществе, известны там и намного ранее, и в эпоху, для которой имеются данные о колеснице, включая богатые погребения с двумя конями и элементами сбруи из Поволжья, и материалы из упомянутых зауральских захоронений с колесницами, по иным особенностям также указывающие на принадлежность воинам-аристократам; о существовании металлургов говорят само развитие металлургии и металлоизделия, погребения, мастерские литейщиков и пр., а о плотниках или колесных мастерах – те же данные о колесах со спицами и колесницах (зато и общая индоиранская традиция, и степные культуры не знают профессионалов-гончаров и посуды, изготовленной на гончарном круге; заметим, что тот же тип ремесел сохранялся в степи и позже, в том числе в скифо-сарматскую эпоху).

Эти и иные данные, как и само существование колесницы, определяют уровень общественного развития, выше которого общеарийская традиция, в сущности, и не требует; нет также таких единых индоиранских социально-политических особенностей, которые нельзя было бы предполагать для упомянутых степных культур, а в ряде случаев их материалы прямо указывают на социально-экономические явления, устанавливаемые и для индоиранской традиции.

В культурах европейских степей и соседних на западе районов упомянутые черты в целом выступают как результат местного хозяйственного и социального развития со времени задолго до II тыс. до н. э. Эти процессы проходили при взаимосвязях на указанных территориях, а к перио-

ду бесспорного бытования колесницы относятся устанавливаемые по различным данным, и в том числе по формам деталей конской сбруи, активные контакты на пространствах от восточноевропейских степей до Подунавья и юга Балкан. Такие факты могли бы быть сопоставлены с лингвистическими данными о продолжавшихся после распада индоевропейского единства ареальных связях ариев и части других индоевропейских племен, включая греков. Сюда можно отнести и некоторые связанные с освоением колесницы традиции коневодства, тренировку лошади, представления об особом отношении колесничного воина к его боевым коням, ряд мифологических и идеологических представлений, отраженных и в отдельных языковых изоглоссах, и т. п. (или, например, также общее греко-арийское обозначение упоминавшегося «плотника»). Все это могло бы служить и дополнительным аргументом продолжения контактов ариев с индоевропейцами Европы до первой половины II тыс. до н. э. (весьма веским выглядит также акцентированный недавно довод, по которому греки с их коневодческими и колесничными традициями не могли находиться в Греции ранее XVII–XVI вв.; вместе с тем относящиеся к XVI в. первые археологические материалы из Греции, свидетельствующие об этих традициях, одновременно отражают культурные связи, в том числе по типу псалиев и ритуалу конских захоронений, с указанными европейскими областями вплоть до Урала).

Если такие выводы еще требуют более развернутого историко-лингвистического обоснования ареальных связей ариев по этим культурно-социальным показателям, то общеарийское происхождение колесничных традиций и иных упоминавшихся общественно-экономических черт в подобной аргументации не нуждается. Вместе с тем, как мы видели, из других данных следует, что арии в индоиранский период обитали в степной зоне. Поэтому время развития в этих областях соответствующих социально-экономических особенностей, в том числе связанных с введением колесницы, дает и *terminus post quem* для начала расселения ариев на более отдаленных и инородных в хозяйственно-культурном и социальном отношении территориях. Имеющиеся свидетельства о колеснице и ранние формы псалиев, распространенных от Урала и Волги до Балкан, могут быть датированы в пределах второй четверти II тыс. до н. э. Быть может, произойдет определенное углубление дат за счет новых открытий или некоторого удревнения археологических материалов из Юго-Восточной Европы³. Но и тогда нужно будет иметь в виду по крайней мере первую или также часть второй четверти II тыс. до н. э.

Как уже говорилось, по независимым историко-лингвистическим данным распад арийского единства относят ко времени в пределах первой

половины II тыс. до н. э. Итак, по различным основаниям можно утверждать, что арийские племена еще не покидали степной зоны по крайней мере в первой четверти II тыс. и соответственно еще не могли тогда находиться в областях древнего земледельческого ареала на юге Средней Азии и Иранском нагорье. Это также противоречит теориям об арийской принадлежности культур Намазга IV–V, Гиссар III и др., эпоха которых завершилась в первых веках II тыс. до н. э.

Вместе с тем запустение ряда центров этих культур и конец индской цивилизации примерно в то же время не должны рассматриваться как свидетельство вторжения ариев; эти явления были следствием процессов предшествовавшего развития населения Иранского нагорья и соседних областей (и лишь могли бы со временем облегчить распространение арийских племен на части таких территорий). Равным образом не обязательно полагать, что сразу после распада единства арийских племен часть их появилась на юге Средней Азии и в Иране, хотя по самому этому критерию возможность их проникновения туда со второй четверти – середины II тыс. до н. э. допустима. Она, правда, не кажется вероятной по иным основаниям (ср. ниже). Но даже если считать, что тогда на Иранском нагорье и в примыкающих областях расселялись арийские племена, упоминавшиеся археологические аргументы о таких миграциях, их направлениях и датах теряют какую-либо доказательную силу, ибо основаны на данных о распространении элементов культур типа Намазга IV–V и особенно гиссаро-горганского комплекса, развивавшихся в то время, когда местное население еще не могло быть арийским. Если же допускать, что такие культурные элементы, включая «серую керамику» и т. п., арии усвоили в этих областях или проходя через них в конце эпохи культур типа Гиссар III (подобные мнения также существуют), то ничто не препятствовало бы и предположению, что индоиранские племена либо «подключались» к таким внешним показателям культуры позже, либо вообще не играли какой-то особой роли в их распространении.

Постулируя мнение о пребывании ариев на юге Средней Азии и севере Афганистана в конце III–II тыс. до н. э., теперь нередко ссылаются на положение о раннем обитании индоиранцев в Северо-Восточном Иране, основанное на выводах о горганской культуре. Но само «удревнение» ариев в этих районах основано лишь на углублении дат серой керамики Горгана до последних веков IV тыс. до н. э. (в связи с новыми раскопками на главном тепе Горгана–Турент). Это, однако, лишь нагляднее показывает, что ее появление не связано с ариями. Они не могли бы попасть к тому времени в Горган даже при самых ранних существующих в литературе датах обособления индоиранцев от других индоевропейцев.

Кроме того, во второй половине IV тыс. до н. э. и еще долгое время спустя арии не могли бы проникнуть туда с севера и потому, что, как уже говорилось, в Средней Азии помимо ее южной земледельческой окраины тогда бытовали лишь культуры, которые по уровню хозяйственного развития никак не могли принадлежать ариям и вообще индоевропейцам (причем в IV и в большей части III тыс. до н. э. такие культуры простирались до лесных районов Урала и Зауралья). Вообще между зонами «производящего» хозяйства в Европе и на юге Средней Азии долго существовала обширная, постепенно сокращавшаяся территория «присваивающего» хозяйства. В Средней Азии неолитические культуры этого типа датируются временем до конца III тыс. до н. э. Но и независимо от абсолютной датировки устанавливается их синхронность, в том числе именно по керамическому материалу южного происхождения или отражающему его влияние, с комплексами серой керамики Горгана (Шах-тепе и др.). Так что еще долго после ее появления на поселениях Горгана последние были отделены обширными пространствами от районов возможного распространения индоевропейцев. Мы также видели, что в IV–III тыс. до н. э. ни арии, ни серая керамика не могли попасть в Горган и со стороны Западного Ирана (там эта керамика в небольшом числе появляется с начала II тыс., ср. ниже). Не приходится, понятно, предполагать и самозарождения ариев с имманентно присущей им «серой керамикой» на месте – в Горгане, Гиссаре и др. Вместе с тем сами материалы из Гиссара и Горгана достаточно ясно показывают, что замена расписной керамики нерасписной серой шла постепенно в течение многих веков без изменения других элементов культуры или при их последовательной эволюции. Как известно, давно даны вполне убедительные объяснения этой смене в керамике: помимо изменений стилей, эстетических вкусов, «моды» и т. п. имели значение также производственные причины, новые возможности и интересы профессионального ремесла и т. д. Все это легко объясняет появление и затем преобладание серой керамики в Горгане, в том числе на Туренг-тепе, после ее длительного сосуществования там с посудой обычного ранее типа, как показали и новые материалы с этого поселения.

Обобщая результаты этих новых раскопок, проводивший их исследователь в работе под названием «Новое свидетельство об индоевропейцах с Туренг-тепе. Иран» упоминает о таких возможных причинах появления серой керамики, но тут же предпочитает другое объяснение: «или иначе... эта сделанная на круге лощеная керамика» была принесена новым народом, т. е. «индоевропейцами». Слова «или иначе» не мешают затем автору в той же работе и ссылающимся на нее ученым говорить о раннем пребывании на северо-востоке Ирана индоевропейцев или ариев, хотя

«доказательством» этого служит лишь указанное изменение в типе посуды. Но и по материалам с Туренг-тепе остается совершенно немотивированным сам вывод о новом населении, а единственный конкретный довод в пользу его арийской атрибуции состоит в ссылке на положение, по которому миграция иранских племен на северо-запад Ирана сопровождалась широким распространением там серой керамики (через 2000 лет после появления подобной керамики в Горгане!). К теории о связи западных иранцев с серой керамикой мы обратимся далее; здесь же заметим, что в IV тыс. до н. э. арии – а для того времени, точнее, их предки – не могли принести с собой «сделанной на круге» посуды, так как не изготавливали ее и много позже (можно ставить вопрос о том, когда профессионалы-гончары появились у ариев Индии и тех иранцев, которые оказались в южных странах, но эти традиции, безусловно, не были ни индоиранскими, ни общеиранскими).

Помимо того, что население Горгана в конце IV – начале III тыс. до н. э. не могло быть арийским или «индоевропейским», нет оснований связывать появление там серой керамики с проникновением любого нового этноса. Вообще введение и распространение неизвестной ранее техники керамического производства и ее приемов, новых форм и орнаментации посуды (а также форм металлоизделий и ряда иных элементов материальной культуры) вполне обычно происходили в среде местного населения в ходе его культурно-экономического развития и связей с соседями. Это хорошо известно для разных стран и эпох и может быть легко показано на материалах с Иранского нагорья и примыкающих территорий начиная с первых этапов керамического дела, которые проходили в областях, включавших и районы иранского Загра.

Появление глиняной посуды в иных районах и других странах не было, по крайней мере в большинстве случаев, результатом миграции туда населения, уже изготавливавшего эту посуду. Равным образом, если в одних местах Загра керамика появляется ранее глинобитного и сырцового строительства, а в других – позже, а затем повсеместно распространяется и то и другое, то, понятно, не вследствие расселения единого народа, происходившего либо от групп с ранними «керамическими», либо от этноса с «глинобитными» традициями. Украшение посуды росписью, сначала примитивной, затем более совершенной, также возникло ранее в одних районах, а в других было результатом заимствования. В иракском Загре на Джармо с определенного этапа развития и без нарушения линии местной эволюции появляется глиняная посуда, причем уже с росписью, ранее бытовавшей в иранских районах. Эти факты относятся к раннему времени, но и они показывают, что орнаментация керамики, техника ее

изготовления и формы не являются этническими показателями, за которые держалось именно то население, у которого они впервые были выработаны.

Много позже, когда время возникновения соответствующих производств осталось далеко позади, относящиеся к ним нововведения обычно также распространялись путем заимствований и взаимовлияний. И в связи с иранскими археологическими материалами некоторые специалисты подчеркивают, что распространение керамических типов и некоторых иных культурных особенностей происходило, как правило, в результате торговых и иных контактов при сохранении других местных элементов материальной культуры, указывающих на преемственность населения и менее подверженных влиянию «моды», торговых взаимоотношений и т.п. Создание обширных «керамических» провинций, обладавших и иными кроме однотипной посуды общими чертами, могло идти различными путями и занимать разное по протяженности время. Так, в Кермане, на Тали Иблисе, прослежено первоначальное появление в очень малом проценте импортной керамики, затем ее постепенное увеличение в числе и, наконец, преобладание уже с определенным изготовлением на месте (т. е. включение района Иблиса в данную керамическую культуру). Вообще можно сказать, что образование на территориях Ирана и соседних стран подобных «культур» (часто именуемых по типу характерной керамики) без этнических перемен было обычным правилом, а не исключением. Что касается самой керамики, ее новых типов и стилей, то это устанавливается и для времени до введения гончарного круга, и еще более определенно для периодов после его распространения, что в ряде областей Ирана, в том числе на северо-востоке, произошло уже в первой половине – середине IV тыс. до н. э.

То обстоятельство, что образование больших культурных, или «керамических», общностей обычно не было следствием миграций и ассимиляции местного населения, а сами эти общности, как правило, были разноэтничными, подтверждается и при возможности привлечь сведения письменных источников. Для запада Ирана и соседних районов Передней Азии такие данные появляются с III тыс. до н. э., а иногда могут быть перенесены и на конец «дописьменной» эпохи. В конце IV тыс. ряд единых типов керамики и иных особенностей культуры распространился на Шумер, Элам и некоторые другие иранские области, судя по упомянутым данным, с нешумерским, а также неэламским населением. В Северо-Западном Иране к началу I тыс. до н. э. кроме тогда еще новых там иранских племен только по дошедшим крайне фрагментарным данным известно не менее шести-восьми разных по происхождению этноязыковых

групп, обитавших там со II или III тыс. или ранее. А больших «керамических» культур в отдельные эпохи на протяжении этого времени было гораздо меньше, порой одна-две на всю территорию. Для некоторых народов, например луллубеев, известных, как и кутии, с III тыс. до н. э., можно утверждать, что, сохраняя свою этническую принадлежность, они жили в условиях ряда последовательно сменявших друг друга подобных культур. Так, в первой половине II тыс. они, очевидно, пользовались «хабурской» керамикой. О последней можно сказать особо, ибо она имеет отношение к мнениям о переднеазиатских ариях и атрибуции «серой» керамики.

Керамика «хабурского» типа была широко распространена на севере Ирака и Сирии и известна в соседних районах Турции и Ирана. Ее часто связывают именно с хурритами и затем с Митаннийским царством, основанным ими, и с ассимилировавшимися в их среде ариями. Приписывая эту керамику по происхождению хурритам, ее считают свидетельством их распространения и в районах Ирана (или проникновения туда) – к югу от Урмии, где такой керамический комплекс выявлен для периода Хасанлу VI (лучше изученного на соседнем Динка-тепе; по сборам эта керамика известна также далее к югу от озера), и даже до северо-востока Луристана – по наличию в Гияне II типа подобной посуды.

Хурриты действительно обитали в ряде районов ареала «хабурской» керамики, но жили и за его пределами; уже поэтому она не могла быть общехурритской, а перешедшие к ней хурриты в любом случае должны были отойти от предшествующих керамических традиций. Зато той же керамикой пользовались иные этноязыковые группы, в том числе северные аккадцы и амореи, а на востоке – нехурритские и несемитские народности ирако-иранского Загра; перейдя к ней, они также сохранили свою этноязыковую принадлежность и оставались аккадцами-ассирийцами, луллубеями и др. после того, как она вышла из употребления. Но и по происхождению ее нельзя считать хурритской. Она уже бытовала два-три столетия до возникновения в XVII–XVI вв. до н. э. царства Митанни, а перед тем хурриты не преобладали в основном ареале «хабурской» керамики, и там уже ранее распространилось семитоязычное население. Найденные с этой керамикой тексты из ряда мест относятся к XIX и XVIII вв. и ко времени гегемонии семитских центров и правителей. Большая часть этого ареала находилась, как недавно отметил один из исследователей хабурской керамики, под политическим контролем семьи аморея Шамши-Адада, который сам царствовал в Ашшуре. Но появилась эта керамика еще ранее; в ее распространении могли играть роль торговые связи, в том числе осуществлявшиеся Ашшуром; однако и он до Шамши-Адада не обладал господством на значительных территориях. Вместе с тем «хабур-

ская» керамика появилась примерно одновременно в разных районах, причем и в Иране, где для периода Хасанлу VI серия радиоуглеродных, а также термолюминесцентных дат указывает в целом на ту же эпоху ее бытования, что и на западе. Все это не дает оснований говорить о «вторжении» хурритов в Иран во время появления там этой керамики; не существовало и особого «народа, изготавливавшего хабурскую керамику», а Сама эта керамическая общность была многоэтничной со времени своего становления. Хурриты же не могли играть особой роли в распространении этой керамики, тем более на ранних этапах ее бытования. В Митаннийском царстве она употреблялась, но не из-за особой связи с хурритами или именно митаннийцами, а потому, что была распространена в областях, вошедших в это царство, задолго до его возникновения. Более того, вскоре после его возвышения около 1550–1500 гг. до н. э. собственно «хабурская» керамика как раз вышла из употребления.

Эта культурно-керамическая общность и многие другие в Иране и соседних странах создавались на определенных территориях в результате экономических, торговых, культурных и других контактов, а также единых ремесленных традиций в связанных подобными контактами районах. Этническое родство или миграции обычно не определяли возникновения таких археологических «культур», в том числе отличающихся большим сходством ведущих типов глиняной посуды или всего керамического комплекса, ряда иных элементов материальной культуры, металлоизделий и т. п. Между тем факты подобного рода и лежат в основе ряда теорий о появлении индоиранских племен и их расселении на Иранском нагорье и в примыкающих районах; при этом выводы большей частью основываются на более ограниченных аналогиях, например аналогиях в отдельных формах «гиссарских» изделий или по общему типу «серой» керамики. Но даже если полагать, что она в разных областях Иранского нагорья в конечном счете восходит к горгано-гиссарской, это указывало бы прежде всего на широкое распространение таких традиций гончарного ремесла и соответствующей техники или вместе с ней также некоторых форм посуды. Для III–II тыс. до н. э. серая керамика в большем или меньшем проценте известна в различных районах Ирана и соседних стран, как и близкие гиссарским формы металлоизделий и керамики. Часть этих районов не принадлежала к областям раннего распространения индоиранских племен даже в начале их письменной истории. В других районах эти племена к тому времени известны, но это не дает оснований устанавливать время и направление их миграций по указанным археологическим данным. Так обстоит дело и с определением пути ариев в Переднюю Азию к середине II тыс. до н. э., и с распространенными выводами о вре-

мени появления иранских племен на западе Ирана, а также о территориях, откуда шло их расселение. Эта наиболее разработанная теория о западных иранцах является и основной опорой всей концепции об арийской принадлежности серой керамики Ирана и соседних стран (начиная с ее появления в Горгане, ср. выше).

По этой теории, культура Западного Ирана к началу мидо-персидского господства представляет результат развития культуры страны на протяжении раннего «железного века» (ЖВ); в период ЖВ II (X–IX вв.), когда мидяне и персы уже упоминаются в источниках, на северо-западе Ирана широко употреблялась серая керамика, как и в период ЖВ I. Вместе с тем акцентируется разрыв в культурной эволюции с более ранней эпохой (когда в тех же районах была распространена расписная керамика); это рассматривается как следствие появления нового, иранского этноса, и за его счет относится постулируемое культурное единство в период ЖВ I; в этом случае иранцы должны были широко расселиться по Северо-Западному Ирану к началу ЖВ I, т. е. около 1350–1300 гг. до н. э. (а с коррекцией к карбонным датам – на столетие ранее). Материальная культура этого периода связывается с северо-востоком Ирана, и из районов Гиссара и горганской культуры выводится сам серокерамический комплекс Центрально-Северного и Северо-Западного Ирана, из чего следует вывод о распространении таких культурных элементов с востока вместе с продвижением народа – инициатора и основного носителя культуры ЖВ I на западе, т. е. тех же иранских племен.

Эта внешне стройная концепция выдержана вполне в духе разбираемой методики решения на археологическом материале проблем происхождения индоиранцев. Переходя к ее оценке, заметим сначала, что, даже если принять лежащие в ее основе археологические выводы, из них отнюдь не вытекают бы упомянутые исторические заключения; восточное происхождение серой керамики не означало бы прихода иранцев или иного народа с северо-востока Ирана (а лишь свидетельствовало бы о распространении оттуда данной керамической техники и ремесленных традиций), а культурное «единство» в Центрально-Северном и Северо-Западном Иране никак не доказывало бы, что его основным представителем был какой-то единый, а именно иранский этнос; как мы видели, такие обширные культурно-керамические общности в доисторическом Иране были обычно многоэтничными, а по данным текстов начала I тыс. до н. э. это не вызывает сомнений и для Северо-Западного Ирана. Установление же такого единства с новыми чертами само собой подразумевало бы отличие по тем же особенностям от предшествующей эпохи.

Но сами выводы о разрыве преемственности в сравнении с этой эпохой и единстве культуры периода ЖВ I явно преувеличены; тем более нельзя согласиться с мнением об особой роли восточных влияний при сложении материальной культуры этого периода на северо-западе Ирана. Наряду с развитием местных традиций большое значение имели связи в иных направлениях, включая традиционные для этой части Ирана связи с севером Передней Азии (они отмечаются и сторонниками рассматриваемых теорий, но тоже не дают основания предполагать переселения, идущие навстречу миграциям с востока). Вместе с тем важные особенности культуры ЖВ I, в том числе хозяйственно-бытовые и в погребальном обряде, отличны от характерных для культуры Гиссара – Горгана. Сходные же черты керамических комплексов являются слишком общими и широко распространенными, чтобы говорить о прямой генетической зависимости. Ее не позволяет предполагать и хронологический разрыв между концом культуры Гиссара III и началом периода ЖВ I на западе (а относить этот разрыв за счет еще не открытых памятников с серой керамикой на промежуточной территории Центрально-Северного Ирана нельзя и потому, что, как теперь известно, там перед эпохой ЖВ I бытовала полихромная керамика, сходная с распространенной на территории Иранского Азербайджана и соседних районов Турции).

Отмечая подобные факты, некоторые из специалистов по археологии Ирана, следующие мнению о связи серой керамики с «индоевропейцами», ариями и западными иранцами, не настаивают на происхождении последних из районов Гиссара и Горгана. Так, указывая, что восточные памятники культуры ЖВ (Хурвин, Сиалк и др.) не дают специфических аналогий с комплексами Гиссара и Горгана и что различные серокерамические памятники Ирана конца II – начала I тыс. до н. э. обладают связями, в том числе в области металлоизделий, с северо-западом, Закавказьем и т. д., допускают, что иранцы могли проникнуть в Иран через Кавказ. В другом случае подчеркивается, что, кроме сходства нескольких форм сосудов, нет иных оснований выводить западных иранцев с северо-востока страны и что культуры западноиранских памятников и Гиссара III несопоставимы друг с другом, а по иным связям тех же памятников предполагается миграция иранцев именно через Кавказ; но и при этом уже ранние комплексы с серой керамикой в Западном Иране, включая Хасанлу V, считаются принадлежащими иранцам; остается, правда, неясным, почему тогда западные иранцы, проникнув в Иран из южнорусских степей, проявили «ту же привязанность» к серой керамике, которую обнаруживали ранее индоарии на Иранском нагорье и в Митанни (ср. ниже); но, во всяком случае, и в рамках этой археологической аргументации подчеркнуто

отсутствие реальных доказательств восточного происхождения культуры серой керамики Западного Ирана. Еще один видный специалист по иранской археологии отмечает, что формы керамики периода Хасанлу V во многом могут быть возведены к бытовавшим ранее у оз. Урмия и в соседних районах и что комплекс нерасписной посуды эпохи ЖВ I мог возникнуть в результате утраты росписи местной предшествующей керамикой; но, учитывая такую возможность, он предпочитает объяснять появление памятников типа Хасанлу V проникновением нового, пользовавшегося серой керамикой народа в результате его продвижения, начавшегося из ареала горганской культуры.

Как уже говорилось, помимо иранцев вместе с серой керамикой «ведут» с востока более ранние группы ариев, а именно тех, которые известны в Передней Азии в середине II тыс. до н. э. В общем плане такие отождествления исходили из мнения о связи с «индоевропейцами» или индоиранцами серой керамики на северо-востоке Ирана уже в III тыс.; указывая для последующего времени на ее наличие в малом проценте далее к западу, предполагали инфильтрации небольших групп ее носителей до западных окраин Ирана и в соседние районы Передней Азии. Позже была выдвинута и более конкретная аргументация. Южнее Урмии в период Хасанлу VI вместе с «хабурской» бытовала в небольшом числе «серая» керамика. Указав для нее наряду с горгано-гиссарскими также на западные аналогии, исследователь Хасанлу сделал тем не менее вывод о проникновении, очевидно, с востока «малых» групп, принесших эту керамику «индоевропейцев», и о массовом вторжении народа, изготовлявшего хабурскую керамику, т. е. хурритов, с севера Месопотамии или юга Турции (даже соотношение иммигрантов тут определяется по удельному весу типов посуды в керамическом комплексе!). Это могло бы соответствовать данным о переднеазиатских ариях, растворившихся в хурритской среде. Такое положение и было конкретно сформулировано; вместе с «хабурской» «серая» керамика присутствует также на памятниках Северной Месопотамии, а именно в долине Хабура, т. е. близ центра Митанни; соответственно эта высококачественная серая керамика была определена как принадлежащая митаннийской аристократии, в основе происходившей из ариев, которые принесли далеко с востока эту посуду или привычку пользоваться ею. Таким образом определяется и путь этих ариев на запад, а также место их первых возможных контактов с хурритами – в районах у Хамадана, до которых при этом доводится хурритская экспансия (по наличию в Гияне типа керамики, близкой «хабурской», ср. выше).

Помимо иных оснований, не позволяющих принять эти положения, а также самой бездоказательности лежащей в их основе методики приме-

нительно к данному случаю отметим еще лишь следующее. Как уже говорилось, «хабурскую» керамику нельзя считать именно хурритской, и независимо от этого эпоха ее бытования приходится в основном на время до возникновения Митаннийского царства. Вместе с тем «серая» керамика входила составной частью в «хабурский» керамический комплекс и на севере Месопотамии, и к югу от Урмии, где она встречается вместе с собственно «хабурской» и иными видами входящей в это собрание посуды с самого начала периода Хасанлу VI. Таким образом, серая керамика бытовала задолго до митаннийской эпохи вместе с «хабурской», употреблявшейся в Месопотамии в ранний древнеавилонский и староассирийский периоды (причем и в долине Хабур, что установлено эпиграфически). Распространение же ариев, а точнее, лишь их влияния в Северной Месопотамии относится к более позднему времени и связано с иными историческими, военными и культурными событиями.

Но сам факт бытования серой керамики у северо-западных границ Ирана уже в начале II тыс. до н. э. представляет немалый интерес для рассматриваемой проблемы. Показательны и данные о ней того времени из района Хасанлу, где для последующих периодов (ЖВ I и II) получен материал, во многом определивший выводы о «серокерамической» эпохе на северо-западе Ирана. Эталонный памятник этой «культуры» Хасанлу V и IV согласно упомянутой атрибуции серой керамики теперь также обычно считают иранским или вообще принадлежащим новому в ареале народу, принесшему с собой эту керамику (хотя ранее по иным – и достаточно резонным – основаниям население Хасанлу IV предпочитали относить к доиранским этническим группам Северо-Западного Ирана и соседних областей Передней Азии).

При анализе западноиранской керамики «железного века», легшем в основу теории об «иранской миграции в Загр» с распространением там серой керамики, подчеркивался «культурный разрыв» между периодами Хасанлу VI и V на основе вывода о принципиальном различии их керамических традиций (причем считалось, что серая, а также краснолощенная и некоторые другие виды глиняной посуды появляются впервые в период V). Но скорее следует говорить о естественном при смене керамических общностей качественном различии, оформившемся в результате развития, в том числе за счет количественных изменений, местных традиций районов, вошедших в данную общность. В самом районе Хасанлу большую часть посуды в периоды VI и V–IV составляет желто-бурая (buff); часть ее в период VI – расписная, еще сохраняющаяся в малом проценте и в период V (по упомянутому выше мнению, это единственный признак преемственности периодов). Зато распространяющаяся с периода V красно-

лощенная посуда встречается, как недавно было указано, уже в период VI, и сама «серая» керамика (составляющая 40% в Хасанлу V–IV) тоже представлена в период VI (в 10% фрагментов и для 15% выявленных форм посуды с Динха). Некоторые керамические формы периодов V – IV также засвидетельствованы в эпоху Хасанлу VI, некоторые другие известны для того времени в соседних районах на памятниках с «полихромной» посудой; определенную роль играли и более отдаленные влияния – западные, восточные и иные. Но сам керамический комплекс Хасанлу V, очевидно, развивался на месте и в соседних районах, где, как и в ряде других областей в ту или иную эпоху, проходил процесс утраты посудой росписи в результате различных причин, включая интересы профессионального гончарного ремесла. К качественным видам его продукции и в хабурскую эпоху принадлежала монохромная серая керамика. Распространение ее также нет необходимости объяснять влиянием извне, тем более что она изготовлялась на северо-западе Ирана уже в начале II тыс. до н. э.

Итак, рассмотренный «керамический» аргумент никак не может доказать продвижения иранцев с востока на запад к началу «железного века». Других же конкретных оснований для мнения о такой миграции или вообще о появлении в то время иранских племен на западе Ирана практически не существует. Зато этому мнению противоречат иные данные, в том числе исторические источники конца II – первых веков I тыс. до н. э. Если бы возникновение культуры «железного века» было связано с приходом иранских племен, они, как отмечалось, преобладали бы на северо-западе Ирана не позже чем к рубежу XIV/XIII в. (а то и ранее на сто лет или еще раньше). Материалы клинописных текстов, однако, не позволяют считать, что ираноязычное население широко распространилось там ранее XI–X вв. Сведения о нем имеются в появляющихся с IX в. ассирийских и урартских источниках о ряде иранских областей. Но, по тем же данным, в IX–VIII вв. во многих районах еще сохраняли свои позиции старые этноязыковые группы. Процесс их замещения иранскими, в IX–VII вв. протекающий при свете данных письменных источников, не мог начаться с XIV/XIII в. (кроме того, о некоторых областях на западе Ирана, включая те, где в IX–VIII вв. засвидетельствован ираноязычный элемент, есть скудные сведения XII – начала XI в.; они указывают лишь на старые местные языковые группы).

Уже поэтому археологические памятники на северо-западе Ирана последних веков II тыс. до н. э. (в период ЖВ I) должны характеризовать прежде всего культуру автохтонного населения. А сопоставление сведений IX–VII вв. с археологическими материалами из ряда западноиранских областей показывает, что в то время (в конце ЖВ II и еще в период ЖВ

III) материальная культура этих областей в своих общих чертах была свойственна и аборигенным группам, и «иранцам», тогда уже обитавшим в Западном Иране. Историко-географические и соответствующие ономастические данные помогают также сделать важные выводы социально-экономического плана. Когда в IX в. появляются сведения о Северо-Западном Иране, в ряде его районов существовали образования государственного типа с «городскими» центрами; последние являлись и средоточием ремесленных производств. Эти ведущие политические единицы и экономические центры все или почти все в IX в., в большинстве в VIII в. и частично в VII в. принадлежали именно старому местному населению (иранцы же сначала не имели их, а кроме того, в IX–VIII вв. в ряде районов оказались в зависимости от усиливавшихся местных политических образований или от Ассирии и Урарту, подчинивших и ряд автохтонных центров). Так как местные «города» были также основными центрами ремесленного производства (достигшего к тому времени в Иране высокого уровня), то и тип продукции этих профессиональных ремесел, включая гончарное, еще в IX в. (а во многом и позже) должен был в основном определяться традициями аборигенного населения. Это относится и к культуре Хасанлу серокерамической эпохи XIV/XIII – IX вв. Там существовал центр городского типа, видимо, в период V и определенно в период IV, для которого выявлены мощные оборонительные стены и частично уходящие в предшествующий период монументальные здания дворцового и храмового облика (а также мастерская металлоизделий и керамики). Уже по этим и иным социально-экономическим показателям город нельзя считать принадлежащим ираноязычному населению, которое в то время еще не имело таких центров.

Имеется и другое, прямое свидетельство «автохтонного» происхождения города на Хасанлу. Там найдена каменная чаша (или крышка сосуда) с надписью, указывающей на принадлежность дворцу Баури, правителя страны Иды. Эта «страна» и «город» упоминаются и в ассирийских текстах IX в. как лежащие во «Внутренней Замуа» (далее от Ассирии, чем просто «Замуа»). В IX в. известно также «Море Внутренней Замуа» (причем, по данным 855 г., район Иды доходил до этого «моря»). Его отождествляли либо с Урмией, либо с небольшим озером Зерибор в горных районах далеко к югу от Урмии. Новая надпись и некоторые иные данные определенно подтверждают первое мнение. Не останавливаясь подробно на соответствующих материалах, отметим здесь лишь следующее. Маловероятно, чтобы каменную чашу доставили на Хасанлу откуда-то со стороны; при необходимости же выбирать лишь между местностями у Урмии и отдаленного Зерибора последняя возможность исключается. В со-

вокупности с ассирийскими данными чаша и ее надпись удостоверяют, что «Внутренняя Замуа» находилась близ оз. Урмия, которое и называлось по ее имени ассирийцами. В то же время из сведений об их походах далее на восток следует, что юго-восточные части Приурмийского района были заняты Маной и другими странами, граничившими на западе с «Внутренней Замуа». Сама же она лежала между «Замуа» (от района современного Сулеймание до верховьев Малого Заба) и Урмией, выходя к озеру в западной части его южного побережья. Среди местностей «Внутренней Замуа» владения Иды находились как раз рядом с этим «морем» и должны соответствовать району Хасанлу, а «город» Иды, представлявшей там основную силу с IX в., – самому тепе, где в X–IX вв. существовал главный городской центр этого района. Данное отождествление и документировано надписью на чаше с Хасанлу. Ономастический материал этой надписи и ассирийских текстов показывает, что население Иды не было ираноязычным на всем протяжении существования города на Хасанлу (погибшего в конце IX в.).

Так что и этот, «эталонный», памятник серокерамической культуры Северо-Западного Ирана принадлежал старому местному населению, причем оно употребляло и изготовляло серую керамику и на конечной фазе ее бытования в Иране. По приводившимся выше основаниям можно утверждать, что серая керамика использовалась в Иране неиндоевропейским населением и до и после прихода иранцев, перенявших ее у автохтонов вместе со многими другими особенностями материальной культуры. Когда же серая керамика вышла из «моды» в различных областях Ирана, она перестала употребляться там и иранскими племенами, и аборигенными этническими группами. В ряде таких районов вновь появилась расписная керамика. Ее также связывали именно с иранцами (или их расселением с востока Иранского нагорья), но относили при этом к более раннему времени в сравнении с современными датировками. Иранские племена, безусловно, уже обитали в Западном Иране и пользовались серой керамикой до того, как стала распространяться расписная, которая появилась и в местностях, все еще остававшихся «неиранскими», в том числе в районах Манейского царства, а также во владениях Урарту. Таким образом, эти сходные типы расписной керамики из разных областей дают еще один пример распространения керамических стилей безотносительно к этническим, а также политическим границам.

Археологическая культура Западного Ирана конца II – первых веков I тыс. до н. э. объединяет элементы различного происхождения, возникшие на базе местных традиций, влияний и связей в разных направлениях. Они могут частично отражать и вклад нового в ареале ираноязыч-

ного населения, но его материальная культура на нагорье во многом восходит к старой местной, черты же «иранского» происхождения также могли быстро заимствоваться автохтонами, а у самих иранцев воплощаться в местных технических и стилистических формах. Так что, если обращаться к предметам материальной культуры, следует прежде всего учитывать те, которые по своим функциям могут для того периода быть связаны с иранскими племенами. Так, известно об их роли в развитии всадничества и новых методов коневодства в ряде стран, в том числе в Передней Азии (вплоть до проникновения соответствующей иранской терминологии в местные языки). Поэтому элементы культуры, относящиеся к конному делу, сбруе, всадничеству, соответствующему вооружению и т. п., в Западном Иране той эпохи могут указывать на иранские племена или их влияние. В памятниках Ирана того времени такие черты входят в число тех, которые имеют системные аналогии на северо-западе, в Восточном Закавказье, а также далее к северу. Вместе с тем закавказские комплексы конца II – начала I тыс. до н. э. отражают влияния со стороны северокавказских и степных культур. Особо следует отметить недавно выявленные данные о том, что всадническое население и его могильники с конскими захоронениями и иными чертами обряда, характерными для степной зоны, включая Поволжье, распространяются до Восточного Закавказья и частично до Ирана к первым векам I тыс. до н. э. Эти факты подтверждают, что по крайней мере часть западноиранских племен двигалась через Кавказ. Судя по историко-ономастическим данным об Иране, такое движение к его границам могло проходить в последней четверти II – начале I тыс. до н. э.

Это не исключает пути других западиоиранских групп восточнее Каспия, но тогда, по историко-лингвистическим соображениям, такое расселение должно было проходить примерно в то же время из близких (географически и культурно) районов. Его можно связать с распространением погребений срубного типа по Восточному Прикаспию до юго-запада Туркмении в конце II тыс. до н. э. (или также с тем, что язык Парфии, исторически известной с VII/VI в., был в основе западиоиранским). Следует также учитывать, что иранские племена еще долго после арийской эпохи обитали в степях; иранские языки, как говорилось, бытовали там в общеиранский период, а иранское единство с общими языковыми, идеологическими, социальными, военными и хозяйственными нововведениями должно было формироваться в едином географическом и культурном ареале; данные о появлении некоторых из этих новшеств подтверждают, что общие контакты различных иранских групп в степной зоне еще продолжались в третьей – начале последней четверти II тыс. до н. э.

Если ираноязычный мир в праиранскую эпоху и позже контактировал на западе с иными индоевропейцами Европы (а на севере с финно-уграми), то индоарии, не имевшие таких связей по крайней мере с середины II тыс. до н. э., могли обитать восточнее и южнее иранцев и покинуть степную зону ранее, чем оттуда стали уходить к югу иранцы. Но для определения пути индоариев к Индии нет надежных критериев (отнесение к ним памятников со степными чертами на юго-востоке Средней Азии прямо не противоречит историко-лингвистическим данным, однако не имеет пока доказательной силы). Остановимся еще на мнении об арийской или именно индоарийской принадлежности земледельческих культур второй четверти – конца II тыс. на юге Туркмении и Узбекистана (типа Намазга V/VI–VI, Сапалли и др.) и севере Афганистана (Дашлы и др.). Население этих районов, характеризующееся большим культурным и, как полагают, этническим единством, выводят из ареала более ранних культур Намазга, Гиссара и др. в «Хорасане» и Горгане, но их носители, как мы видели, не могли быть ариями. Правда, нет необходимости соглашаться и с тем, что культуры Намазга V и VI принадлежали населению, ассимилированному горгано-гиссарцами, но первые земледельцы ряда мест на юго-востоке Туркмении, юге Узбекистана и др., видимо, были выходцами с поселений типа Намазга V и переходных V/VI. А предположение об арианизации местного населения уже после начала эпохи Намазга V/VI не имело бы никакой поддержки в археологическом материале.

Тут уместно обратиться к данным о развитии хозяйственно-культурных традиций индоариев и иранцев до начала ведийской и авестийской эпох от общеарийского периода. Индоиранцы характеризуются как скотоводы-земледельцы степного типа, как пастушеские племена, применявшие подсобное земледелие, и т. п. В любом случае они не могли бы и на этом основании отождествляться с земледельцами Намазга IV–V, Гиссара III и др., а тем более с обитателями «серокерамического» Горгана с его развитой оседло-земледельческой культурой и огромным числом поселений той эпохи, причем и с «протогородскими» чертами. Близкий к общеарийскому тип хозяйства был свойствен иранцам в общеиранский период и еще отражен в традиции Авесты, а индоарии во многом сохраняли его при появлении в Индии и до ведийской эпохи. Сопоставление таких данных Авесты и Ригведы с реконструируемым индоиранским состоянием показывает линию развития, на которой нет места многим чертам «протогородской» цивилизации, включая «дворцы» и «храмы», выявляемые и на памятниках типа Дашлы; такие комплексы, как Сапаллитепа, по хозяйственным и иным показателям, очевидно, тоже не могли принадлежать ариям того времени.

Данные вед и особенно Авесты могут частично восходить к периоду до создания самих этих сочинений. Однако и «доавестийская» традиция Авесты отражает явления, возникшие много позже общеарийского и иранского периода, а Ригведа – хозяйственные и культурные черты, характерные для ариев уже в Индии. Если даже полагать, что в лексике и реалиях Ригведа (и вообще ведийская литература) отстает от действительности, то и тогда соответствующие особенности должны в основном относиться к непосредственно предшествующей эпохе. Отметим в этой связи, что в индийских текстах гончары и гончарный круг засвидетельствованы с поздневедийского времени, хотя могли появиться у ариев и ранее в ведийскую эпоху; но в ее ритуалах (в том числе по Ригведе) еще применялась лепная (и вообще неглиняная) посуда, причем и тогда, когда была известна гончарная, а сама последняя долго связывалась с неариями. Поэтому в самом арийском обществе гончаров, очевидно, не было к началу ведийской эпохи или еще и в период Ригведы. Зато уже тогда упоминается «плотник» (тачавший колесницу), и, как отмечалось, это не случайно дошедшие, а закономерные факты, соответствующие составу арийских (и «степных») ремесел.

В первой половине I тыс. до н. э. индоарии жили в условиях североиндийской культуры («серой расписной керамики» – по одному из типов посуды керамического комплекса), в ареале которой они, по ведийским данным, уже преобладали и которая по своим датам совпадает с ведийской эпохой (без периода Ригведы или его ранней части). Поселения этой культуры весьма примитивные, типично «сельские», без черт «городской» или «протогородской» цивилизации (появляющихся лишь на некоторых памятниках конца эпохи). Эти материалы показывают, в каком хозяйственно-культурном типе могли реализоваться социальные отношения, характеризующиеся ведами и во многом развивающие индоиранские институты. Культура этих индоарийских поселений в ряде отношений ближе к культурам степной бронзы, чем к «протогородским» цивилизациям. Таким образом, и ведийские тексты, и данные археологии о культуре индоариев того времени одинаково свидетельствуют о той линии хозяйственного и социального развития с индоиранского периода, которой не соответствует тип земледельческих культур юга Средней Азии и соседних областей Иранского нагорья до конца II тыс. до н. э.

Позже в этих районах обитали иранские племена, а именно «авестийцы», а по данным археологии, около X/IX–VII вв. бытовали памятники «эпохи варварской оккупации» (ЭВО), как не без основания ее называли ранее. В противовес этому акцентируют преемственность материальной культуры данной эпохи от предыдущего периода. Но в той или

иной мере такая преемственность должна была сохраняться и при смене этноса; вместе с тем наблюдается разрыв с традициями предшествующих культур Анау–Намазга. На памятниках ЭВО, в частности, широко распространена лепная посуда, в чем видят «этнографический признак» и авторы, отрицающие ее связь со степной. Но этот признак не был свойствен аборигенам, причем тут особо показательно не оформление керамики, а отражение важной экономической и социальной особенности. Она была характерна как раз для пришлых иранских (или независимо от конкретной языковой атрибуции степных) племен, а на самих памятниках ЭВО принадлежала именно ираноязычному населению, что также указывает на эту эпоху как первую, когда иранцы преобладали в данных районах. Данной эпохе должно было предшествовать распространение там ираноязычных групп. На северной периферии земледельческого ареала, в его пределах и на самих поселениях времени Намазга VI встречается степная керамика; в данном случае, относящемся к границам разных хозяйственно-культурных зон и связанном с экономическим показателем, эта керамика может свидетельствовать о новом населении. Кроме того, в тех же районах известны принадлежащие степным племенам погребения и стоянки с той же лепной керамикой. Учитывая, что иранские племена в ареале древних культур Востока обычно усваивали местную материальную культуру, вряд ли можно ожидать более обстоятельных археологических доказательств проникновения этих иммигрантов с последующей ассимиляцией местного населения и созданием нового этнокультурного типа на ранних этапах ЭВО. Данные процессы относятся ко времени около последней четверти II – начала I тыс. до н. э., как показывают и датировка упомянутых степных материалов, и положение степной керамики в верхних слоях поселений эпохи Намазга VI. Это также подчеркивает, что в основном на ее протяжении эти поселения занимали аборигенные группы, и именно для них характерен свойственный для самой этой эпохи хозяйственно-культурный тип.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Такие факты явно недостаточно учитываются некоторыми историками и лингвистами. Так, следуя обычной локализации в Европе родины индоевропейцев, включая ариев, порой считают их общество гораздо более примитивным, чем его можно характеризовать по историко-лингвистическим данным, а более развитые черты социального строя признаются лишь для той части ариев, которая продвинулась в области древних культур Востока на юге Средней Азии, в Иране и пр. Или, напротив, принимая мнение о

сравнительно высоком уровне хозяйства и социальных отношений индоевропейцев, иногда пытаются поместить их родину в Азии, рядом с регионом древневосточных цивилизаций. В обоих случаях недооцениваются археологические и иные данные, свидетельствующие о значении социально-экономических процессов, протекавших вне древнего культурного ареала Ближнего и Среднего Востока, в земледельческо-скотоводческой зоне Евразии. Материалы из ряда ее областей вполне отвечают данным о хозяйственном и социальном развитии индоевропейцев и ариев (что для последних будет показано далее).

Упомянутая локализация индоевропейцев в Европе относится ко времени перед распадом их языкового и племенного единства. Это, как не раз отмечалось индоевропейцами, не исключало бы поиски более ранней «прародины». Так, вполне можно допустить, что предки индоевропейцев пришли в Европу извне или что туда проникли этноязыковые группы, принявшие вместе с местными участие в сложении будущих «индоевропейцев» и их языка. Уже давно предполагаются связи индоевропейского с семитским, финно-угорским и др., а также отдельные лексические соответствия в иных языках. Но если и придавать значение каким-либо из таких ведущих в разные направления данных, они остаются частными (и до сих пор ненадежными) в сравнении с совокупностью бесспорных собственно индоевропейских материалов. Помимо общих, не обязательно взаимосвязанных структурных черт и основанных скорее на случайных созвучиях словарных совпадений (вместе с весьма произвольными семантическими сближениями), единичных культурных терминов, нередко мигрирующих на большие расстояния, и т. п. некоторые структурные сходства и определенные элементы словарного фонда могли бы восходить ко временам задолго до эпохи индоевропейского единства. Так, если последовать гипотезе о «ностратическом» родстве индоевропейской и ряда других языковых групп, распространенных от Центральной Африки до Северо-Восточной Азии, то связи этих языков должны относиться к верхнему палеолиту (как полагают, на северо-востоке Африки и в Передней Азии) и отделены от индоевропейской эпохи многими тысячелетиями. На их протяжении тоже могли иметь место тесные контакты предшественников индоевропейского и некоторых других языков. Можно также отметить, что становление «производящего» хозяйства в Европе (начиная с Балкан) проходило, безусловно, при воздействиях, а очевидно, и при проникновении групп населения из Передней Азии. Влияния с юга наблюдаются и позже, но наряду с идущими в обратном направлении. В основном самостоятельное развитие культур упомянутых европейских областей между VI–III/II тыс. до н. э. привело к большому прогрессу в земледелии и скотоводстве, металлургии и пр., как и в общественных отношениях. Но при этом, конечно, не был достигнут уровень цивилизаций Передней Азии. Да и вообще протоисторические культуры Ближнего и Среднего Востока по различным социальным, хозяйственным и культурным показателям несопоставимы с упомянутыми культурами Европы и реконструируемыми по историко-лингвистическим данным особенностями общества индоевропейцев. Их отдельные группы проникали на Восток и усваивали местные достижения и традиции.

Но последние не являлись общеиндоевропейскими и не были свойственны предкам большинства индоевропейцев и позже. Так что и по этим причинам нельзя было бы поместить в каких-либо районах Ближнего и Среднего Востока прародину индоевропейцев. К тому же она, безусловно, составляла сплошную обширную область их глотто- и этногенеза. А по конкретным данным, в областях от востока Малой Азии, Сирии и Палестины до Западного Ирана, включая Закавказье, Армянское нагорье и, естественно, Месопотамию, аборигенные народности не были индоевропейскими, а появившиеся позже группы этой семьи принадлежали к отдельным обособившимся ее ветвям и были явно пришлыми в данном регионе; так, основные для него «индоевропейцы» – западные иранцы и армяне – замещают старое местное население при свете данных письменных источников. Не могло быть индоевропейским и население востока Иранского нагорья, юга Средней Азии, долины Инда, а известные там позже индоиранские племена также были пришлыми в этих странах. И лишь для крайнего северо-запада ближневосточного региона можно предполагать раннее распространение отдельных индоевропейских групп, но эти районы Малой Азии примыкали к индоевропейскому ареалу Европы.

² См. об этом также в примеч. 1.

³ Начало же широкого применения боевой колесницы в Передней Азии (о чем известно по письменным источникам) не будет удревнено; а если вместо обычно принимаемой в таких расчетах «средней» хронологии истории Передней Азии той эпохи последовать вполне вероятной «краткой», соответствующие даты будут уменьшены на три четверти века.

SUMMARY

There are several theories in contemporary science that postulate a connection between the Aryan tribes of India and Iran and the prehistoric land-tilling and “proto-urban” cultures (those which existed before the 1st millennium B. C.) in the south of Central Asia and in the neighbouring regions of the Iranian Plateau. Though there is no evidence of the existence of Aryan languages in this agricultural region, they were undoubtedly spoken in the northern steppe zone in the 3rd-2nd millennium B. C. – and, incidentally, during the Indo-Iranian language period. At the same time the uniform Indo-Iranian traditions in the economy, everyday life, customs, social organisation, religion and culture are proof that during the Aryan-entity epoch and for some time after its disintegration, the Indo-Iranian tribes could not live under different economic-cultural conditions. There are grounds to assert that contacts among Aryan tribes continued into the first half of the 2nd millennium B. C. Hence, they had to live in the steppe zone until that time, and the land-tillers in the south of Central Asia and Iran could not belong to the Aryans, at least not till the periods Namazga IV-III and Hissar III-Tureng III inclusive. Areas to the north of this agricultural region were inhabited for a longtime by non-Aryan tribes of hunters and gatherers.

The above-mentioned reasons indicate that the Gorgan grey ware complexes should not be considered Aryan; what is more, the fact that they date back to the last centuries of the 4th millennium B. C. is emphatic evidence that the spread of grey ware is unrelated to the Aryans. The spread of new types of ware, metal articles, etc. in general does not necessarily point to migration; vast cultural provinces and communities associated with specific styles in pottery, as they existed in the Iranian Plateau in prehistoric times, were as a rule multi-ethnic.

Grey ware of the “Khabur” complex must not be linked with the Aryans of Western Asia; this complex is older than the Hurrian-Mittani Kingdom and is of a different origin. Likewise unacceptable is the view that the predominance of grey ware in North-Western Iran from the 14th-13th century was due to the arrival of Iranian tribes from the east. In all probability, they came to Western Iran approximately in the 11th-10th century B. C. Centres of craftsmanship and pottery manufacture in the area were in urban settlements, which even in the 9th century belonged to the aboriginal population; and it was their traditions that determined the nature of the products manufactured there. The historico-geographic and onomastic data indicate that the inhabitants of Hasanlu (in the V and IV periods), which set the standards in grey ware in North-Western Iran, were not Iranian language speakers. Grey ware was used in Iran both before and after the arrival of Iranians, who simply borrowed the tradition from the aboriginal population. The new spread of painted ware in Western Iran circa the 8th-7th century occurred after the Iranian tribes had populated the area, and equally did not result from the appearance of a new ethnos there.

The Indo-Iranians in the Aryan period, the Iranians in the common Iranian period and the Indo-Aryans by the beginning of the Vedic age did not produce wheel-turned pottery. Many other features of the economy and culture of the Aryan tribes as well do not correspond to the general make-up of the land-tilling cultures of what is now Soviet Central Asia, Iran and Afghanistan in prehistoric times, including from the second quarter to the end of the 2nd millennium B. C. (Namazga V/VI-VI, Dashly, etc.).

S. S. MISRA

**BEARING OF THE INDO-EUROPEAN COMPARATIVE
GRAMMAR ON THE ARYAN PROBLEM**

This paper deals with the problem of ancient migration of the Proto-Indo-European language community in various groups on the basis of the evidence of Indo-European comparative grammar.

Some ten or fifteen branches of Indo-European, like Indo-Iranian, Balto-Slavic, Italo-Celtic, Greek, Germanic, etc., have been clearly distinguished on the basis of comparative evidence. But this poses the question as to whether it is natural that the proto-language was abruptly changed into ten or fifteen branches or languages which lost their mutual understandability. It is more natural to suppose that a language, even rich with dialectal materials, changed into two or three branches or languages first of all, from the point of view of loss of mutual understandability. It can be assumed that each of these two or three branches was rich with dialects, mutually understandable.

While thinking of dividing the Proto-Indo-European language under two or three subdivisions, first of all the Satem and Centum classification comes to our mind. Some recent attempts seem to contradict or ignore the Satem – Centum classification of IE. Therefore the various possibilities and methods of classification of the IE language family may be considered here. The distribution of the IE language family is the same as the branching off of the IE speech community in different directions.

Schleicher, who is the father of comparative reconstruction, presents a classification much different from the Satem – Centum division. We shall see later on in this paper that this is to be rejected on the basis of the comparative evidence.

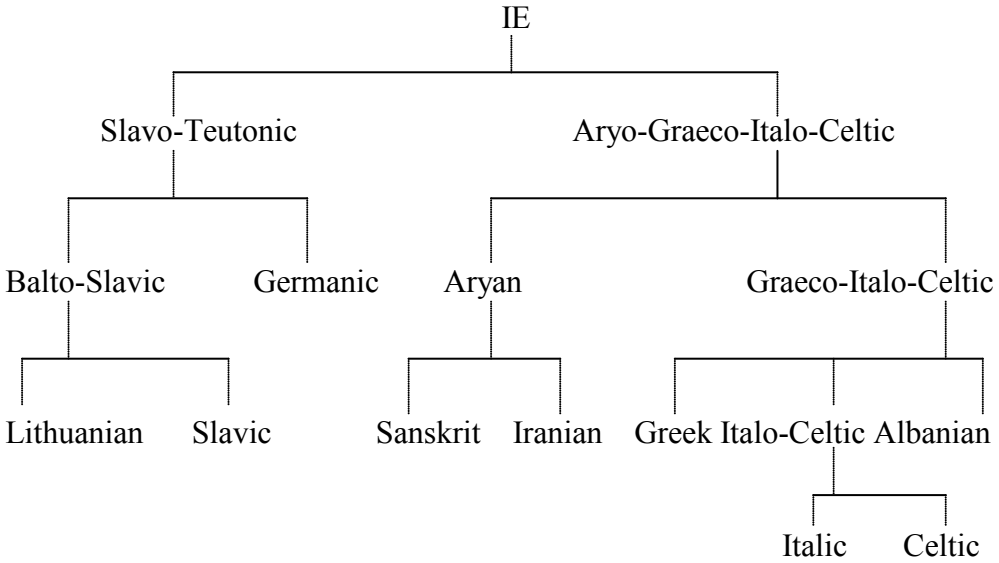
Schleicher classifies IE languages under the following three heads:

(1) The Asiatic or Aryan division, comprising the Indian, Iranian and Armenian;

(2) The South-West European division, comprising Greek, Albanian (with a note of probability), Italic and Celtic;

(3) The North European division, comprising Slavic, Lithuanian and Germanic [23, pt. 1, pp. 5-7].

Finally, however, after some further discussion, he classifies IE under two heads, i. e. Slavo-Teutonic and Aryo-Graeco-Italo-Celtic. Then again the second one is subdivided into Aryan, on the one hand, and the rest, on the other hand [23, p. 8]. Let us represent Schleicher's classification in a table form.



Although Schleicher's classification is apparently peculiar, the basis of affinity which has led Schleicher to this classification can be very easily detected. Slavic and Teutonic have some morphological common points like the IE Instrumental and Dative endings with *-mis/mos*, which are different from IE *-bhis/-bhos/bhyos* as found in Aryo-Graeco-Italo-Celtic; cf. Goth, *wulfam*, Old High German *wolfum*, OE *dagum*, Lith. *vilkams*, Old Church Slavonic *vlŭkomŭ*, Skr. *vṛkebhīḥ*, Av. *vəhrkaēibiš*, Gr. *lukophí*, Old Irish *feraib*, Lat. *manubus*, Arm. *gailvk*‘.

There may be few other points to justify Schleicher's classification. But it seems for Schleicher here the geographical factor was more important than the linguistic factors, since in his time the comparative method was still in its infancy. Schleicher had almost in a way admitted that his basis was geographical. To quote Schleicher: "Within this IE class of speech, however, certain languages geographically allied point themselves out as more closely related to one another. Thus, the IE speech falls into three groups or divisions" [23, p. 5]. In this introduction to his classification, it is clear that Schleicher must have tried to link up the languages first from the geographical position and then he has tried to link

them up from the linguistic point of view. To take geographical factors into account is also essential, but linguistic affinity is of primary importance, since migrations are possible in all sorts of manner, by which the original geographical picture is likely to be disturbed in the history of a language.

Schleicher's classification does not include Hittite and Tokharian. The reason is obvious. These languages were not known in his days. But his classification has two chief blunders: (1) Germanic cannot be put together with Balto-Slavic since the former is a Centum language and the latter is a Satem language; (2) Albanian, which is a Satem language, cannot be put together with Graeco-Italo-Celtic, which come under Centum. The blunders are to be treated as such on the basis of the Satem – Centum classification.

Now there may be the question why we should ignore certain other affinities for classification. Schleicher's classification has also some isomorphic basis, at least as shown above in the case of the endings *-mis/-mos* : *-bhis/-bhos*. At this level we face the question whether the morphological basis or the phonological basis is to be treated with primary importance for classification.

To review the classification of world languages, the world languages are classified morphologically and not phonologically. Even when the languages are classified genealogically, each family has its own morphological or structural peculiarities by which a language belonging to the family can be easily detected.

But while subclassifying languages within one language family, the linguists have attached more importance to the phonological peculiarities. This has been recently criticised by H. M. Hoenigswald in his paper *Criteria for the Subgrouping of Languages*: “The limitation in question consists in the fact that the classical comparative method which underlies our pair-wise reconstructions applies to sound change only, whereas linguistic innovations are of course by no means all phonological” [see 2, p. 6].

Despite the criticism of Hoenigswald, the phonological changes in a language are of primary importance for subgrouping. Although morphological changes in a particular group may be alike, this is not very dependable for subgrouping of languages coming from one proto-language. This point requires more elaboration and clarification, which may be made here by illustrations. One language may show two different case endings under the same case implication, sometimes with slight semantic variation. Both may be handed down to the languages of the next stage, where in course of time some languages may prefer one form and the others – the other form. Let us put the name X for the proto-language and A, B, C for the languages of the next stage. Out of the forms 1 and 2 of the X stage, A and C may prefer 2 and B may prefer 1. Though A, B and B, C may be closer to each other than A, C, still A and C may

look similar on the basis of the preference of the form 2. This type of phenomena is quite natural in the history and development of a language.

In the case of phonological changes, one sound of the proto-language is supposed to have one type of development in a language of the next stage. Therefore the phonological changes are more dependable for a study of the historical changes. In the case of phonological changes, the exceptions to a particular type of sound change also come under another system or law and so the whole thing is more systematic than the morphological changes.

Some concrete examples may be taken up now. In MIA the heterogeneous conjuncts of OIA are, as a rule, assimilated. Exceptions are there where heterogeneous conjuncts are simplified by anaptyxis. Now here one thing is common to both these changes: the heterogeneous conjuncts are no more retained in their original form. For this there is no question of option or preference. The heterogeneous conjuncts must be changed in MIA. Perhaps an effort to retain the conjunct (by Sanskritism?) resulted in anaptyxis. The effort to retain a conjunct might have been motivated by the fact that assimilation often resulted in ambiguity. Forms originally different could become homophonous. Since Skr. *tarka* 'argument' and *takra* 'curd' could both become *takka*, a form like *takka* may be traced to *tarka* or *takra*, depending on the context. A form like *indra*, by becoming *inda* by assimilation, looked as if the *r* is simply dropped. Hence an effort to retain the *r* results in a form like *indara* with anaptyxis. Thus the forms apparently aberrant are really systematic in the case of phonological changes. In the case of morphological changes also, there is sometimes a phonological cause. A form like MIA *dhammādo* or *dhammāo* is obviously a new formation for *dhammā* < Skr. *dharmāt*. After the final consonant was dropped as a rule, the form became *dhammā* (which is actually attested in Pāli) and it became identical with nominative plural and instrumental singular forms. A tendency for differentiation of the ablative resulted in further affixation of the ablative ending *-tas* to the original ablative form *dhammā*. The apparently anomalous form *dhammādo* for the expected form *dhammado* (<Skr. *dharmataḥ*) has the peculiar natural history stated above. A phonological change resulted in a new ablative ending, *-ātaḥ*, replacing Skr. *-āt* and *-taḥ*. Similarly, preference for the instrumental plural *-ebhiḥ* in MIA at the cost of *-aiḥ* is not merely a generalisation of one of the forms. It is because *-aiḥ* would become in MIA *-e* and then it would be homophonous with locative singular *-e*. This resulted in extending *-ebhis* to instrumental plural of *-a* stems in all cases and *-smin* from pronouns to the locative singular of *-a* stems for a double check.

This process of morphological change due to phonological changes is nicely illustrated in the following example from OIA. Indo-Iranian dative singular of *-a* stems ending in *-āi* was replaced by *-āya*; e.g. Ilr. *asvai* by Skr.

aśvāya. This extension must have taken place in OIA to avoid confusion of the dative singular of masculine *-a* and feminine *-ā* stems which became alike in the IIr. stage, although they were different in the Indo-European stage; e.g. IE **ekwo + ai > *ekwōi* and **ekwā + ai ^> *ekwāi*. Both became IIr. *asvāi*. Skr. added ‘a’ to set aside the masculine form. The feminine forms were distinguished by a double affixation, cf. Skr. *aśvāyai*. Thus, all sorts of morphological changes are guided by phonological changes.

A historical study of a language and a comparative study of related languages explicitly point out that morphology is to be taken into consideration merely to see the general structure of the languages or the language family. Morphology helps us rather in an approximate or gross classification. Sometimes morphology may also be found to play some role in subclassification. But phonology should be considered as the primary factor (basis) of subclassification. Phonological changes are more systematic, whereas morphological changes may be more complicated.

Out of all morphological elements, the pronouns are the least dependable for subclassification. If we examine the history of IE beginning from Proto-IE up to NIA, the history reveals that the pronouns are the most complicated elements. Out of the pronouns, it is the personal pronouns – in the stricter sense, the first and the second personal pronouns – that have the most complicated morphological status.

In Proto-Indo-European, the 1st personal pronoun nominative singular is problematic. On the basis of different historical languages different reconstructions are to be made. On the basis of Skr. *aham*, the Indo-European form should be *eǵhom*. For Greek *egō* (=Lat. *ego*), we need IE *eǵō*. For Greek *egōn*, we need IE *eǵōm*. For Hittite *ug* (written *u-uk*, *u-ga*, *u-ug-ga*), which is also used as accusative, IE needs *eǵ* (Hitt. *u* in *ug* for *eg* after 2nd person *tug*). Should we reconstruct three IE forms or one? Was there only one form in Proto-IE or were there three forms going side by side? This is rather a complicated question. I believe all the forms to be current in the proto-language and accordingly I have presented a treatment in one of my works [17, p. 77]. I have not assigned any ground there. But here I would like to discuss my viewpoint a bit more elaborately as to why I have taken all the reconstructions to be valid as current forms in the proto-language. The personal pronoun is a highly essential part in a language and therefore is frequently used by all sorts of persons in a speech community. Although the personal pronouns are of constant use, variant forms can continue in a language as parallel forms and mutually intelligible forms. It is quite likely that in a subsequent stage of a language the various forms may be handed down with due phonetic changes. But in course of time there may be preference for a particular form at the cost of another. Several

factors may be responsible for the loss of a form. By phonetic decay a form may become too indistinct, or a form may become homophonous with another form with a very different meaning. Such forms are therefore lost. Sometimes new forms come up with a new semantic attitude and replace the old form. For example, the old form in the case of personal pronouns is used as non-honorific and a new form comes to be used as honorific. With time this new form takes the ordinary non-honorific meaning and a fresh form is used for honorific purposes.

An illustration may be made from Indo-Aryan. The nominative singular of the 2nd personal pronoun *tvam* was used originally in IE and IIr. irrespective of honorific and non-honorific. But in course of time in OIA this was replaced by the plural *yūyam* for honorific purposes; cf. similar replacement of ‘thou’ (IE *tu-*) by ‘you’ (IE *yū-*). OIA with time began to use another peculiar form, *bhavat-/bhavant-*, with a nominative singular masculine form *bhavān* as honorific, expressing the 2nd personal pronoun in meaning only, taking the verb in the 3rd person. This was originally a present participial form of $\sqrt{bhū-}$, but distinguished from the form used as a present participle in gradation, in nominative singular only, i. e. *bhavan* meant ‘being’, present participle, but *bhavān* meant originally ‘being’, secondarily ‘the gentleman present’, cf. *atrabhavān* ‘the gentleman present here’, *tatrabhavān* ‘the gentleman present there’, subsequently it meant ‘your highness or his highness (present here)’ and ‘your highness or his highness (present there)’. It should be noted that RV does not show any use of *bhavān* in the nominative singular. The use is also not attested in other Śaṃhitās. Śatapatha Brāhmaṇa shows the use of *bhavān* with this meaning for the first time. Gradually, when *bhavān* was considered insufficient as honorific, its plural *bhavantaḥ* came to be used for the purpose. In this connection it may also be noted that *bhos* (alternatively *bho*, a generalisation of sandhi form), which is originally a prakritism of *bhavas*, vocative singular of *bhavat-* (beside the alternative and more current *bhavan*) like *bhagavas*, vocative singular of *bhagavat-*, became an ordinary vocative particle. As a result of this semantic change *bhavas* was replaced in OIA by *bhavan*, but it was borrowed from MIA into OIA when it had an altogether different shape (i.e. *bhos*) and is no more recognised as related to *bhavān*. It should also be noted that *bhos* is not attested in the Śaṃhitās, but first of all appears in Śatapatha Brāhmaṇa as *bhavān*.

The peculiar tendency of personal pronouns to replace one morpheme by another can also be observed in a much later phase of IE, i.e. in the Modern IE languages. For example, the Skr. nominative singular of 1st personal pronoun *aham* is very rare in NIA (cf. Braj *hau*). Its place has been taken by 3rd person singular in several languages, e.g. Oriya *mū*, *muñ*, Beng. (dialectal) *muñ*, Ass. *mai*, Hindi and Panj. *maĩ*, Maithili (obs.) *mē*, Bhoj. (obs.) *mē*, are all traceable

to OIA **mayena* beside *mayā* (instrumental singular), whereas Beng. *āmi*, Oriya *āmbha-* (plural but also hon. sing.), Hindi *ham* (pl. and hon. sing.), Magahi, Maithili, Bhoj. *ham* (sing.) are to be derived from Skr. plural stem *asma-* > MIA *amha* (*ham* may be due to contamination of *hau* with *amha*).

The 3rd personal pronoun varies from language to language in the IE historical languages. Therefore there is every possibility that there was no 3rd personal pronoun in the proto-language and one or the other of the demonstrative pronouns was generalised in the individual branches as 3rd personal pronouns [17, p. 76]. So the 3rd personal pronoun also cannot be used for subclassification of the proto-language. Even when we examine one branch, it is often the case that the 3rd personal pronoun differs from language to language; cf. Goth. *is* < IE *is*, but OE *hē* <C *ko-/ki-*, both belonging to the Germanic branch; cf. also Hindi *vah*, but Oriya *se*, both NIA languages.

Thus it is clear that a morphological study of the pronouns cannot be taken into account for subclassification either.

It may be of some interest to point out here that one scholar considers that the functions of pronouns are very important for establishing distant linguistic affinity, i.e. to compare one language family with another language family and thereby go further back into the history of the language. I have read the summary of his paper [8, pp. 199-200], where he claims that he has worked out to some extent, on the basis of the pronouns, the affinity of IE, Semito-Hamitic, Uralo-Altaic, etc. to each other. Since so far I could not get his original article, I have no comments on his statements (on the basis of the summary alone). But it is quite probable that the evidence of pronouns may have a role in solving problems of distant linguistic affinity, since pronouns are the most ancient linguistic components of a language or a language family. For distant linguistic affinity the conclusions, if any, will stand to some extent on the ground of probability. Up till now no one has shown us anything concrete in this line except Möller [22]. But even when some work is done, it may be possible that Collinder's comparison of pronouns may be effective for such purposes. For subclassification or, to be more specific, for subclassification of IE languages, the pronouns have a negligible role.

The numerals, too, should not be taken into account for subclassification. Numerals always come into contact with people of different language families, and there is always a possibility of borrowed elements disturbing the local elements or the local system. The IE languages which have a decimal system show a vigesimal system in several areas due to the influence of other language families, e. g. counting in twenties in Eastern India (cf. Oriya *koṛie*, Beng. *kuri*, Assami *kuri*, etc.) may be due to Kol influence [7, pp. 794-795]. In Latin also the expressions for 19 and 18 are *ūn-de-vīgintī*, *duo-dē-vīgintī*, meaning literary

one less than twenty and two less than twenty, respectively. These also presuppose the influence of a language with a vigesimal system. The Indo-Aryan word *sahasra* has been replaced by Persian *hazār* in New Indo-Aryan. Another notable point is that phonology of numerals differs in most languages more than the phonology of other elements.

The verb is the most important morphological item of a language. A verb is normally an inherited item and not borrowed. A language is to be recognised from its verbs. Thus, a sentence in a language is to be recognised as a sentence of a particular language chiefly on the basis of the verb when all the other words except the verb may be loan words. The verb is a highly significant element in morphology and therefore it is supposed to have an important role in classification. To some extent, it is actually important even in sub-classification. But the verb, too, is not greatly dependable for minute sub-classifications because the verb is subject to optional use of double forms, which is a characteristic feature of morphology.

For example, the IE middle voice, now often termed medio-passive, has distinct endings. These endings, however, are retained clearly in Ilr. and Greek. In other languages they are sometimes traceable, but often not so clear. These endings are gradually lost in the later phase of Indo-Aryan. The middle endings may be equally old or even older than the active endings, since their forms demand the strong grade as against the active endings, which show weak grade; cf. *-tai* : *-ti*, *-sai* : *-si*, *-ntai* : *-nti*, where the middle forms *-tai*, etc. are in the strong grade and *-ti*, etc. are the forms of the weak grade and therefore may be even later in origin than the middle endings *-tai*, etc.

Although the middle endings seem to be older from a structural point of view, the comparative evidence for them is quite poor and the languages showing these forms are also pretty old as far as the records are concerned. Therefore, on the basis of the evidence of middle endings, it is rather safer to assume that they were perhaps more current in an earlier phase of IE without any definite active – passive differentiation. Gradually, when the active developed, these endings were relegated to a secondary position and were confined to expressing the passive more than the active. The attested evidence in the historical languages shows the use of the middle voice in this later stage.

Without taking these facts into consideration, if one considers Sanskrit, Greek, etc. to form one subdivision on the basis of retention of the middle voice, then it will definitely be a misinterpretation of the facts. Thus, IE voice cannot help us with subclassification. In this way, if we examine other important items of the verb morphology, such as retention or loss of the augments, retention or non-retention of various present classes, etc., it will be observed that these cannot help us with subclassification.

Therefore, morphology can in no way help us with subclassification in a perfect way, as is shown above by analysis of different morphological elements.

The classification of Schleicher was thus duly rejected, chiefly because it did not have a sound phonological basis, although the classification may be sound from the morphological point of view.

In this connection, the recent classification of IE given by Georgiev may also be considered [see 2, p. 114: “North: Baltic-Slavic-Germanic, perhaps Tokharian; West: Italic-Celtic, Venetic, Illyrian; Central: Greek, Daco-Mysian (including Albanian), Indo-Iranian, Phrygian-Armenian, Thracian, Pelasgic; South: Hittite-Luwian, Etruscan”].

The classification of Georgiev looks brand-new when compared to the normal Satem – Centum classification. But this is almost a restatement of Schleicher’s classification with nice incorporation of the languages discovered in post-Schleicher times. Schleicher’s classification does not contain Tokharian, Hittite, etc. Georgiev’s classification is quite comprehensive and it includes even minor IE languages. But does it solve the problem of classification? Actually it does not solve the problem. His classification also seems to be based more on morphological than on phonological ground. Otherwise, languages like Greek and Indo-Iranian should not have been classified under one subheading – Central. He places Albanian here, like Schleicher.

Several other scholars, without making any effort for subgrouping, simply present the different branches independently under IE and they also seem to disregard the Satem – Centum classification, although without making any specific reference to it. In this connection reference may be made to the table of classification of IE presented in a recent work by Benveniste [1, pp. 530-531]. Benveniste classifies IE as Slavic, Baltic, Germanic, Celtic, Italic, Albanian, Illyrian (including Venetic and Messapic), Greek, Thracio-Phrygian (including Macedonian), Armenian, Tokharian, Hr., Hittite (including other Anatolian languages and considering Lycian as a later form of Luwian, and Lydian – as a probable later form of Hittite). Benveniste’s classification is safer than that of Georgiev, since it saves itself from committing blunders in classification. But this classification is rather a purely arbitrary presentation of the old material simply with the inclusion of the new languages, because the order in which the languages are presented (e. g. Slavic, Baltic, Germanic, Celtic, etc.) has no apparent justification. Are they arbitrarily chosen? Or is there any significance in the order? To me, the order seems to be arbitrary. Therefore, this classification, too, in spite of its comprehensive presentation avoids a proper classification because it is not natural for IE to be abruptly varying into so many branches without being first of all divided into two, three or four main branches. Al-

though the work of Benveniste is meant to shed some light on the history of the IE people, the table of classification of IE seems to ignore the natural process of history where a speech community naturally is first of all subdivided into a few groups, and then further subdivided. It is not possible that ten or fifteen branches of IE developed side by side in the initial stage as independent subgroups, abruptly losing mutual understandability.

Thus, Benveniste's classification, although a welcome development based on linguistic grounds, is not perfect from the point of view of subgrouping, chiefly because there is no attempt in this classification to link up the different branches for obtaining some two or three main subdivisions.

Finally, for a proper subgrouping we have to go back to the Satem – Centum classification. But before coming to this, the Indo-Hittite theory should also be considered, because this presupposes some problems of classification for the Anatolian languages. I have elaborately shown elsewhere [19, pp. 126-134] that the Indo-Hittite theory is not based on sound evidence. Its classification, too, as we have shown above, is one-sided, taking practically one branch on one side and several branches on another side. This classification does not have a sound footing either. The laryngeal theory, which is considered to be a strong basis for the IH hypothesis, is in itself a sand castle.

Therefore, we have to revert to the Satem – Centum classification. This is a very old classification and now many scholars do not bother about this classification, taking it to be quite backdated and obsolete. Some approaches have been shown above where people, in spite of not accepting this, have not successfully presented a better classification because some of them have taken morphology as the basis of subgrouping and others have described their classification in such a way that it appears that ten or fifteen branches have come out of IE simultaneously, losing their understandability as dialects of the proto-language.

The main ground for ignoring the Satem – Centum classification may be that this is based on the difference of treatment of IE guttural series in these two branches, and after the discovery of Hittite some scholars hesitate to accept the three series. Besides, there are many minor problems with these three series, even if Hittite evidence is put aside. All these problems have been discussed in detail by me elsewhere. A brief exposition will be presented here, since it is of considerable importance for the Satem – Centum classification.

The three guttural series are reconstructed only on comparative evidence because no historical language has retained the IE three series in the original form. In all languages they have merged into two series. The Satem languages have absorbed the pure velars with the labio-velars, and the Centum languages

have merged the pure velars with the palatals. Some scholars think that the pure velars were not at all present in IE, and IE had only two series. According to Burrow [5, p. 75]: “The assumption of the third series has been a convenience for the theoreticians, but it is unlikely to correspond to historical fact”. On the other hand, some consider that the proto-language had only one series of gutturals. This assumption is mainly based on the Hittite evidence. All these possibilities may be examined now.

One guttural series is not so new as it seems. Even in the 19th century Schleicher, the father of comparative reconstructions, reconstructed only one series on the basis of comparative evidence [23, p. 1]. In his reconstructions Schleicher uses *k* for IE *k*, *q*, *q^w*. Thus, Schleicher has *kas* for *q^wos*, *ka* for *q^we*, *krutas* for *k^wutos*, *dakan* for *dek^wm*, etc. [23, p. 77].

After comparative grammar advanced, the three guttural series were finally established as in Brugmann [4, see pp. 233, 244 and 245 for details].

Soon after the discovery of Hittite, Hittite gradually obtained an important place in IE comparative grammar. And several Western scholars attempted to prove that Hittite is the richest language from the viewpoint of archaism. Hittite records are no doubt very old, but not so much dependable as they are generally considered by the Hittite scholars.

As far as the guttural series is concerned, there is an approach by Hittitists that the proto-language had only one series, and it is perfectly shown in Hittite [28, p. 55]. Sturtevant starts his description by positing only one guttural series, but he could not rule out the special treatment of labio-velars in Hittite. That “there is no trace of the Indo-European distinction between velars and palatals”, is true for all Centum languages. If “Hittite does distinguish between IE velars and labio-velars in some words”, it is sufficient to put it under the heading Centum. But he avoids reconstruction of labio-velars in Indo-Hittite by deriving the form from a velar followed by a *w*. This special formula has no logic. In several Centum languages a labio-velar shows the same treatment as a velar/palatal followed by a *w*, e.g. Lat. *quus* (IE *q^wos*) : Lat. *equus* (<IE *ek^wos*). The “excellent example” of Sturtevant, e. g. *kunantsi*, can easily be explained by anaptyxis. But the labio-velars are reconstructed instead of a conjunct of a velar + *w* in Proto-IE as a convenient formula merely to account for the fact that Satem languages show a simple consonant from it. It should be remembered that *q^w* or *k^w* is a simple consonant of *qw* – or *kw* is a conjunct. IE *q^w* or *k^w* is reconstructed in the protolanguage because the development of *k* out of it in so many Satem languages cannot be explained otherwise; IE *qw* > Satem *kw*, but IE *q^w* > Satem *k*. There should not be any reconstruction merely on the internal evidence of a language when comparative evidence goes against the same. There are aberrant cases in Hittite which can easily be explained just like

aberrant cases in other IE languages. Hittite *-ki/-ka* in the above examples can also be derived from IE *-ki/-ko* as these are particles [19, 39]. Hitt. *-ku* can easily be derived from IE *ku* or *q^wu*, since in most Centum languages the labialisation is lost before *u*; cf. Gr. *elakhus* (<IE *Ing^whus*) beside Gr. *elaphros*; cf. Lat *alicubi*, with *-cu-* for *-quu*.

Sturtevant has also tried to show that Hittite presents a confusion of palatals and labio-velars, to strengthen his hypothesis of one guttural series in Indo-Hittite. He cites one example: Hitt. *dekusami* (*te-ik-kw-us-sa-mi*) is equal to Skr. *diśāmi*, Gr. *deiknūmi*. But Hitt. *u* here is merely a case of anaptyxis, as explained by me elsewhere [17, p. 23]. And such stray forms should not be used to formulate new theories against highly established theories unless the form is of primary importance to change the whole system. Sturtevant's conclusion, "the easiest way reconciling these and other variants for the IE labio-velars is to suppose that in Proto-Indo-Hittite the phoneme *w/u* frequently followed a stop, *k*, *g*, or *gh*," [28, p. 55] is quite vague. It does not account for the loss of the *w* in Satem languages, because a conjunct of velar and *w* is retained in Satem, whereas the labio-velars become pure velars in Satem as already shown above.

Therefore, the attempt at a one-series system of gutturals is contrary to the comparative evidence of the Indo-European languages, including even Hittite. It is clear from the above analysis that Hittite also needs the reconstruction of labio-velars in the proto-speech and just like other Centum languages shows velars for Indo-European palatal series. So, the question of one guttural series in the proto-language is fully ruled out. And finally, the Satem – Centum classification stands firmly despite being considered antiquated by several scholars.

Others who prefer to have a two-series system of gutturals in IE admit the Satem – Centum classification. Some of them would exclude the labio-velars; the most important name to be mentioned here is Kuryłowicz [14, p. 100]. Long before Kuryłowicz, Brugmann also had to reconstruct two series excluding labio-velars [3, vol. 1, p. 305]. Brugmann's description reveals that in his treatment of two series, the unstamped labio-velar series was in a highly indistinct way in the scholar's mind. "In the group in which *k*, *g*, *gh* appear as explosives, *q*, *g*, *gh* frequently appear as *k* sound with following labialisation (*w*), as Latin *quis* = IE *quis*." Subsequently Brugmann reconstructed three series [4, pp. 157, 163 and 168 for, respectively, palatals, velars and labio-velars]. The problem met with by Brugmann without having the labio-velar series is also to be met with the same type of two-series system with palatals and velars by Kuryłowicz; viz., the reconstructions of labio-velars can only solve the equations like Latin *guus* = Skr. *kaḥ*. As shown above, this equation cannot be explained if we posit a velar followed by a *w*. There are others who, for having a two-

series system, would like to drop the palatal series, considering it to be an innovation in the Satem languages [16, pp. 91-95]. Meillet's exclusion of palatal series is really surprising, because the palatal series is merely a convenient formula to explain the equation between the sibilants in the Satem and the velars in the Centum languages. The name "palatal" may be incidental. It is perhaps borrowed from Greek grammars, where "palatal" has been used to indicate velar sounds. People often confuse the term "palatal" here with the term "palatal" in phonetics. Accordingly, people talk of the Satem sibilants as first palatalisation and consider Satem as an innovator [5, p. 72]. For the Satem sibilants, "assibilantation" would be a better term than palatalisation because, since the sounds are already termed as palatals in the proto-language, palatalisation of palatals is unthinkable.

Lehmann has tried to demonstrate that the palatal series has come out of the velars when the velars were followed by *e*. He has cited the following examples [14, p. 101]:

- IE $\hat{k}e$ - Lat. *cēnseō* 'rate': Skr. *śamsati* 'praises';
- IE $\hat{k}a$ - no evidence;
- IE $\hat{k}o$ - rare, OHG *bircha* : Skr. *bhūrja* 'birch' (for go-);
- IE *qe*- rare, Gr. *keíyō* 'cut off' : Skr. *kṛntati* 'cuts';
- IE *qa*- Gr. *karkínos* 'crab' : Skr. *karkaṭa*;
- IE *qo*- Gr. *meíraks* 'girl' : Skr. *maryaka* 'young man';
- IE q^we - Gr. *téssares*, Goth. *fidwōr* : Skr. *catvāras* 'four';
- IE q^wa - OCel. *haalr* 'whale': OPr. *kalis* 'sheatfish';
- IE q^wo - Gr. *poinē*: Av. *kaēna* 'punishment'.

From these examples Lehmann concludes that IE velars became palatals before *e*. Lehmann finds no example of $\hat{k}a$. There are several examples where IE *ka* is found, as in *dedorka*, cf. Skr. *dadarśa*, Gr. *dédorka*. IE $\hat{k}o$ is also found in several examples, which are much better examples than those cited by Lehmann, e.g. Skr. *yuvaśaḥ*, Lat. *juvencus*, Goth. *juggs* < IE *yuwṅkos*; similarly, Skr. *śataśaḥ*, *loniaśaḥ*, etc. IE *qe* is rare, according to Lehmann. But several cases of *qe* can be cited from Skr. on the basis of Collitz's law, e.g. Skr. *cakāra*, OP *caṣariyā*, etc.

In this way, Lehmann's thesis is not supported by evidence, or rather it is contrary to the evidence of historical languages.

Therefore, any attempt to consider Satem as innovator is based on a misunderstanding of the original approach to the guttural series. Finally, one has to revert to the three-series system of the gutturals. And Satem and Centum still stand parallel to each other, very firmly.

There are some exceptional stray forms in several historical languages. On the basis of these forms some scholars doubt the validity of the guttural series. These exceptional forms are characterised definitely, with due history, which, unfortunately, has been obscured in course of time. A few such forms may be examined here. Skr. shows two forms, *śrānta-* and *klānta-*, both meaning ‘tired’. They are compared to Gr. *klamarós* [5, p. 75]. Skr. *śram*, ‘toil’ is quite a common root, but *klam* is very rare and appears for the first time in epic Sanskrit, and is chiefly attested in past participial form *klānta-*. *Klānta-* may be secondary form of *krānta-* < *kram* ‘walk’. *Śrānta* and *klānta* with two different original meanings, ‘toiled’ and ‘walked’, finally came to mean ‘tired’, losing the original shift ‘tired of toil’ and ‘tired of walking’. This is not the place to deal with all the exceptional forms. Some of them are analogical remodellings due to the influence of similar other forms, e.g. *sarga* and *yāga* for **sarja* and *yāja* (with IE -ǵ) due to the influence of forms like *yuga* beside *yuja*. Some forms may be due to the dissimilatory effect of the neighbouring sibilants, e.g. Lith. *klausai* < IE *kleu-*, cf. Skr. *śru-*; OChSl. *svekry*, cf. Skr. *śvaśrū*. Some may be prehistoric borrowings, e.g. Lith. *pekus*, cf. Skr. *paśu*. Some Hittite forms have peculiar exceptional shapes due to anaptyxis, e.g. Hitt. *kurur* ‘hostile’, cf. Skr. *krūra-*, Av. *χrūra-*, Gr. *kréas* (with velar *q* and with anaptyxis in Hitt. [19, p. 46]; and not with labio-velar *q^w* as required by Sturtevant’s approach [28, p. 56]). Similarly, Hitt. *dekusami* has already been explained above as a case of anaptyxis and showing IE *k* and not *q^w*.

Treatment of guttural series is a very important criterion for distinguishing the two major branches of IE, viz., Satem and Centum. But there are other factors distinguishing these two branches. IE *s* has a special treatment in Satem languages after *r/ṛ*. In these cases *s* became *š*. This may be illustrated with examples from various Satem languages, except Albanian. IE *rs* has become *rr* in Albanian. We may conjecture that IE *rs* > Satem *rš* > Alb. *rr*. But this cannot be established with full certainty. Therefore, examples from Albanian are not cited below. All the other Satem languages present evidence in favour of the change of IE *rs* to *rš* in Satem, as is clear from the following illustrations:

Skr. *varṣyās*, OChSl. *vr̥chŭ*, Lith. *viršùs* < Satem *verš/vṛš* < IE *wers/wrs*, cf. Lat. *verruca*.

Skr. *dharṣaṇa-/dhṛṣṭa-*, Av. *dərəšnaomi*, OP *adaršnaus* < Ilr. *dharš/dhṛš* < Satem *dharš/dhṛš* < IE *dhers/dhrs*, cf. Gr. *tharsús*, Goth. *ga-daúr-san*.

Skr. *turṣ-/tṛṣ-*, Arm. *t’aršamin* (> later Arm. *t’arānim*) < Satem *taršr/tṛš* < IE *ters/trs*, cf. Goth. *ga-pairsan*, Gr. *térsomai*.

Skr. *marṣ-/mṛṣ-*, Arm. *morānam* « earlier **moršanam*), Lith. *maršas* ‘forgetting’, *miršai* ‘I forget’ < Satem *merš/mṛš*, cf. Tokh. A *mārsneñc* ‘they forget’, Goth. *marzja* ‘I hurt, vex’, OHG *merr(i)u* ‘I disturb, mislead’.

Skr. *ṛṣa-bhaḥ* ‘bull’, Av. *aršan/aršnō* (gen.), OP *aršam*, Arm. *arñ* (<earlier **aršn*) (gen.) ‘of man’ < Satem *ṛṣen/ṛšn-*, cf. Gr. *ársēn* ‘masculine’.

Skr. *śīrṣan-*, Lith. *širšeñs*, OChSl. *srīšenī* (<*srīchenī*) < Satem *sṛṣen-*, cf. Gr. *kórsē*, Lat. *crābrō*.

Skr. *carṣaṇi-* ‘man’, *kṛṣaka-* ‘ploughman’, *karṣati* ‘ploughs’, Av. *karšvarə* ‘one region of the earth’, Arm. *k’aršem* ‘I drag’ < Satem *kerṣ-/korṣ/kṛṣ*, cf. Lat. *curro* ‘I run’.

This Satem *ṣ* after *r* became Ilr. *ṣ* > Skr. *ṣ*, Av. *ṣ*, OP *ṣ*, Lith. *š*, OChSl. *ch(š)*, Arm. *š* (later lost). In all the languages, except Lithuanian, this development of sibilant was quite distinct from Satem *ś* (< IE *k̑*). This Skr. *ṣ* (along with its voiced counterpart **z̑*) was responsible for the origin of the cerebral sounds in Sanskrit. Skr. *ṣ* cerebralised *t, th* > *t, ṭn*, and **z̑* cerebralised *d, dh* > *ḍ, ḍh* [for details, see 19].

Thus, the Satem and Centum branches were phonologically distinguished from each other. These two are the major subdivisions of the Indo-European family. We can safely assume that the Indo-European speech community first of all was subdivided into two groups at the time of leaving their original home, wherever it was situated. Subsequently, the Satem group was further subdivided under four heads: Indo-Iranian, Balto-Slavic, Armenian and Albanian; and the Centum group was subdivided under five heads: Anatolian, Greek, Italo-Celtic, Tokharian, Germanic.

I have avoided Illyrian, Thracian and Phrygian in the classification deliberately because of the poverty of evidence in these languages. But as far as Albanian is concerned, there is no doubt that it is a Satem language, Albanian shows the developments of the palatal series comparable to Old Persian:

Alb. *them* ‘I say’ < IE *kensmi*, cf. OP *θāti* ‘he says’;

Skr. *śamsati*, Av. *sasmi*, OChSl. *šetŭ*, Lat. *cēnseō*, Tokh. A *kants*;

Alb. *dhamb* ‘tooth’ < IE *ḡombhos*, cf. Skr. *jambhaḥ* ‘tooth’;

OCS *zqbŭ* ‘tooth’, Gr. *gómphos* ‘peg, nail’, OE *comb* ‘comb’;

Alb. *vjedh* ‘steal’ < IE *weǵh*, cf. Skr. *vah-* ‘carry’, Av. *vaz-*;

Lat. *veho*, Gr. *ekhō*.

[The examples are quoted from: S. S. Misra. *Albanian. A Historical and Comparative Grammar* (unpublished)].

Before *r* and *l* Albanian shows a velar out of IE palatal series. These are exceptional treatments of sounds in conjuncts, comparable to similar exceptional treatment of IE *κ* being retained as velar *k* in Sanskrit before *s*. Exceptional treatment in different circumstances is found in each language. The general treatment of *k̑*, etc. in Albanian clearly stamps it as Satem.

Therefore, there is no doubt about the Satem – Centum classification of Indo-European. Before the discovery of Tokharian and Hittite this was a more

convenient classification even geographically. Satem could be easily stamped as Eastern IE and Centum as Western IE. After the discovery of Tokharian and Hittite, the East-West division is debated. The geographical classifications sometimes, incidentally, are the same as the linguistic classification, but they cannot be universally true because the route of migration is quite complicated. It has no linguistic basis. Rather, it has a physical or economic basis. There may be other factors also for taking away two closely related languages quite apart. A typical example is Brahui, a Dravidian language living thousands of miles away from its sister Dravidian languages. Similarly, the speakers of IE languages also might have travelled in different directions. Sometimes one IE speech group might have quite naturally come in close contact with another group of the same family, but with distant linguistic affinity. The two groups might have borrowed from each other and thus the picture of migration must have become comparatively complicated in course of time.

REFERENCES

1. BENVENISTE E. *Indo-European Language and Society*. London, 1973.
2. BIRNBAUM H., PUHVEL J. (editors). *Ancient Indo-European Dialects*. Berkeley, 1966.
3. BRUGMANN K. *Kurze vergleichende Grammatik der indo-germanischen Sprachen*. Strassburg, 1934.
4. BRUGMANN K. *Comparative Grammar of Indo-Germanic Languages*. Varanasi, 1972,
5. BURROW T. *The Sanskrit Language*. London, 1969.
6. CHATTERJI S. K. *Indo-Aryan and Hindi*. Calcutta, 1960.
7. CHATTERJI S. K. *The Origin and Development of the Bengali Language*. London, 1970,
8. COLLINDER B. *Distant Linguistic Affinity in Ancient Indo-European Dialects*.
- 8a. CHILDE V. G. *Aryan. A Study of Indo-European Origins*. London, 1926.
9. EDGERTON F. *Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar*. New Haven, 1963.
- 10-12. FAIRBANKS G. *Historical Russian Phonology*. Poona, 1965.
13. KURYLOWICZ J. *Etudes indo-européennes*. Cracow, 1935.
14. LEHMANN W. P. *Proto-Indo-European Phonology*. Austin (Texas), 1952.
15. MANN S. E. *Armenian and Indo-European*. London, 1963.
16. MEILLET A. *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes*. Paris, 1934.
17. MISRA S. S. *A Comparative Grammar of Sanskrit, Greek and Hittite*. Calcutta, 1960,
18. MISRA S. S. "Laryngeal Controversy". *Indian Linguistics*. Vol. 29, 1968.
19. MISRA S. S. *New Lights on Indo-European Comparative Grammar*. Varanasi, 1975,
20. MISRA S. S. *The Laryngeal Theory. A Critical Evaluation*. Varanasi, 1977,
21. MISRA S. S. *Old Indo-Aryan. A Historical and Comparative Grammar* (unpublished),
22. MÖLLER H. *Semitisch und indo-germanisch*. Copenhagen, 1907.

23. SCHLEICHER A. *Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*. London, 1874.
24. SEN S. *History and Prehistory of Sanskrit*. Mysore, 1958.
25. STURTEVANT E. H. "Can Hittite h Be Derived from Indo-Hittite ə". *Language*. 6, 1930.
26. STURTEVANT E. H. *A Comparative Grammar of the Hittite Language*. Philadelphia, 1933.
27. STURTEVANT E. H. *Indo-Hittite Laryngeals*. Baltimore, 1942.
28. STURTEVANT E. H. *A Comparative Grammar of the Hittite Language*. New Haven, 1951.

РЕЗЮМЕ

Рассмотрение проблемы миграции различных групп населения, входивших в состав протоиндоевропейского языкового сообщества, осуществляется автором на базе индоевропейской сравнительной грамматики. Изучение миграционных процессов в древности вполне естественно вести на основе адекватной классификации индоевропейских языков. Автор дает критическую оценку системе Шлейхера и отвергает ее ввиду того, что она построена на морфологической основе. По этой же причине автор отвергает и систему Хёнигсвальда. При выделении языковых подгрупп фонологические данные имеют явные преимущества над данными морфологии. Анализ таких аспектов индоевропейской морфологии, как изменение форм существительных и местоимений, а также морфологические особенности числительных и глаголов, показывает, что морфологические изменения в языке – ненадежное средство для выделения подгрупп, хотя их и можно использовать для различения языковых семей. Именно этим недостатком страдает классификация Георгиева, которая практически является лишь перестроенной по новой модели классификацией Шлейхера. В классификации Бенвениста слишком много групп. Он не учитывает того важного обстоятельства, что язык подразделяется сначала на два-три языка, причем каждый из этих языков может быть представлен несколькими взаимопонятными диалектами.

Критическое рассмотрение индо-хеттской теории, которая выдвигает ряд новых проблем в плане классификации языков, показывает, что и эта теория не внесла значительного вклада в уяснение принципов выделения языковых подгрупп.

В заключение автор восстанавливает в правах классификацию сатем – кентум. С этой целью восстанавливаются три серии гуттуральных звуков. В дополнение к характерному для индоевропейских языков переходу нёбных в шипящие и лабио-велярных в велярные выделяется еще одна характерная особенность системы сатем – переход индоевропейского *gs* в *řs* в языках группы сатем.

F. R. ALLCHIN

**ARCHEOLOGICAL AND LANGUAGE-HISTORICAL EVIDENCE
FOR THE MOVEMENT OF INDO-ARYAN SPEAKING
PEOPLES INTO SOUTH ASIA**

The present Symposium serves a useful purpose in focusing our attention upon the difficulties encountered in recognising the movements of peoples from archeological evidence. One of the reassuring aspects of the broad international approach which is experienced in such a gathering is that it serves to show the common nature of the problems that confront us in trying to reconstruct the movements of the Indo-Aryans and Iranians, whether in the South-Russian steppes or the steppes of Kazakhstan; the Caucasus or the southern parts of Middle Asia properly speaking; or in Iran, Afghanistan, Pakistan or India. Perhaps this is why there were recurrent themes in several papers, and why echoes of what I was trying to express appeared also in the papers of others, notably in those of B. A. Litvinsky and Y. Y. Kuzmina.

In particular, there seems to be a need for a general hypothesis or model for these movements. Such a model must be inter-disciplinary, combining the more limited models derivable from archeological, historical, linguistic, anthropological and other categories of data. Strictly speaking, the several hypotheses derived from each of these categories should first be formulated independently, and then as a second stage they should be systematically compared to one another. Only when there do not appear to be serious contradictions between them should they be regarded as ready for incorporation into the general model. We agree with many of the methodological considerations made by S. Parpola [15], and we share with him an expectation that in course of time the various categories, and particularly the archeological and linguistic, will be amenable to systematic correlation. It was after all this expectation which led us to make a tentative approach to the matter in *The Birth of Indian Civilisation* [4], and the access of new data since then suggests that the aim was not altogether misguided.

We are concerned to answer the questions: how did the Indo-Aryan languages first take root in India and how did they spread to occupy so large an area and to find so many speakers at the present time? In answering these questions let us first state our belief that languages do not spread, and certainly in the ancient world did not spread, except through the agency of people who already speak or spoke them, as the case may be. Thus, if we accept as probable that there was once a time when the Indo-Aryan languages were not spoken in India, and that thereafter they began to be spoken there (and I believe that most scholars would agree on this), then it follows that their arrival and subsequent spread in India must have been related to the arrival and subsequent spread of people speaking them.

Who and how many these people were, has to be established. We may attempt to formulate some general principles, using the evidence of geography, history and anthropology as they have operated in more recent times, in order to try to define the parameters within which the problem should be discussed. It must have been a dynamic process of culture contact, which probably lasted over several centuries. Was it a single movement, or more probably a series of related movements? If the latter, then some waves may have consisted of small, comparatively isolated groups, while others may have involved whole tribes or even groups of tribes. There is no reason why only one route should have been used; probability suggests that all the routes into India known to have been open in ancient times from the north and west should be regarded as potentially important, at least until evidence allows us to rule any of them out. We cannot be certain that all those who entered India during this period were speakers of one Indo-Aryan language or dialect, some may even have been Iranian speakers, or speakers of other languages.

The movements would have produced culture contacts which differed depending upon various geographical, social and economic factors, and upon the relative size of the groups involved. We may legitimately assume that the immigrants would still have been at least semi-nomadic, and had certainly abandoned any settlements they may have had elsewhere before embarking on their long journey into India. This must have influenced their choice of items of material culture to carry with them, much as it does nomadic and semi-nomadic peoples throughout the area at the present time. And this would have had a definite effect upon the outcome of their contacts with different communities. Thus, in the remote and isolated valleys of the Himalayas and Hindu Kush the immigrants would probably have encountered small, isolated communities, living a relatively poor life, with few specialised crafts or luxury items. In such

situations we may expect that the immigrants would have retained or reestablished many of their own craft traditions. A somewhat similar situation might have prevailed among the low-density populations of hunters, collectors or stock-raisers of the Thar Desert or of the great expanses of forests in Central and Southern India. Very different situations must be envisaged on the more densely populated plains, where communities of agriculturalists were settled, with a more complex social structure and greater craft specialisation, if not with the remnants of an urban way of life. Here we may expect that the indigenous crafts would have continued more or less unchanged, and would at most be likely to show influences from the demands and tastes of the arrivals. There may have been important exceptions to this: for instance, we are inclined to believe that the immigrants were proud of their own traditions of metallurgy, and probably maintained their own craft, in time absorbing also indigenous craftsmen. Thus, we may expect to find local imitations of foreign tool types, as well as new technological features brought in by the immigrants. We must also expect to find evidence of a wide variety of culture contacts. At one extreme there may have been total destruction of settlements, and even massacres of population; in other cases, a more peaceful symbiosis of the two communities in existing settlements; in others, a less intimate peaceful coexistence, where separate settlements of local people and immigrants would have continued to survive for long periods in contact with each other.

We should certainly be aware of the possibility of finding in the archeological record special indications of presence of immigrants from the steppes. For instance, the Aryans are among those who are believed in the 4th or 3rd millennium to have first exploited and domesticated the horse, turning it to use for traction, including war chariots, and for riding. There is very little evidence of the presence of horses in India or Pakistan before the end of the 3rd millennium, and finds from the 2nd millennium, whether of horse bones, horse furniture, or horse burials, or representations in terra-cotta or on rock paintings are likely to be highly significant. Another potentially significant indicator is to be found in burial customs. We believe that the Aryans brought with them new and distinctive burial rites, linked with some sort of barrow or kurgan, and these we may be able to recognise, at least in their first appearance, in any area. We should also be prepared to discover distinctive traits of ideology, which knowledge of the Indo-European peoples or their branches might lead us to associate particularly with them. Such in our context might be evidence of fire altars and fire rites, etc.

In sum, we may expect that, as an outcome of the sort of culture contacts we have been postulating, two parallel processes would have been set in train. There would have been a progressive Aryanisation of the existing communi-

ties; and a progressive Indianisation of the immigrants. The results of either case would be the production of a series of related, but no doubt individual, syntheses, which we may expect to be culturally speaking Indo-Aryan, and which must have laid the foundations for the continuing cultural trends of succeeding centuries, or millennia.

We are aware that the significance of this Aryan episode has often been exaggerated, not least in India, and we should therefore try to view it in a right perspective. By speaking of it we do not mean to imply that all, or even a major part, of subsequent Indian culture derived from it, still less that the folk movements had any profound effect upon the racial make-up of the people of India. In both cases the reverse is probably nearer the truth. If, as we believe, language is to be regarded as a part of human culture, then it is a very special part, since it is through language that a major part of culture is transmitted. Languages behave in many ways like other culture traits: they may be acquired by peoples of diverse races, and acquired other than by the accident of birth; they may both give and receive loans. The importance of the arrival and spread of the Indo-Aryans' languages in India is that it coincided with the beginning of a cultural development, which included a general belief in the supremacy of the Vedas as the fountain-head of Indian tradition and which leads directly into the urban society which spread throughout India during the 1st millennium B.C. This leads us to believe that the cultural developments which accompanied the event were also rather special. Because of the close links of language and culture, we may expect that some observable culture changes took place alongside the event. However, we must here enter a stern warning against a facile identification of language speakers with the objects of material culture, of the kind that is implicit in such phrases as "painted grey ware people", "O.C.P. people", etc. The use of these terms is probably no more meaningful than it would be for the archeologists of a future century to conclude from a study of mid-20th-century remains that large parts of the world were occupied at that time by "plastic people". We can only reiterate that the arrival of the Indo-Aryans was a dynamic cultural process and that this process is what we are interested in reconstructing. In the sort of contact situations we have been postulating many different syntheses of peoples and of their material and spiritual culture must have taken place. Once we leave the relative clarity of the distinctive traits which are likely to have been carried on by the immigrants, we enter an imponderable and dark area of uncertainties, where simple one-to-one correspondences, such as that implicit in a statement "the appearance of painted grey ware in layer *x* and subsequent layers, at such and such a site, indicates the presence of Vedic Aryans", have little scientific validity, even when restricted to single sites, let alone when used for whole regions, or groups of regions¹.

II

We began by remarking upon the difficulties inherent in recognising the movements of peoples in the archeological record. The implications of this should not be exaggerated. The methodological difficulties should not lead us to conclude (as is sometimes the case) that such movements did not occur, nor that they are not part of the subject-matter of archeological research. Rather they should stimulate our greater concern for discovering scientifically acceptable methods of studying the evidence and interpreting it. In any case in the present paper we have set ourselves the task of enquiring into the circumstances of the arrival and spread of the Indo-Aryan languages in South Asia, and therefore, since the events were first and foremost the postulates of language history, we should accept linguistic models as the basis of our enquiry, and use archeology for comparative purposes.

Having regard to our limited objectives, we have selected four linguistic models for consideration, those of Hoernle [12], Grierson [10], Burrow [6] and Parpola [15]. We are well aware that this leaves out of consideration numerous other linguistic models. We have chosen Grierson's because it still appears to be among the most authoritative, and incidentally because it became, erroneously, identified with Hoernle's. Therefore, we must also consider the latter. Burrow's is important because it builds extensions of the earlier models to accommodate the newly discovered linguistic materials from archeological excavations, and Parpola's – because it proposes certain new ideas which call for consideration.

Hoernle's theory arose from his study of Modern Indo-Aryan languages. He proposed to divide these into two groups, an inner group which included Hindi, Panjabi and Rajasthani; and an outer group which included Bengali, Oriya, Bihari, Marathi, Sindhi, Lahnda, Kashmiri and Sinhalese. Having recognised features which distinguished the two groups, he interpreted them historically in terms of a wave model: the languages of the outer band were descended from an earlier wave of Aryan movement, and those of the inner group from a later wave, which had thrust like a wedge into the heart of the outer band, thereby serving to disperse its speakers still more widely towards the north, south, east and west.

Grierson appears to have accepted the descriptive part of the thesis, but qualified his acceptance of the historical interpretation [11, pp. 116-117]. He disclaimed its attribution to himself and Hoernle jointly and wrote: "I have always been of the opinion that it is not necessary to postulate two distinct invasions". Hoernle found support in Ram Prasad Chanda [7], who proposed to back up the linguistic argument by ethnic correlations. However, these appear

to us to be quite unacceptable on methodological grounds. Bloch [5] added weight to the criticism of Hoernle's linguistic argument, suggesting that the distinctive features belonged only to a later stage of Indo-Aryan, and need not necessarily apply to any events of a much earlier time. S. K. Chatterji also criticised the theory on linguistic grounds [8, pp. 30-33]; while Turner [22] accepted at least its descriptive validity [23, p. 28]. It is clearly of importance to determine the validity of Hoernle's model, and in the event of its being found to be acceptable, of its historical interpretation, since this would provide strong support for an earlier "pre-Vedic" movement and a later "Vedic" movement of Indo-Aryans. For this reason it seems to us to merit further study.

Grierson's model was developed in his "Notes on the Languages of India" prepared for the Census of India, 1901, and published under the title *The Languages of India* two years later [10, pp. 48-53]. He states that the Iranian and Indo-Aryan languages had already divided into separate branches while still north of the Hindu Kush. After their separation the former wandered eastwards and westwards, while the latter migrated southwards. Most of the Indo-Aryans went by the western passes of the Hindu Kush, settling first in Eastern Afghanistan and spreading as far south as Kandaghar. Thence they advanced through the Kabul Valley and into the Panjab. Their language was the parent of all the modern Indo-Aryan languages of India. Probably a minority of the Indo-Aryans moved southwards farther east into the mountains of the Pamirs and thence passed into Kafiristan, Chitral, Gilgit and Kashmir. These formed a separate wave, which Grierson calls "non-Sanskritic", but which may also be referred to as Dardic. Of the main "Sanskritic" wave, he writes, "we are not to suppose that it took place all at once. Every probability leads us to imagine it as a gradual affair extending over many hundred years". He then mentions Hoernle's theory of the two waves and concludes that "it is immaterial whether we are to look upon the affair as two invasions, or as the earlier and later invasions of a series extending over a long period of time. The result is the same in both cases." At this date he does not seem to have felt any serious objections to Hoernle's theory, since he writes that his idea of the dispersal of the outer band languages as a result of the later thrust is "strongly confirmed by subsequent investigations." He discussed the route followed by the later wave and concluded (in our view, most improbably) that it, too, came through the mountains from the north. Grierson does not give a clear indication of the relative chronologies of the non-Sanskritic and Sanskritic waves, nor of the duration in absolute terms of the series of movements within the latter.

Burrow's model [6] includes the new data derived from archeology, particularly the Mittanian documents which he accepts as being a stage of "Proto-Indo-Aryan". He suggests that the Proto-Aryans had already divided into two

branches, the Proto-Indo-Aryan and the Proto-Iranian, before 2000 B.C., and probably while they were still located on the steppes. Soon after that date the Proto-Indo-Aryans moved southwards into Iran, probably mainly moving to the east of the Caspian, and spread out to occupy large areas of West and East Iran. Others moved eastwards into Afghanistan and thence into North-West Pakistan and India. Burrow believes that a population base would have been established in Iran before the main movement into India. He writes: “The colonisation of North-West India by the Indo-Aryans was an extensive operation, lasting over generations, which could only have been carried out on the strength of an extensive population base immediately outside the Subcontinent. That is to say that before these migrations Proto-Indo-Aryans must have been in occupation of large tracts of Eastern Iran and Western Afghanistan..., which only at a later period came into the possession of the Iranians. One would certainly not expect that the migrations into India left these countries empty of Proto-Indo-Aryans, but rather that this was a movement of surplus population, so that when the Iranians took control they would find the Proto-Indo-Aryans settled there, and that in due course of time the latter would be absorbed into and merged with the later-coming Iranians.”

This theory, Burrow points out, had already been suggested by Gray [9], mainly from a study of religious materials in the earliest texts. During the period of these movements the Iranians remained in Sogdiana, Khorezm and Bactria, and only continued their southern movement several centuries later, between circa 1400 and 1100 B.C., to occupy Iran. Probably this later movement would have brought about further movements of Indo-Aryans already settled in Eastern Iran. On this Burrow writes: “The third point is the idea that the Indo-Aryans migrated to India because they were driven out of their former habitat by the Iranians. That migration, which is associated with the destruction of the Indus civilisation, is far too early for such a theory to be plausible. ... This means that the Iranian occupation of Eastern Iran is to be ascribed to a period after those extensive migrations had been completed, and the ‘s-Aryans’ whom the Iranians came across were those who had remained in the territories from which the migrations took place.”

Parpola [15, 16] has attempted a far more comprehensive synthesis of linguistic, archeological and textual evidence, and it is not easy to extract the linguistic model which we believe should underlie the synthesis. He postulates a Proto-Aryan stage from which first a “Proto-South-Aryan” group separated themselves to occupy Northern Iran and Northern India soon after 2000 B.C. The Kafirs are to be included in this group, which Parpola names “pre-Vedic”. Later a second group of “Proto-North-Aryans” moved from the Caucasus region into Northern Iran and Northern India, including several branches, one of

which was “Proto-Rigvedic”, while another moved through Baluchistan into peninsular India. This later movement may be dated to the end of the 2nd millennium.

The three latter models have many common elements, as well as important differences. All presuppose that the Indo-Aryan movements into India extended over a considerable time, perhaps centuries. Grierson suggests that the Dardic or non-Sanskritic movement was separated from the main body and arrived in their present homelands via the high passes of the Pamirs and Western Himalayas, but suggests no relative chronology for the two. Parpola extends the scope of the pre-Vedic movements, which are clearly relatable to Grierson’s, to cover also movements of people into India itself, and he gives definite indications that he associates the elements which might have been named by Hoernle “Outer Band” with the pre-Vedic movement. Burrow does not specifically deal with the non-Sanskritic group, but we may be certain that if he did it would be to see it as before or at the beginning of the main movements. Grierson rightly concluded that the “two wave” issue was really not of great significance, as even if only one major movement were postulated, the centuries which elapsed between its beginning and its end might be called into account for cultural or linguistic differences between earlier or later arrivals.

III

In the light of our preliminary consideration of the methods for studying the problem, and of the linguistic models advanced by several scholars, we now wish to review the archeological evidence, not so much trying to discover archeological cultures which can be identified with Indo-Aryans, since that we believe to be a misplaced attempt, as to consider where and when there may be archeological evidence of culture contacts between existing populations, as exemplified by settled communities with recognisable archeological cultures, and freshly arriving groups of unsettled people. At present a considerable question mark hangs over a large part of Indian protohistory and prehistory because of uncertainty in the interpretation of our prime source of chronology, radiocarbon datings. The question is whether or not we should employ straight dates, according to the half-life of 5730 years, or whether we should recalibrate these dates, according to the MASCA or other system, in an attempt to arrive at absolute dates. We cannot begin to deal with this problem in this paper, and we therefore frankly admit the uncertainty which it produces, and the consequent lack of clarity. The situation is not helped by the small number of samples dated, and the unsatisfactory nature of current evidence for several key ques-

tions, for example of dates relating to the end of the mature urban phase of the Indus civilisation, and to the subsequent Late Harappan phase.

Evidence of Pre-Vedic Indo-Aryan Movements. We saw that Grierson had advanced a theory of a non-Sanskritic Indo-Aryan movement into the north-western mountains, and that this had been amplified into a wider theory of a pre-Vedic movement by Parpola. The extent of this hypothetical early wave is not altogether clear, and we can consider the possibility of using archeological evidence to evaluate it. Formerly there was good reason to doubt the early knowledge of a northern approach route, from Central Asia through the high passes of the Pamirs and Himalayas, but recent archeological discoveries at Burzahom in Kashmir, and at Loebanr in Swat have demonstrated that certain distinctly Chinese tool types, notably stone harvest knives, with pierced holes, and objects of jade, were already present in the 3rd millennium, or at least at the opening of the 2nd, before the earliest Indo-Aryan movements into the area.

The evidence from the north-western valleys seems to be the least open to doubt as supporting a “pre-Vedic” movement, and it is clearly associated with the “Gandhara grave culture”. Although this complex has been extensively studied, and several excavations by the Italian Mission and by Peshawar University have provided much material for study, there is still some lack of clarity about the sequence and chronology of the developments, and their significance. The early sequence in Swat revealed by the lowest three periods at Ghaligai (I–III) suggests that there was already a population in occupation, using crude hand-made burnished grey pottery, showing clear relationship with the “Neolithic” pottery of Sarai Khola I, etc. In the second period there is a suggestion of a typical early Harappan or “Kot Dijian” intrusion, but in the third one returns to something more like the first period of local culture. In the fourth period of Ghaligai, which we believe represents the first arrival of Indo-Aryans, and the earliest of the “Gandharan” graves, a whole set of new culture traits appears, with new pottery forms, often showing significant links to North Iranian, Caucasian or Central Asian pottery of the early to middle 2nd millennium, a marked increase in the use of metal, copper or bronze, and from an early stage (probably from the outset at Loebanr III), horse bones, horse furniture and even horse burials, along with the new and distinctive burial rites. The date of the beginning of this phase is not clear to us, but we believe that it may be around 1750 B.C. Further radiocarbon dates and further synthetic study of archeological evidence is called for. This pattern, once established, lasts well into the 1st millennium, although there are important changes in the later periods, including a tendency away from earlier cremation to inhumation burials, the appearance of iron, etc. It is possible that some of these changes may have coincided with further movements of Indo-Aryans, perhaps even Vedic Aryans, several centu-

ries later. We agree with Parpola's confident belief that the early arrivals were pre-Vedic, and we can only conclude that these isolated valleys and small communities give a typical picture of the sort of culture contacts which took place in such situations, when much of the indigenous culture was lost and much of the immigrants' culture survived with little change.

We must now enquire whether there is any evidence of an early or pre-Vedic movement into the north Indo-Pakistani plains, either from the north or from the west, via Afghanistan and the western passes of the Hindu Kush. Such a movement is certainly not precluded by either Grierson's or Burrow's model, but neither is it clearly demonstrated. Are there any archeological indications which might support it? It is here that we encounter the problems of chronology. B. Allchin recently drew attention to the role of pastoral nomads in acting as communicators between the main Harappan settlements, and serving to bond together the whole Harappan culture region [1]. She poses the question, whether these people may not themselves have been earlier immigrants from the north and as such possibly already speaking an Indo-European or Indo-Aryan language, and whether they may not in their turn have been dislodged or at least their equilibrium disturbed by the arrival of an early Indo-Aryan wave. Present radiocarbon dating evidence, if calibrated according to the MASCA formula, suggests that the mature urban phase in the Indus Valley came to an end before 2000 B.C.; but we may expect, that the later stages of the culture, which deserve to be called Late Harappan, in the north of the Indus system, and particularly in the Panjab and eastwards to the Doab, may have persisted for several centuries more. Unhappily this stage is not as yet well documented, and there are very few, if any, relevant C-14 determinations.

Admitting this uncertainty and the vagueness of our hypothesis when it comes to dating the earliest movement of Indo-Aryans into India, on present showing it is unlikely that even the earliest of the Indo-Aryan waves (and we must remember that there may well have been earlier, as yet undocumented waves) would have coincided with the full urban stage at Harappa. In the light of this conclusion one is perplexed by the evidence at Kalibangan, which suggests that there were domestic fire altars in fire-rooms (*agni sala*), and similar fire altars associated with animal sacrifices in both civic and popular cult places [21, pp. 24-28]. If this is correct, and the evidence is not yet fully published, it must raise the question of their relation with the fire altars of Vedic literature. We have always believed the fire cult to be an inseparable part of Vedic, and indeed already of Indo-Iranian, religion; and this leads us to enquire whether in the final stages of the Harappan occupation at Kalibangan there may not have already been an Indo-Aryan presence in the city. To have achieved a position on the citadel and in the common homes implies culture contact of a fairly ex-

plicit kind, and suggests that the Aryans were already masters of Kalibangan and had in all probability already intermarried with the local population. Such a presence might indicate a differentiation between the final urban and Late Harappan stages in the Panjab, and to the south in Sind or Saurashtra, since one of the excavators of Kalibangan has expressly noticed the absence of fire altars in the excavation of Surkotada, the only other Harappan site to be recently excavated, and there is no mention of such altars in any of the earlier excavations, as far as we are aware [13, p. 138]. By and large, nothing else in the Indus civilisation as yet seems to indicate an Aryan presence; the stray metal finds from Mohenjo-daro, etc., unless supported by other more conclusive categories of evidence are scarcely sufficient basis for postulating such a thing. The Kalibangan evidence is therefore tantalising and unique, and highlights the need for further investigation.

Before we conclude this section we must ask a number of questions. If we accept the Kalibangan evidence as indicating the presence of Indo-Aryans, then were these people of the pre-Vedic or already of an early Vedic wave? If the former, were there other groups of pre-Vedic immigrants who entered at the same time as those of the northern valleys and passed even deeper into the interior? If so, then should we expect to find their traces in the form of evidence of culture contacts with such archeological cultures as the O.C.P. in the Panjab and Doab, the Jhukar in Sind, the Ahar and the Malwa culture? If, as we would believe, the number of immigrants at this time was relatively small and the groups were also not large, then they may have made relatively little impact upon all these settled agricultural communities and their ethnic character. Nonetheless, we would expect that the process of cultural synthesis would have continued to operate, though perhaps more slowly than in other situations. In the present state of our knowledge we are reluctant to say more, believing that this topic requires full and careful evaluation. But there are enough indications for us to conclude that to reject the possibility out of hand would be as unwise as to give it downright acceptance.

Evidence of the Rigvedic Indo-Aryan Movement. It follows from what we have just said, that if the first movements of pre-Vedic Aryans were already at the end of the urban phase of the Indus civilisation, then the somewhat later main movement of the Rigvedic Aryans must certainly have coincided with the Late Harappan period in the north, or even its successor. It is suggested that during this main period of Aryan movement there was a much greater number of immigrants, arriving perhaps as whole tribes or groups of tribes. In 1968 we were inclined to agree with Vats in seeing in Cemetery H at Harappa one such group, around 1600-1500 B.C. We further expressed the belief that this group was probably pre-Vedic (although we did not use this term) [4, pp. 314, 324].

We are now inclined to modify this view and regard the burials of Cemetery H as evidence of the first arrivals of the main Vedic wave. In spite of the reservations of Sankalia [19, pp. 392-397], we still believe that the paintings on the urns, particularly of stratum I, include Rigvedic symbols or ideas. For instance, the bird depicted several times among sun- or star-like objects, and sometimes with a little man in its womb, we believe may be the One Bird (*suparna eka*) who is variously identified in the Rigveda with the Sun, with Agni, as one who bears soma in his womb, etc. (RV X.114, 4-5; 1.164, 46, 52; IV.27, 1, etc.). Once again we must regret the lack of more concrete archeological information about this period. For instance, quite apart from the uncertainty regarding its dating, one would like to know whether there is anything comparable to the fire altars at Kalibangan. If similar evidence were forthcoming in the top stratum of the citadel at Harappa, as Vats gives us some reason to believe it may be, or at other sites of the Cemetery H culture, it would obviously be of the greatest significance for the understanding of the early stage of Indo-Aryan settlement. We must once more recall our model of the dynamic process of culture contact. Our expectation is that the already existing population of Harappa, probably the direct descendants of the urban Harappans, continued to occupy the city, even after the urban structure had broken down. As settled agriculturalists, with a wide range of continuing indigenous craft skills, they would have been obvious targets for an invading tribal group of Indo-Aryans. The Aryans would have taken over and exploited their craft skills, at the same time forming at least a military aristocracy. It is probable that there would have been some intermarriage between indigenous ruling and priestly classes and invaders, and this would provide the grounds for our belief that certain of the immigrants' ideological traits might appear on their cemetery pottery. Thus, the second stage of the process was already in operation, that of culture synthesis.

We would expect to find evidence of the early Rigvedic contact in other settlements of the Panjab and Doab during the Late Harappan-O.C.P. period. Dr. Suraj Bhan has already shown exciting evidence of culture contacts between the existing population and the expanding Harappan culture in this region, in an earlier period, and we may expect a similar process to have continued with the arriving Aryans [20, pp. 81-86, 111-119]. The early Rigvedic settlement may not have left any traces in the material culture of many of the smaller existing settlements, but may for centuries have been limited to certain major settlements, acting as a germinating seed within the soil of India.

If we were to attempt a chronology for the stages of the Aryan settlement, as they relate to the Rigveda, then we would say that probably the first settlers arrived in the region around 1750-1600 B.C., and that their number grew steadily during the following centuries. This period probably witnessed the compo-

sition of a considerable part of the Vedic hymns, alongside the cultural synthesis with existing population. We would expect this early Vedic period to come to an end around 1500 B.C., and the first compilation of the Rigveda Samhita, i.e. Mandalas II-VII, to be made during the next two or three centuries. From this time forward we would postulate a growing change in Vedic society, which probably merits the use of the term Late Vedic, and which must have involved the new culturally Indo-Aryan life-style which produced, for example, the settlements of the painted grey ware phase. Thus, the pre-Samhita and post-Samhita stages reflect the early Vedic and late Vedic periods, respectively, and witness successive stages in the process of Indo-Aryanisation. There was probably also a continuing eastwards tendency as further Indo-Aryan groups arrived from the west. Thus, the Madhya-desa of the Late Vedic period is already in the Doab. That these developments coincided broadly with the region in which the Indus civilisation survived in its fullest form cannot be mere accident, and leads us to believe that it was this that produced the fusion of so many Aryan and Indian cultural traits, and indeed the elevation of the Vedas to their role as the supreme source for Indian religious tradition.

Further Extensions of the Indo-Aryans in India. Whether we accept the pre-Vedic hypothesis for regions beyond the north-western valleys or not, and whether we accept the validity of the Hoernle “two wave” hypothesis or not, it must be admitted that if the movements of the Indo-Aryans continued over several centuries, as all our linguistic models seem to agree, then the later arrivals in the Madhya-desa would have been likely to have put pressure upon some at least of the earlier to move on into the rich and pleasant lands that still lay before them. Recalling that the evidence is at present scarcely enough to prove, or to disprove, the pre-Vedic hypothesis, we must accept that there will be more than one interpretation at some point. For example, does the spread of Indo-Aryan languages down the Ganges Valley towards the delta represent a post-Vedic development, or does it represent a pre-Vedic group who were pushed on ahead of the advancing Rigvedic Aryans? If the latter, then we may perhaps agree with Parpola [15, p. 98] in suggesting that the Vratyas were representatives of the earlier wave, who continued their own traditions, and whose culture is represented by the Atharvaveda, even if this work was only compiled into its Samhita form later than that of the Rigveda. We incline to this view, and believe that similar movements may have taken place in other regions of India, particularly in Central India and the Deccan, so that culturally, if not strictly chronologically, “pre-Vedic” groups may have found their way into most of the areas in which later Aryan Mahajanapadas were established, and may be regarded as the first bearers of Indo-Aryan speech into these regions. The groups were probably often quite small, often making little impact on the settled popu-

lations they encountered, and as they were already distant cousins of the Rigvedic Aryans, in course of time ties may have been established and the distinctions between the two blurred, if not removed altogether.

A similar doubt must attend the interpretation of the marked culture changes noticed in Maharashtra during the "Jorwe" period. We have long thought that these indicated the arrival and settlement of an Indo-Aryan group among the existing population, who may themselves have included relics of a yet earlier Aryan movement. We would expect the later group to have entered India from Southern Afghanistan, and have moved across Sind and Gujarat, rather than via the Panjab. We do not for a moment deny that both the earlier and later Chalcolithic phases in this area, that is to say, those associated with the names Malwa and Jorwe, were basically of local genesis, but following our model of the process of culture contact we may ask whether such stray exotic traits as those noted by Sankalia [17, pp. 312-332, and 18, pp. 59-80] may not indeed be the traces we are looking for. We have similarly long believed that the rapid spread of black-and-red pottery, and coincidentally of iron working, may also have in part coincided with the spread of Indo-Aryan speaking immigrants. For example, if part of Saurashtra and Rajasthan had at one time received Aryan immigrants who had temporarily settled among the stable agricultural population of that region before, for whatever reason, again moving forward, then it is quite probable that they would have taken with them into the largely unpopulated forests of Central India and the south, crafts which had been acquired or developed during their temporary stay as syntheses with local culture. We have long been aware of an analogy between the *thali-vati* forms in painted grey ware and those of the southern black-and-red ware. But, it may be objected, even if there were archeological grounds for sustaining the argument, what reason can there be for associating it, even indirectly, with the spread of Indo-Aryan languages, particularly into areas where even today Dravidian languages are spoken? Our answer would be in terms of the appearance of distinctive traits, of the kind we have postulated for other phases of the Indo-Aryan language spread.

The appearance of the horse for the first time in the Deccan might be one such trait, occurring first around the middle of the millennium. The horses and riders on many rock paintings widely dispersed through Central and South India, some of the riders with metal weapons, and the chariots on rock paintings at, for instance, Morhana Pahar, are other traits. So, too, are the horse burials in the megalithic graves around Nagpur, and the iron horse furniture found both in those graves and elsewhere. We are inclined to view the horse cult still in vogue among so many tribal people of Central India, and the horse cult associated with Aiyandar in South India as survivals of the local reaction to the first ap-

pearance of horses in these areas, and we cannot disregard the suggestive names of both Aiyandar and Ayyappan as indicating the association of Aryans with the same cult. We have elsewhere dissussed the indications that the graves of the high Palni and Cardamom hills, in the extreme south, may have been linked with the same movement. We remarked that several distinctive pot forms had their nearest analogues in the Gandhara graves, and in Northern Iran or Central Asia [2]. The antennae-hilted sword from Vandiperiyar, and the other antennae-hilted swords and dirks from Kallur, Mehsana, and even the Doab copper hoards, suggest the same thing. This idea is strikingly supported by Sarianidi's recent find in North-West Afghanistan of what is so far the nearest analogy to one of the most common Indian types of antennae sword of copper or bronze [3]. Our thesis would be that these traits were carried and spread by small, highly mobile groups, probably rapidly losing their Aryan speech and adopting the local languages. There are after all plentiful analogies for such movements from modern times. We have ourselves spoken to a nomadic group of Baluchis in the extreme south-east of Andhra Pradesh, as the crow flies some 1500 miles from Baluchistan, and two decades after Partition had closed the frontiers of India and Pakistan to such nomadic groups. We have also observed the way in which modern Banjaras in Karnataka can still, presumably after four or five centuries, in some cases speak their original North Indian dialects, while in others they have already totally forgotten them. These people provide a clear analogy for the sort of cultural dispersal we are postulating.

Thus, we may summarise our views on the further spread of Indo-Aryan languages and culture traits as follows: the initial period of Indo-Aryan movements into the Indian Subcontinent extended over several, perhaps even many, centuries, but they seem to have been at their height during the second half of the 2nd millennium B.C. The initial arrival was augmented by a secondary process of spread which continued well into the early historical period. This has always been thought of as contributing to the Aryanisation of the regions which lay outside Aryavarta, and our view is that it may have been a prolonged and steady process, with some groups reaching the extreme south as early as circa 1000 B.C., and others settling in other more northerly areas only centuries later.

Conclusions. At the end of this, often confused, paper we feel that we have learned certain things and can reach certain conclusions:

1. The Indo-Aryan languages came into India as a result of the movement of people who already spoke them (the "Indo-Aryans").
2. Indo-Aryans moved into different regions encountering peoples at different economic levels. This produced different culture contacts.
3. The phenomenon is best thought of as a dynamic process of culture contact. It is unlikely to have involved the wholesale abandonment or acqui-

sition of existing languages or cultures; but rather a progressive acculturation. Certain distinctive culture traits are likely to have been maintained by Indo-Aryan groups: these include the horse and its furniture; certain distinctive religious cults, including a fire cult and horse cults; distinctive burial rites; and perhaps certain special crafts, such as metallurgy and the manufacture of important metal tools or weapons.

4. The process produced a wide variety of culture syntheses, which may best be described as culturally Indo-Aryan.

5. There is not as yet sufficient archeological evidence to determine whether the Indo-Aryan movements should best be regarded as one main movement or, as the linguistic models suggest, as a series of related movements extending over centuries. In any event the movements followed patterns which were geographically constant, and therefore we must be prepared for earlier movements, perhaps of “pre-Indo-Aryans”, and later movements, sometimes of “non-Indo-Aryans”.

6. There is not as yet sufficient archeological evidence to determine when the Indo-Aryan movements began, although it was probably early in the 2nd millennium; nor when they were complete, although it was probably by the end of the 2nd millennium.

7. The initial arrival of Indo-Aryans, their resulting culture contacts and culture syntheses led to a secondary spread into other regions. This process seems to have continued for many centuries after the initial movements were complete.

8. The arrival of the Rigvedic Aryans in the Panjab and Madhya-desa must have been in some ways different from the arrival of other groups elsewhere. For one thing, it involved culture contacts with the region in which the Indus urban tradition was best preserved, and therefore in which the germs of a new Indo-Aryan urban synthesis were most likely to arise. For another, it produced as a first fruit of that synthesis the Samhita of the Rigveda. We would expect the initial composition of the early hymns to date from circa 1800-1500 B.C. The compilation of the Samhita, at least in its early form (i.e. excluding Mandalas I, VIII, IX and X), was probably made about that time, or within the next two or three centuries, and the final additions were probably complete by 1000 B.C. Thus, we may regard the period from circa 1750-1500 B.C. as Early Vedic, the period from circa 1500-1300 B.C. as Vedic, and the succeeding centuries as the Late Vedic period.

9. We are left with a feeling that the linguistic models must be used with great caution, and that there is a need for great flexibility in their chronology. For instance, is it not possible that the “non-Sanskritic” movement may have

taken place several, even many, centuries earlier than the main Vedic movement?

10. A number of archeological problems call for further research and fresh collection of data. We list a few:

(a) The dating and periodisation of the Gandhara grave culture, and particularly the obtaining of more radiocarbon dates;

(b) The dating of the end of the Indus civilisation, and the definition of the Late Harappan phase in the Panjab and Doab;

(c) The postulated fire cult at Kalibangan, and whether it occurs at other Harappan or Late Harappan sites;

(d) The character of the Cemetery H culture at Harappa and elsewhere, and its radiocarbon dating;

(e) The postulation of Indo-Aryan contacts with the Jhukar, Ahar, Malwa and Middle Gangetic regions or cultures;

(f) The postulation of Indo-Aryan contacts with the Jorwe culture;

(g) The postulation of the continuing Indo-Aryan spread being in evidence in certain megalithic or early South Indian Iron Age contexts, such as the Palni-Cardamom hill graves, the Nagpur graves, etc.

NOTE

¹ In this context we would do well to remember the wise remarks of D. D. Kosambi [14, p. 76]: “The ‘Aryans’ do not form a single ‘culture’ in the archeologist's sense of the word. There is no characteristically Aryan pottery, tool, weapon, as such. The Aryans regularly adopted whatever suited them from the people with whom they came in contact. They were not genetically or physically homogeneous.”

REFERENCES

1. ALLCHIN B. “Stone Blade Industries of Early Settlements in Sind as Indicators of Geographical and Socio-Economic Change”. *South Asian Archaeology*. (Proceedings of the Fourth Conference of South Asian Archaeologists). Naples 1979.
2. ALLCHIN F.R. “Pottery from Graves in the Perumal Hills, Near Kodaikanal”. In: Gosh A.K. et al. *Perspectives in Palaeo-Anthropology*. Calcutta, 1974.
3. ALLCHIN F.R. “A South Indian Copper Sword and Its Significance.” *South Asian Archaeology* (Proceedings of the Third Conference of South Asian Archaeologists). Paris, 1975.
4. ALLCIN B., ALLCHIN R. *The Birth of Indian Civilisation*. London, 1968.

5. BLOCH H. *Indo-Aryan from the Vedas to Modern Times*. Paris, 1965.
6. BURROW T. "The Proto-Indo-Aryans". *JRAS*, 1973.
7. CHANDA R. P. *The Indo-Aryan Races*. Rajshahi, 1916.
8. CHATTERJI S. K. *Origin and Development of the Bengali Language*. Calcutta, 1926.
9. GRAY L.H. "The 'Ahurian' and 'Daevian' Vocabularies in the Avesta". *JRAS*, 1927.
10. GRIERSON G.A. *The Languages of India*. Calcutta, 1903.
11. GRIERSON G.A. *Linguistic Survey of India*. Vol. 1. Calcutta, 1927.
12. HOERNLE A.F.R. *A Grammar of the Eastern Hindi Compared with the Other Gaudian Languages*. London, 1880.
13. JOSHI J.P. "Exploration in Kutch and Excavation at Surkotada". *JOI*. 22, 1972.
14. KOSAMBI D.D. *An Introduction to the Study of Indian History*. Bombay, 1956.
15. PARPOLA S. "On the Protohistory of the Indian Languages in the Light of Archaeological, Linguistic and Religious Evidence: an Attempt at Integration". In: van Lohuizen de Leeuw J.E., Ubahgs J.J. *South Asian Archaeology 1973*. Leiden, 1974.
16. PARPOLA S. "Book Reviews". *AO*. 36, 1974.
17. SANKALIA H. D. "New Light on the Indo-Iranian, or Western Asiatic Relations Between 1700 B.C-1200 B.C.". *Artibus Asiae*. 26, 1963.
18. SANKALIA H. D. "Iranian Influence on Early Indo-Pakistan Culture". *Indica*. 6, 1970.
19. SANKALIA H. D. *The Prehistory of India and Pakistan*. 2nd ed. Poona, 1954.
20. SURAJ BHAN. *Excavation at Mitathal (1968) and Other Explorations in the Sutlej-Yamuna Divide*. Kurukshetra, 1975.
21. THAPAR B.K. "Kalibangan: a Harappan Metropolis Beyond the Indus Valley". *Expedition*. 17, 1975.
22. TURNER R. L. "The Position of Romani in Indo-Aryan". *Collected Papers, 1912-1973*. London, 1974.
23. TURNER R. L. *Collected Papers, 1912-1973*. London, 1974.

РЕЗЮМЕ

Появление в Индии индоарийских языков явилось результатом проникновения сюда носителей этих языков. Индоарии попадали в разные области и вступали в контакт с обществами, находившимися на разных уровнях развития. Этот фактор определял характер контактов между коренным населением и пришельцами, а также те последствия, к которым эти контакты приводили. Но в любом случае процесс этот был сложным и двусторонним (арианизация местного и индианизация пришлого населения). Процесс культурного синтеза в разных районах порождал в чем-то родственные, но, без сомнения, и обладающие индивидуальными отличиями культуры. Связывать носителей языка непосредственно с объектами материальной культуры, как, например, с серой расписной керамикой, методически неверно, хотя можно выделить отдельные элементы культуры,

имеющие, видимо, индоарийское происхождение (использование лошади, некоторые религиозные культы, в том числе связанные с огнем и конем, погребальные обряды, отдельные предметы, главным образом западного происхождения).

Можно предположить, опираясь на выводы лингвистов, что имела место не одна, а несколько волн индоарийской миграции в Индию. Первый этап этого проникновения относится, по-видимому, к началу, а завершение – к концу II тыс. до н. э. Можно различать миграцию доведических ариев, ариев Ригведы и последующее распространение индоариев по территории Индостанского субконтинента. С археологической точки зрения важное значение для определения начала этой миграции имеют материалы культуры гандхарских могильников. Появление ведических ариев в Пенджабе и в Мадхьядеша имеет специфический характер, так как здесь они столкнулись с высокоразвитой цивилизацией. Именно в этом районе в 1800–1500 гг. до н. э. были созданы первые гимны Ригведы; к 1000 г. до н. э. их создание было, видимо, закончено. Это позволяет трактовать период примерно 1750–1500 гг. как ранневедический, период примерно 1500–1300 гг. – как ведический, а последующие столетия – как поздневедический.

Непосредственно связаны с вопросом о расселении индоариев проблемы хронологии и периодизации культуры гандхарских могильников, определение даты конца индской цивилизации, изучение следов культа огня, обнаруженных в Калибангане, исследование харапского могильника «Н», а также определение характера контактов индоарийской культуры с другими культурами Индостанского субконтинента.

В. И. АБАЕВ

**ЖАНРОВЫЕ ИСТОКИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
В СВЕТЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА¹**

*(Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского
института АН ГССР, Вып. XXVII, 1982)*

«Начало искусства слова – в фольклоре»

Если бы когда-нибудь был создан компендиум по сравнительно-историческому литературоведению, подобный тем, какие существуют по сравнительно-историческому языкознанию, эпиграфом к нему следовало бы взять мудрые слова А. М. Горького, сказанные на первом съезде Союза советских писателей: «Начало искусства слова – в фольклоре». Действительно, истоки едва ли не любой национальной литературы оказываются тесно связанными с народной поэзией, мифологией, героическим эпосом, историческими легендами, сказаниями, песнями, обрядовой и лирической поэзией народа.

Было бы слишком долго перечислять примеры, когда на заре рождения письменной литературы можно ясно видеть процесс ее «отпочкования» от устной народной словесности.

Не только поэмы Гомера представляют обработку народных эпических сказаний о Троянской войне и приключениях Одиссея, но и древнегреческая драматургия – Эсхил, Софокл, Эврипид – в основном театрализованные мифы и сказания.

Такие шедевры латинской литературы как «Метаморфозы» Овидия, «Энеида» Вергилия имеют все тот же источник: мифы и сказания.

Монументальная эпопея Фирдоуси «Шахнамэ» («Книга царей»), которая знаменует и начало и вершину новоперсидской литературы, в первой своей части целиком основана на народной иранской мифологии и фольклоре.

¹ Лекция, прочитанная в Северо-Осетинском государственном университете в сентябре 1984 г.

Данте в «Божественной комедии» использовал распространенный фольклорный мотив: сошествие героя в потусторонний мир.

Вся западноевропейская средневековая светская литература – испанская, провансальская, французская, кельтская, англосаксонская, немецкая, скандинавская – родилась и расцвела на дрожжах фольклора. «Невольно думается, что рыцарская поэзия провансальцев, оказавшая такое могущественное влияние на характер всей литературы средневековой и новой Европы, была пробуждена к жизни отзвуком сказочного рога, в который протрубил у Ронсевалея умирающий Роланд» [1, с. 220]. Легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола, обработанные Кретьеном де Труа (XII в.) и другими средневековыми авторами, содержат разительные сюжетные совпадения с народными осетинскими сказаниями о герое Батрадзе из нартовского цикла [2]. Тот же путь от мифа и фольклора в литературу проделала «Песнь о Нибелунгах» [3], поэма о Гудруне [4] и другие творения германского средневековья.

Связь начальных этапов литературного процесса с народным творчеством повторяется повсюду с такой железной закономерностью, что любой исследователь древнелитературных светских памятников всегда должен считаться не только с вероятностью, но, можно сказать, неизбежностью выявления в них элементов фольклора в содержании и форме.

Два восьмисотлетия

На наше столетие пришлись два знаменательных литературных юбилея: 800 лет грузинской романтической поэмы «Витязь в барсовой шкуре» Шота Руставели и 800 лет «Слова о полку Игореве». Памятники очень разные. Но есть у них и нечто общее. Роднит их прежде всего то, что оба они – произведения мирового значения. В них гений грузинского и русского народов раскрыл себя в таком совершенстве и покоряющей силе, когда он рвет рамки национальной ограниченности и приобретает общечеловеческое звучание. Достоевский был прав, говоря о «всечеловечности» Пушкина. Но он был неправ, считая эту «всечеловечность» особенностью только русского национального гения. Вершина национального – всегда и вершина человеческого. И в этом смысле всечеловечны и поэмы Гомера, и Данте, и Шекспир, и Гете.

«Слово», как и «Витязь», полноправно вошло в сокровищницу мировой литературы. Вот что пишет о «Слове» английская литературная энциклопедия:

«Анонимная русская повесть (tale) в ритмической прозе, обычно датируется 1187 годом. Это – замечательное произведение с любой точки

зрения, и если оно оригинально (*genuine*), должно рассматриваться как шедевр (*masterpiece*) древнерусской литературы. Оно содержит мощный пропагандистский призыв против разъединенности русских правителей перед лицом врагов. Его стиль – в высшей степени образный, метафоричный (*allusive*), иносказательный (*digressive*), украшен поэтическими и риторическими приемами (*devices*), иногда темен. В нем распознаются многие черты и приемы устной героической поэзии. Но тщательно сотканная (*closely textured*) и искусная (*sophisticated*) манера указывает на письменное, а не импровизационное происхождение... Архаической чертой «Слова» является скудость христианских упоминаний» [5, сс. 727–728].

Сопоставляя «Слово» с «Витязем в барсовой шкуре», следует отметить, что оба шедевра созданы в *феодальном* обществе и, что для нас здесь особенно важно, оба имеют *фольклорную* основу.

О фольклорных связях «Витязя» я говорил в лекции, прочитанной в Коллеж де Франс в феврале 1966 г. [6]. Я пытался показать, что фольклорную основу грузинской поэмы составляет распространенный народно-эпический сюжет о похищении и возвращении женщины. В настоящей статье я хотел бы поделиться некоторыми соображениями о жанровой природе «Слова о полку Игореве» в связи с типологически близкими фольклорными жанрами. Моя задача облегчается тем, что связь «Слова» с народной поэзией давно признана и не вызывает сомнений. Здесь достаточно сослаться на превосходную статью В. П. Адриановой-Перетц «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия» [7]. Но до сих пор «Слово» сравнивалось почти исключительно с произведениями русской и славянской, отчасти европейской народной поэзии. Думается, что более широкий сравнительно-фольклорный фон, в частности привлечение некоторых кавказских и иранских материалов, позволит глубже проникнуть в жанровые истоки памятника и уверенно отделить в нем *народное* от наносного *дружинно-княжеского*.

С момента открытия рукописного списка «Слова» в конце 18 века не раз высказывались сомнения в его подлинности, в последнее время французским славистом А. Мазоном [8], А. А. Зиминим [9], Дж. Л. И. Феннелем [10], К. Тростом [11]. Вопросы о подлинности или поддельности «Слова» я здесь не буду касаться. Считаю, что этот вопрос решен окончательно и бесповоротно. Решен в пользу подлинности. Особенно убедительно в работах Р. Якобсона [12] и Д. С. Лихачева [13]. Веские аргументы в пользу подлинности дало изучение *тюркизмов* в «Слове». Установлено, что значительная их часть могла быть усвоена только в *домонгольский* период. А это исключает зависимость «Слова» от «Задонщины». Речь может идти только об обратной зависимости [14].

Пять аспектов филологического разбора

Сочетая черты литературы и фольклора, «Слово о полку Игореве» подлежит рассмотрению как в сравнительно-литературном, так и в сравнительно-фольклорном плане. В том и другом случае это – художественный текст и, как всякий текст, он требует разбора в пяти аспектах:

лингвистическом: язык, диалект; лексика, грамматика;

текстологическом: история текста, критика текста;

филологическом (в узком смысле): жанр, композиция, стиль; поэтика, выразительные средства;

реально-историческом: время и место создания; социальные и политические реалии; личность автора;

идеологическом: идейная атмосфера; мировоззрения автора; идейный пафос произведения.

Следует помнить всегда, что ни один из этих аспектов нельзя брать изолированно. Они всегда тесно между собою связаны. И даже в тех случаях, когда вас интересует один какой-либо аспект, надо постоянно иметь в поле зрения четыре других и перекрестно сверять и контролировать свои выводы.

Это в полной мере относится и к нашей задаче; хотя нас в данном случае занимает прежде всего проблема жанра, нам для нашей цели придется апеллировать и к лингвистическим данным (в частности уточнять значение и употребление некоторых ключевых слов и терминов), и к текстологическим (цельность или многослойность текста, возможные деформации и пр.), и к историческим реалиям, и к идейному содержанию.

Такой метод можно назвать комплексно-экзегетическим.

Что означает «полк (плькъ)» и что означает «слово»?

Лингвистическому разбору подлежит прежде всего название памятника: «Слово о полку Игореве».

На титульном листе первого издания «Слова о полку Игореве» стояло:

Ироическая песнь
о походе на половцев
удельного князя Новагорода-Северского
Игоря Святославича,
писанная старинным русским языком

в исходе XII столетия
с переложением на употребляемое ныне наречие.

Москва

1800

С тех пор слово *полк* (*пѣлкъ*, *плѣкъ*) в названиях этого памятника неизменно переводится «поход» («Слово о походе Игоря»). Это значение укрепились и в переводах на другие языки. Передо мной переводы «Слова» на два столь далеких друг от друга языка как английский и осетинский. В первом *пѣлкъ* переводится «campaign» [15], во втором – «stær» («поход» с оттенком «военная экспедиция за добычей») [16]. Значение «поход» действительно встречается в древнерусском, но сравнительно редко. Обычно *пѣлкъ* употребляется как синоним слов «вои», «рать», «войско», также «отряд», «полк», «воинство». В «Материалах» И. И. Срезневского под словом *пѣлкъ* из общего числа 60 примеров только в 9 случаях с известной уверенностью распознаются значения «война», «поход» [17, 111, сс. 1747–1749]. В близкой по времени к «Слову» «Повести временных лет» слово *пѣлкъ* (*плѣкъ*) встречается 16 раз и почти исключительно в значении «войско», «боевой порядок» [18, сс. 279, 284 сл.]. В самом тексте «Слова» из двенадцати случаев только в двух можно говорить о значении «поход» («плѣци Олговы»; «въ ты рати и въ ты пѣлки»). См. еще [19, сс. 166–7] и [20, сс. 37–49].

Ст. слав. *плѣкъ* в переводах с греческого передает греч. *phalanx* и *ragataxis* (боевой строй, войска). Сюда же болг. *пѣлк*, сербохорв. *пук* «народ», «толпа», чеш., словац. *pluk* «куча» и пр. Этимологически слово *полк* связано с германской лексической группой: древневерхненем. *folk*, англосакс. *folc* «войско», «отряд», нем. *Volk* «народ», «нация».

Из приведенных данных следует, что название памятника «Слово о плѣку Игоревъ» вполне допускает альтернативный перевод: «Слово о войске Игоря»¹.

Решение этого вопроса во многом зависит от того, как понимать термин «Слово» как название древнерусского литературного памятника. Одно с другим связано.

Просматривая памятники, носящие название «Слово», легко убедиться, что они не могут быть подведены под один какой-нибудь определенный жанр. Это – сочинения самого разнообразного содержания: нравоучительные, хвалебные («Похвальное слово флоту Российскому»

¹ Именно так понимает и переводит английская литературная энциклопедия: «The Lay of Igor's Army», 5, с. 727.

Феофана Прокоповича), проповеди и поучения, ораторская речь и т. п. [21]. Но есть у них все же один объединяющий признак: повествовательный элемент в них либо вовсе отсутствует, либо играет второстепенную роль. Оно и понятно. Ведь для произведений повествовательного жанра существовали другие, весьма обычные и употребительные наименования, прежде всего «Повесть»: «Повесть временных лет», «Повесть о Куликовой битве», «Повесть о Мамаевом побоище» и мн. др. [17, 134–35]. Повествовательный момент преобладал также в «Сказаниях», «Житиях» и некоторых других жанрах.

Если бы автор «Слова» имел в виду повествование о походе Игоря, он всего вернее назвал бы свое произведение «Повестью», а не «Словом». Весьма авторитетные словари русского языка: словарь под ред. Д. Н. Ушакова (1940), четырехтомный академический словарь (1961) приписывают «слову» в числе других значений – «повествование», но единственным примером, иллюстрирующим это значение, оказывается... «Слово о полку Игореве». Таким образом, составители этих словарей оказываются в данном случае в положении барона Мюнхгаузена, вытаскивающего себя из болота за собственные волосы. При этом они игнорируют тот бросающийся в глаза факт, что в «Слове» повествовательный элемент играет третьестепенную роль.

Вопрос, стало быть, стоит так: какой неповествовательный жанр может скрываться под названием «Слово» нашего памятника? Поскольку «Слово» посвящено скорбному событию, трагической гибели русского войска в битве с половцами, речь может идти только о слове-оплакивании. Но оплакивать можно погибших воинов, а не факт похода как таковой. Поэтому понимание «Слова» как «Плач» подсказывает и понимание слова «полк» как «воинство», а не «поход».

В итоге мы приходим к выводу, что «Слово о полку Игореве» всего вероятнее «дешифруется» не как «Повествование о походе Игоря», а как «Плач о войске Игоря». Соответственно английский перевод следует озаглавить не «Song of Igor's Campaign», а «A Lament for Igor's Army», осетинский – не «Кадæг Игоры стæрыл», а «Хъарæг Игоры 'фсадыл»¹.

Мы будем пока держаться такой интерпретации как рабочей гипотезы. Если жанровый разбор текста не подтвердит ее, мы от нее откажемся.

¹ Осет. хъарæг «обрядовый плач, причитание» этимологически идентично с зарæг «песня». И это не случайно. Как показала К. Г. Цхурбаева (см. ниже), осетинская героическая песня генетически связана с обрядовым мужским плачем.

Князь Игорь – антигерой

Не могу забыть того впечатления, которое произвело на меня «Слово о полку Игореве» при первом чтении. Было что-то зачаровывающее и в причудливой композиции, и в бьющей через край образности, и в заражающей, неподдельной взволнованности автора. Даже темные места, окутывая текст дымкой далекой старины, усиливали впечатление, как загадочные письмена на антикварном предмете.

А как автор чувствовал *природу*! Как искусно он создавал атмосферу «сопереживания» между явлениями природы и чувствами и настроениями автора и его героев! «Природа, непрестанно принимающая самое живое участие в судьбе князей и их дружины, – живая, одухотворенная, активно вмешивающаяся в мир человеческих отношений. Она в «Слове» неотделима от человека, как человек неотделим от нее» [21, с. 12]. Об авторе с полным правом можно сказать словами поэта Баратынского: «С природой одною он жизнью дышал».

Я читал «Слово» и восхищался. И вдруг, после вдохновенных строк о трагедии на Каяле, передо мной неожиданно возникло убогое заздравие: «Слава Игорю Святъславличю!» Я едва верил своим глазам. Трагический автор внезапно обернулся неунывающим бодрячком, озабоченным только тем, чтобы воздать славу оскандалившимся воякам-князьям. «Невероятная гремющая нота разрушила тонкую пластичную ткань поэмы» [22, с. 130]. За что слава? По какому случаю слава? За то, что загубил свое войско, а сам сдался в плен? Все очарование пропало. Поразило не только отсутствие художественного вкуса. Об этом не приходится и говорить. Поразило отсутствие нравственного сознания, элементарного такта и приличия. Лихой пляс на кладбище... Аллилуйя на поле, усеянном трупами... «Похоронный марш, внезапно переходящий в вальс «Амурские волны» [22, с. 24].

Есть загадки в «Слове о полку Игореве». Но есть загадки и в литературе о «Слове». Одна из них: откуда, как, на основе каких исторических фактов возник в этой литературе *героический* образ князя Игоря? Может быть под влиянием оперы Бородина? Но и там говорится *о позоре*, а не о славе («Я свой позор сумею искупить»). Станный герой, который ничем другим не прославился, кроме своего поражения на Каяле. И это ничтожество нашло себе адвокатов среди советских ученых. Оказывается, он был «храбрый», «отважный», а также «честный» и «прямодушный». Честность и прямодушные сказали в том, что он сперва в союзе с половцами воевал со своими, русскими, а потом, движимый тщеславием, без

согласования с другими князьями, ринулся стереть с лица земли своих недавних союзников половцев и потеплел жестокое поражение. «Добрыя полки без доброго князя погибають» (Слово Даниїла Заточеника). В начале поэмы он заявляет: «Лучше быть убитым, чем плененным». Слова, вполне достойные эпического героя. Но, увы, это были всего лишь пустые слова. В бою он предпочел сдаться в плен, рассудив, видимо, что живая собака лучше дохлого льва. «И рады были ему жители Новгород-Северского за то, что он вернулся сам, оставив в чужой земле тысячи их сынов, братьев и отцов» [22, с. 132]. Любопытная «деталь»: все войско сложило головы, а из князей ни один не погиб. Все благополучно оказались в плену.

Адвокаты уверяют, что после поражения Игорь перековался и стал борцом за единство Руси. Это чудесное превращение Савла в Павла, если даже оно имело место, не имеет отношения к содержанию «Слова». «Слово» посвящено одному горестному для всей Руси событию, в котором Игорь играл самую неприглядную роль.

«Не общерусская оборонительная борьба и даже не защита своих собственных рубежей, а лишь желание захватить половецкие юрты с женами, детьми и имуществом толкало князя на этот поход, своего рода репетицию похода 1185 года» [23, с. 211].

«Слава Игорю Святославичу... Здрaвы будьте, князья и дружина... Солнце светится на небе, а Игорь князь в Русской земле... Тяжко голове без плеч, беда телу без головы, так и Русской земле без Игоря... Князьям слава и дружине!» Откуда эти подхалимские восторги? Ясно, откуда. Они призваны нейтрализовать антикняжескую направленность основной трагедийной части «Слова». Автор, придворный штатный «идеолог», как бы говорит: хоть и плох оказался наш князь, все же без князей не обойтись: «беда телу без головы».

Трудно представить себе фигуру, менее пригодную для героизации. Ни одной черты, ни одного признака эпического героя невозможно в нем отыскать. Герои – те, кто сложил голову на поле битвы. Мертвые не имеют сраму. Если кто заслужил полную меру сраму, то это незадачливый Мальбрук из Новгород-Северска, «герой» в кавычках или еще лучше – антигерой.

Кто были русские князья в XII в.

В IX–XI вв. Европа стала свидетельницей и жертвой невиданного ранее бедствия: бурной военно-разбойничьей активности выходцев из Скандинавии норманнов. Объектом их опустошительных набегов стали

Англия, северо-запад Франции (от них получила свое название Нормандия), далее южная Италия и Сицилия [24]

Одной из крупнейших и важных по своим последствиям операций такого рода было вторжение норманнов («варягов») на Русь в IX в. Здесь они решили обосноваться крепко и надолго. Они образовали правящую верхушку и стали «княжители и володети». Позднее услужливый придворный летописец «оформил» эту разбойничью акцию как «призвание варягов». В действительности никакого призвания не было. Никто не звал норманнов на Русь, так же как никто не звал их в Англию или Францию. Они явились как незваные гости, как агрессоры. Это было начало того самого германского *Drang nach Osten*, который в течение ряда столетий давил на славянский мир и который и в нашем веке дважды обрушивался на Россию и причинил ей неисчислимы бедствия и страдания.

Норманнские вожди принесли на Русь свои имена и свои титулы. Имена *Рюрик, Олег, Ольга, Игорь (Ингварь)* – сплошь норманнские. Слово *князь* происходит от германского *kuning*, как *пенязь* – от *pening*, *витязь* – от *viking*.

В сочетании слов *Князь Игорь* нет ничего ни русского, ни славянского. Оно получилось из герм. *Kuning Ingvar*, и этот факт имеет не только лингвистический, но вполне ясный исторический и политический смысл: в XII в. на Руси продолжали хозяйничать потомки и преемники норманнских агрессоров.

Со временем норманны, чтобы «адаптироваться», усвоили русский язык и принимали славянские имена. Но это, разумеется, не меняло их натуры. И, к примеру, киевский князь Святослав Игоревич, (ум. 972 г.), несмотря на свое славянское имя, был по своим повадкам типичным варяжским разбойником.

На беду кунинги принесли на Русь не только свои имена и титулы, но и свои нравы. А нравы эти были грубые и жестокие. Они набили руку в военном деле, но в нравственном отношении стояли неизмеримо ниже народа, которым правили. Для них война была профессией, а народу она несла смерть и разорение. Всякого рода злодеяния и насилия стали обычным явлением. В древнерусской литературе возник даже особый жанр рассказов о преступлениях князей. Народ, который становился вынужденным свидетелем и участником этих злодейств, тоже в какой-то мере грубел и черствел. В этом именно была самая отрицательная сторона норманнского нашествия. Р. Н. Радищев характеризовал самодержавие как «наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Правление норманнов на Руси было наипротивнейшим естеству русского народа состоянием. Оно исказило лицо русского народа, народа по природе своей

доброе, миролюбивое и трудолюбивое, меньше всего склонного к военным авантюрам. Оно разворошило мирный патриархальный уклад и втянуло народ в бесконечные междоусобицы, распри и войны. Оно стало, говоря словами Пушкина, тем «художником-варваром», который чертил на душе народа свой «беззаконный рисунок» и всячески искоренял в ней память о «первоначальных чистых днях». И трудно сказать, кто был злейшим врагом Руси в X–XII вв., тюркские кочевники или «свои» князья-кунинги и их свора. У князей не было никакой разумной, целеустремленной национальной политики, направленной на объединение Руси. Идея единства Руси в X–XII вв. уже созрела в головах передовых людей из народа, но не в головах князей. Своекорыстие, алчность, честолюбие, тщеславие, драчливость – ничего другого не просматривается в мотивах их действий. Они не содействовали, а мешали формированию национального самосознания русского народа. Отдельные князья то и дело вступают в союз со степными кочевниками, чтобы с их помощью разорить другое русское княжество. Такая практика была обычной не только в X–XII вв., но и позднее, при Золотой Орде. Обычная картина: в столицу Орды приезжает русский князь. Зачем? Просить у хана помощи против другого русского князя [25].

Нужно ли говорить, что в отношениях между князьями и народом не было ничего идиллического. Это были обычные отношения угнетателей к угнетенным. Отчуждение в данном случае усугублялось тем, что русский народ помнил – не мог не помнить – что в стране правят чужеземцы, их потомки и преемники или их прихвостни из местной среды. Что кунинги-князья никогда не забывали о своем происхождении, видно из того, что московские великие князья и цари вплоть до Ивана Грозного носили – с гордостью! – династическое имя «Рюриковичей».

Назад к Иловайскому?

Всякий репрессивный режим нуждается в том, чтобы иметь свою охранительную историографию; историографию, которая рисовала бы прошлое страны в благоприятном для этого режима освещении. Таким охранительным историографом царского режима во второй половине XIX в. был Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920) [26]. Его имя стало в этом смысле нарицательным. «Патриотическая» концепция Иловайского была весьма проста: на Руси правили симпатичные князья и симпатичные цари; они вели симпатичные завоевательные и карательные войны; народ души не чаял в своих князьях и царях и с радостью умирал в этих войнах.

Нет ничего удивительного в том, что монархист и реакционер Иловайский преподносил русскую историю в такой конфетной упаковке. Удивительно и непостижимо то, что примерно в такой же упаковке оказываются первые века русской истории у некоторых советских историков и филологов, в частности пишущих о «Слове о полку Игореве». Те же благообразные «храбрые» и «честные» князья, те же трогательное единство князей и народа, те же «патриотические» войны, в которых безропотно умирал народ.

Патриотизм, который не видит антагонизма между народом и правящей верхушкой, это не патриотизм, а чистейшая иловайщина. Можно выписать целые страницы «патриотических» высказываний, посвященных «Слову о полку Игореве» и его эпохе, где Иловайский охотно подписался бы под каждой фразой. Он мог бы сказать: мое дело в надежных руках. Если этот подход продолжить на новую историю России, то можно договориться до того, что «честные» и «прямодушные» цари и генералы, усердно расширявшие пределы Российской империи, были патриоты, а Радищев, декабристы, Герцен и Чернышевский – смутьяны и враги народа. Может быть, эти авторы считают, что марксизм применим только к XIX и XX вв., а XII в. можно трактовать с позиций диффузного «патриотизма»?

Тягостное впечатление остается от тех высказываний, в которых, в связи с событиями 1185 года, сквозит нескрываемая неприязнь к половцам, как если бы авторы были современниками этих событий. Потомки половцев, как и других тюркских народов средневековья, входят теперь в братскую семью народов нашей страны, и советский ученый XX в. мог бы, кажется, подняться выше злободневных для XII в. эмоций. Когда национальная принадлежность ученого диктует ему его симпатии и антипатии, это уже не наука. Такой наукой можно с полным правом пренебречь как субъективной писаниной, лишенной научного значения [27].

Д. С. Лихачев в «Литературной газете» от 11 июля 1984 г. выражает опасение, как бы юбилей «Слова о полку Игореве» не был испорчен выступлениями неспециалистов. Не стоит беспокоиться. Невежество нетрудно разоблачить и осмеять. Серьезную тревогу внушают не дилетанты, а высоко дипломированные специалисты из школы Иловайского. Они уже нанесли и еще могут нанести к подножию великого памятника такие груды лжепатриотической мишуры, сквозь которые пробиться к трагическому пафосу «Слова» станет вообще невозможно.

Вымести мусор из золотого терема

Культивируется представление, что «Слово» – монолитный памятник, созданный в монолитном обществе. В действительности не было монолитного общества. Были с одной стороны князь с их окружением (включая услужливых летописцев и певцов). С другой стороны – народ, терпевший от этих князей всяческое зло.

И нет монолитного памятника. Есть, с одной стороны, высокохудожественный, пронизанный острым нравственным сознанием плач о гибели русского воинства и бедствиях русской земли. С другой стороны – антихудожественное, аморальное восхваление князей, виновников этих бедствий. Эти два элемента несовместимы и не смешиваются между собой, как ведро дегтя, вылитого в прозрачную реку, не смешивается с чистой водой.

Посудите сами, что получается, если «Слово» рассматривать как цельный монолитный памятник.

Русь раздирается губительными для страны междоусобицами. Виноваты князь.

Русское воинство погибло в битве с половцами. Виноват князь Игорь.

Вывод: слава князьям.

Дело даже не в том, что тут нет никакой логики. Логика для поэзии не обязательна. Дело в утрате идейно-эстетического и морального стержня. Великое горе и боль внезапно переходят в бравурные славословия. Режущая слух фальшивая нота врывается в трагический настрой поэмы и разрушает его. Естественно думать, что трагедийное идет от народного певца, а бравурное – из мутного источника княжеско-дружинной охранительной «поэзии».

Восхваления князей вклиниваются в текст так неумело, нескладно, некстати и топорно, что кажется, фальсификатор вконец запутался и сам не знает, где ему трубить за здоровье и где голосить за упокой. Эту идейную неразбериху Д. С. Лихачев евфемистически называет «стереоскопичностью» [28, с. 21]. По мнению этого автора мы имеем в «Слове» особый «стереоскопический» жанр: «плач – слава».

Как на другой пример этого жанра автор указывает на «Слово о гибели Русской земли», которое «представляет собой соединение плача о гибнущей Русской земле со славой ее могучему прошлому» [29, с. 75]. Но нетрудно заметить, что между этими двумя случаями нет абсолютно ничего общего. В одном случае слава прошлому призвана оттенить бедствия настоящего, в другом – к плачу о бедствиях бестактно пристегнута слава виновникам бедствия – князьям.

В проблему жанра «плач-слава» следует внести ясность. Мужской плач, который, по моему мнению, составляет фольклорную основу поэмы, обязательно включает в себе элемент прославления, прославления погибших. В поэме же славят живых и притом виновников всех бед. «Слава бесславному» – такого аморального жанра никогда не было и не могло быть в народной поэзии. Такой «жанр» мог зародиться только в тлетворной атмосфере пресмыкательства в княжеском окружении. «Слава князьям» в «Слове» – такое же бесстыдство, как «призвание варягов» в летописи. Там и тут попытка обернуть трагедию народа апофеозом ее виновников.

С какой бы стороны ни подойти к «Слову о полку Игореве» – текстологической, идейно-эстетической или в свете тех исторических реалий, которые его породили, – приходишь к одному и тому же выводу: первоначальный глубоко народный, высокохудожественный «плач» о Русской земле был деформирован, искажен примитивными, резко диссоциирующими *прокняжескими* включениями. Уже знакомый нам художник-варвар приложил свою руку к бессмертному творению. Его «беззаконный рисунок» надо удалить, и тогда «создание гения пред нами предстанет с прежней красотой».

«Слово о полку Игореве» и русский былинный эпос

Вслед за восьмисотлетием «Слова о полку Игореве» следовало бы отметить тысячелетие другого замечательного памятника русской культуры – былинного эпоса.

Создание былин о «старших» богатырях – Святогоре, Микуле, Вольге – не поддается точной датировке. Но былины Киевского цикла, где выступают Илья Муромец, Добрыня, Алеша, можно с уверенностью возводить к X в. В них постоянно упоминается киевский князь Владимир Святославич, правивший с 978 (?) по 1015 год. Стало быть «Слово» и былины рождены в сущности одной и той же эпохой, эпохой древнерусского феодализма. С одной стороны, князь и набранная из разноплеменного сброда дружина, с другой – народ, вынужденный кормить эту свору, служить ей и воевать, воевать, воевать. Эта социальная структура определила идейное наполнение как «Слова о полку Игореве», так и былин. В «Слове» легко распознается, с одной стороны, высокий идейный накал народного певца, оплакивающего бедствия своей страны и осуждающего князей, с другой – идейное убожество придворного подхалима, испортившего поэму прославлением князей.

В былинах ясно проступают те же два отношения к князьям, в данном случае конкретно к князю Владимиру. Придворные, дружина называют его лъстиво и подобострастно «солнышком» или «красным солнышком».

Народ даст ему совсем другую оценку. Владимир – жалкий трус:

«Тут Владимир князь приужахнулся, приужахнулся
да и закручинился»;
«прячется под лавку, шубой укрывается»;
«Владимир князь окарач напозался»;
Князь затыкает ж... онучею».

В ряде былин Владимир рисуется как человек жадный, коварный, жестокий, пьяница и сластолюбец.

Так выглядит «красное солнышко», «равноапостольный» князь Владимир, если взглянуть на него *глазами народа*. Вспомним, что князь Игорь в заключительной (фальсифицированной) части «Слова о полку Игореве» сравнивается с солнцем («Солнце светится на небе, а Игорь князь в Русской земле»). Владимир – «солнышко», Игорь – «солнышко». Любой негодяй становится «солнышком», как только он оказывается на княжеском престоле

На фоне этих насквозь аморальных персонажей выступает во всем своем величии благородный образ истинно русского богатыря Ильи Муромца. В отличие от придворных богатырей, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, Илья – «вольный казак», мы сказали бы теперь – анархист (в самом благородном значении этого слова)¹. Он стоит в стороне от придворной шатии. Когда Владимир зовет его «на почестен пир», Илья отвечает: «Двор мне княженецкий не нужен». В другом случае он говорит: «Не дай Бог богатырю стать воеводою». Отношение его к князю снисходительно-презрительное. Один из популярных былинных сюжетов – рассказ о ссоре Ильи с князем Владимиром. Тщетно шлет за ним князь послов, Добрыню, Алешу, Чурилу. Илья с позором отсылает их обратно. А сам в это время

«Угощает голь кабацкую
Бедноту он всю да деревенскую».

¹ Таким же «анархистом» выступает герой иранского эпоса Рустем в его отношениях с царем Кейкаусом.

Он не раз спасает Владимира от врагов, но делает это не ради Владимира, а ради Русской земли. Илья добр и великодушен. «Он бьет неохотно, только в крайних случаях, а когда нет этой неприятной для него необходимости, он только показывает безвредно свою богатырскую силу, чтобы заставить смириться своего врага» [30].

Эта черта у него традиционная, исконно русская. Еще отец Ильи, снаряжая сына в дорогу, напутствует:

«Не помысли злом на татарина.
Не убей в чистом поле христианина».

Вот она, та нравственная высота, о какой и не снилось князьям-кунигам и их дружине. Прав Орест Миллер, когда пишет: «...в идеальной личности Ильи Муромца вполне выразился исторический характер русского народа».

В современном литературоведении оживленно дискутируются проблемы «положительного героя». В истории русской словесности дважды был создан абсолютно убедительный и покоряющий образ положительного героя. Первый раз народом в лице Ильи Муромца, второй раз Достоевским в лице князя Мышкина в «Идиоте». Казалось бы – ничего общего. Но это только по видимости. Сущность у них одна, истинно русская. Оба они – рыцари добра. Оба олицетворяют одну идею: стойкость и неуничтожимость добра на нашей земле¹.

Развитие жанра: мужской плач – героическая песня – героическая поэма

Сравнение «Слова о полку Игореве» с былинами Киевского цикла наглядно демонстрирует наличие в них двух противоположных идейных тенденций: *антикняжеской, народной* и *прокняжеской, дружинной*. С одной стороны, высокий моральный настрой народа, с другой – моральное убожество князей и их своры. Эти две тенденции несовместимы, и приписывать их в «Слове» одному и тому же автору, как это обычно делается, значит полностью утратить идейно-эстетический и нравственный ориентир. Прокняжеские восхваления в «Слове» могут принадлежать только руке фальсификатора, исказившего первоначальный текст. Очистить текст от этих чуждых включений – первая и главнейшая задача экзегетики «Слова о полку Игореве».

¹ Названные два русских рыцаря имеют и за рубежом одного собрата: Дон Кихота. Сервантес мог бы назвать свой роман «Идиот» в том же смысле, как Достоевский.

В основе первоначального, нефальсифицированного «Слова» лежит, как это уже отмечалось в литературе, народный жанр «плача». Автор оплакивает воинов, сложивших головы в борьбе с половцами, оплакивает бедствия Руси, вину за которые несут князя с их вечными междоусобицами и раздорами.

Надо, стало быть, разобраться, насколько специфика «плача» как жанра народной поэзии раскрывается в «Слове о полку Игореве».

Плачи-причитания – один из древнейших видов народной поэзии. Они свидетельствуются археологическими памятниками. Они описаны в эпосе о Гильгамеше, Илиаде, Махабхарате, Эдде. И, в отличие от некоторых других жанров фольклора, ушедших в прошлое, бытуют по сей день едва ли не у всех народов мира. Как ни привычна и ни естественна смерть, она каждый раз воспринимается окружающими как нечто катастрофическое. Она исторгала у близких покойного крик боли и скорби. И этот крик веками отрабатывался и приобретал черты поэтической формы, характерной и своеобразной у каждого народа.

Литература о причитаниях (публикации текстов и исследования) обширна. У русских [31], украинцев [32], у финских народов [33], у тюркских народов [34], у греков [35].

Много ценного для характеристики жанра и его истории дает кавказский [36] и иранский [37] материал. Особенно содержательна и важна книга покойной Маргариты Борисовны Руденко о курдских причитаниях [38].

Вот некоторые важнейшие для нас выводы, которые можно сделать из доступного материала.

Плачи бывают двух видов, мужские и женские. «Курдские похоронные причитания можно разделить на два основных цикла: мужской и женский» [38, с. 12] Женщины оплакивают всякого покойника или покойницу. Мужчины – только мужчин, павших в бою или при особо трагических обстоятельствах. «Причитания мужского цикла характерны наличием в них героико-эпических элементов; в них говорится о мужской доблести покойного, о решающих битвах и сражениях...» [там же].

Мужские плачи имеют тенденцию с течением времени отрываться от погребального обряда и исполняться как *героические песни*. «В (погребальном) обряде «котэль» участвуют только мужчины, и соответственно причитания «котэль» бытуют только в мужском исполнении. В последнее время... эти причитания исполняются также вне обряда... и тогда их можно принять за *героические песни*. Не исключено, что они и воспринимаются как таковые, будучи исполнены вне обряда» [38, с. 14]. С другой

стороны, у тех народов, где мужского плача как особого жанра уже нет, но есть героические песни, в этих последних распознаются ясные черты их преемственной связи с мужскими плачами. «Поскольку смерть – необходимое условие для возникновения героической песни, то напрашивается вопрос – не ведут ли свое начало героические песни от причитаний и плачей, не связаны ли они с погребальным обрядом предков осетин? Не являлись они в своем начале своеобразными мужскими плачами по погибшему?» [39, с. 38]. На эти вопросы автор отвечает утвердительно. «Анализируя музыкально-поэтические особенности осетинских героических песен, приходишь к выводу, что героическая песня как форма народного творчества многими сторонами смыкается с причитаниями. Это позволяет предполагать, что они ведут начало от народных плачей и причитаний. Первоначально они были, по-видимому, мужским плачем по герою. В дальнейшем связь с причитаниями становилась все менее отчетливой» [39, с. 39]. Сопоставление данных М. Б. Руденко, с одной стороны, и К. Г. Цхурбаевой, с другой, весьма поучительно. Курдский материал отражает более раннюю фазу, когда мужской плач составляет еще часть погребального ритуала. Но уже там М. Б. Руденко отмечает тенденцию к превращению мужского плача в особый фольклорный жанр героической песни, посвященной обязательно *погибшему* герою, но уже не связанной с похоронным обрядом и исполняемой самостоятельно.

В осетинском, по данным К. Г. Цхурбаевой, мы застаем следующую фазу: мужского плача как особой части погребального ритуала уже не существует, но есть богатейший жанр героических песен, воспевающих только *погибших* героев и несущих зримые черты своей генетической связи с мужскими плачами.

Бывает так, что два археолога независимо друг от друга находят две части одной рукописи: один – начало, другой – продолжение. Подогнав обе части друг другу, мы получаем цельный и связный текст. Нечто подобное произошло и здесь. М. Б. Руденко и К. Г. Цхурбаева независимо друг от друга описали две последовательные фазы развития жанра. «Подогнав» их данные друг к другу, мы получаем ясную картину развития жанра от мужского плача, неотделимого от погребального обряда, к героической песне как особому народному вокальному жанру, исполняемому в два голоса. Выявляется определенная закономерность. Если мы у какого-либо народа находим мужской плач как часть погребального ритуала, мы с большей долей уверенности можем предсказать, что со временем он эволюционирует в направлении героической песни и станет исполняться вне обряда. И обратно, там, где мы находим жанр героической песни о погибших, мы можем думать, что он представляет «транс-

формацию» жанра мужского плача. Напомню, что осет. *хъарæг* (причитание) и *зарæг* (песня) происходят от одной и той же индоевропейской базы *ger-||ǵer-.

И мужской плач, и связанная с ним героическая песня рождаются только при условии *смерти* героя. О живых мужчины не плачут и песен не слагают.

Was im Lied soll ewig leben.

Muss im Leben untergehn.

Ф. Шиллер

Чтобы в песне стать бессмертным.

Надо в жизни смерть принять.

Этот закон нерушим. Герой одной из осетинских героических песен Хазби Аликов погиб в схватке с царскими карательными войсками во время восстания 1830 г. По всем историческим документам вождем восставших был Беслан Шанаев. Но о нем в песне нет ни слова. Воспевается только Хазби. Почему? Потому, что Хазби погиб, а Беслан остался жив.

Каковы важнейшие жанровые особенности мужского плача-героической песни? Первая: *повествовательный элемент в них либо полностью отсутствует, либо играет второстепенную роль*. В курдских причитаниях «нет ни прямого, ни иносказательного повествования о ситуации. Повествование заменяется высокоразвитой иносказательностью и символикой» [38, сс. 27, 34]. «Народ знал обстоятельства гибели героя, и поэтому считали излишним излагать события в песне... Отсюда отсутствие в песнях развитой повествовательности» [38, с. 36]. «Героические песни складываются по свежим следам отображенных в них событий». Поэтому по тексту песни «невозможно составить сколько-нибудь ясное представление о характере и последовательности воспеваемых событий...» Информативная функция чужда мужскому плачу и героической песне. Цель песенного текста – не повествовательная; его задача – вызвать у слушателей определенную эмоциональную *реакцию, расстрогать, взволновать, воодушевить*» [40, сс. 21, 23].

С отсутствием повествовательности связана еще одна особенность плачей-песен: *капризная, непредсказуемая композиция*. Если можно уловить какую-то закономерность в построении плача-песни, то это – непрерывное нарастание эмоционального накала. Достигается это особыми, присущими плачу художественными средствами. «Горестные восклицания перемежаются с эпитетами, восхваляющими покойного, с воспоминаниями об отдельных событиях из его жизни... Курдские причитания

имеют два основных компонента: устойчивые метафорические формы-сочетания и импровизацию... Импровизация – момент индивидуального творчества – выступает особенно ярко при описании реальных событий и обстоятельств, связанных со смертью... Состояние эмоционального напряжения позволяет исполнителю, выбирать чрезвычайно точные и яркие изобразительные средства» [38, сс. 11, 33–34]. «Важной особенностью словесно-поэтической стороны (осетинских) героических песен является своеобразие их композиционного строения... Здесь народные певцы не придерживаются каких-либо определенных правил... Каждая поэтическая фраза, тирада является носителем определенной мысли, рассчитанной на эмоциональное воздействие. Порядок этих тирад не отличается постоянством, они легко перемещаются... Подсознательным мотивом, определяющим композицию героической песни, является нарастание драматического пафоса» [39, сс. 68–69] Иногда плач принимает форму диалога: певец обращается к умершему или умершей – к своим родным или друзьям. Говоря о причитаниях черкесов, член Французской Академии Ж. Дюмезиль отмечает: *Lamentation poétique sur un mort genre littéraire aussi largement représenté chez les Tcherkesses que le marwnad de l'ancienne poesie galloise ou le myrologue grec, don Fauriel et le comte de Marcellus ont donne de cé lébres exemples. Une des difficultes de ces textes tcherkesses est qu'il y est souvent question des mêmes choses sans transition à la 1-re personne (le mort parle), à la 2-e (le poète parle au mort), à la 3-e (le poète raconte ou plutôt évoque allusivement* [41, с. 370]. «Сплошь и рядом весь текст песни состоит из взволнованных восклицаний, бьющих на эмоциональный эффект» [40, с. 23].

В арсенале художественных средств, которыми пользуются исполнители плачей и героических песен – образов, метафор, сравнений, иносказаний – первостепенную роль играет природа. М. Б. Руденко один из разделов своей книги о курдских причитаниях так и озаглавила: «Картины природы, символика птиц, животных и растений в курдских похоронных причитаниях». Автор пишет: «Скорбь, вызванная утратой, нашла выражение в образах-картинах природы, которая в курдских плачах занимает большое место. Яркие красочные картины природы служат живым фоном для выражения душевных переживаний, дополняя общую картину горя, тоски, вызванных смертью близкого человека» [38, с. 35]. Ср. также: В. Данилов. Символика птиц и растений в украинских похоронных причитаниях. «Киевская старина» 1906, № 11–12. Далее: Е. Mahler. *Die russische Totenklage*. Leipzig, 1936 p.p. 563–574.

Подведем итог. Мы исходили из давно обоснованного тезиса: «Слово о полку Игореве» как художественное произведение тесно связано с

народной поэзией. Задача состояла в том, чтобы уточнить, к какому именно жанру устно-поэтического творчества всего ближе стоит знаменитая поэма. Расширение сравнительной базы исследования путем привлечения кавказского и иранского материала позволяет с уверенностью ответить на этот вопрос: жанровые истоки основной части поэмы (о плаче Ярославны я скажу особо) ведут к *мужскому погребальному плачу*. Этот жанр мы застаем еще в цветущем состоянии у курдов. В дальнейшем он имеет тенденцию преобразоваться в героическую песню и в этом качестве он бытует уже вне похоронного обряда. Эта новая ступень развития жанра мужского плача богато представлена в осетинском.

Какие черты сближают «Слово» с мужским плачем-героической песней?

Ограниченность повествовательного элемента.

Преобладание лирико-драматического начала над эпическим. «Сочетание лирической задушевности и психологизма с гордой мужественной скорбью» [39, с. 34].

Своеобразная композиция, подчиненная не логической связи, а чередованию эмоциональных всплесков. Ситуация раскрывается не в связном повествовании, а «в намеках, напоминаниях, глухих указаниях на то, что было еще живо в памяти каждого современника» [42, с. 17]¹.

Яркая и богатая образность, метафоричность, иносказательность с широким вовлечением в арсенал поэтики предметов и явлений природы. Даже такой образ, как «смерть – свадьба» присутствует в «Слове» и плачах. «Ту пирь докончаша храбрїи Русичи, сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую» («Слово»). У курдов. «...обычай исполнять свадебное причитание при погребении являет собой реликт древнего обычая имитации свадьбы на похоронах, бытовавшего в древности у курдов» [38, с. 55]. Представление о смерти как о бракосочетании Mahler отмечает также в причитаниях древних греков, германцев и славян.

Разумеется, «Слово» не может быть отождествлено с народным плачем-песней. Оно представляет новую, высшую ступень развития жанра – героическую поэму. Героическая поэма относится к своему фольк-

¹ Профессор Мазон видел в «путаной», «бессвязной» композиции «Слова» одно из доказательств его поддельности: дескать, фальсификатор по неумелости неспособен был свести концы с концами. В действительности видимая «бессвязность» текста, – это не композиционный дефект, а *специфика жанра*. Такой же спецификой жанра является «искусственное», по мнению Мазона, язычество, которое господствует в «Слове», кроме его заключительной, фальсифицированной части. Мужской плач как жанр восходит к дохристианскому периоду и по традиции сохранял весь арсенал языческой мифологии.

лорному прототипу, как пышная садовая роза к скромному лесному шиповнику. Такое произведение не мог создать безликий «народ». На нем лежит печать мощной поэтической индивидуальности. Но эта индивидуальность уходила корнями в стихию народной поэзии и питалась ее соками.

Одна из важнейших проблем, которые ставит перед исследователями «Слово о полку Игореве», – это история его текста. Вопрос стоит так: была ли поэма написана одной рукой сразу вслед за трагической гибелью русского войска, или в ней есть позднейшие вставки и наслоения. Учитывая крайне сложную и во многом темную историю дошедшего до нас текста, последнее а priori кажется весьма вероятным.

Теперь, когда вскрыты жанровые истоки поэмы, мы можем подойти к решению текстологических вопросов с точки зрения канонов жанра: все, что не соответствует этим канонам, должно рассматриваться как позднейшее добавление, искажение, деформация.

Жанр мужского плача-героической песни, как мы видели, полностью исключает прославление *живых*. *Смерть* в бою – обязательная, необходимая предпосылка для создания героической песни. Прославление живого, тем более бесславно оставшегося в живых, было бы самоуничтожением жанра. Два слова «слава Игорю» полностью разрушают жанровую, а стало быть и художественную цельность поэмы, они выхолащивают весь ее нравственный смысл.

Я хотел бы особо остановиться на этом последнем, нравственном аспекте. Казалось бы, какая может быть связь между текстологией и моралью? Но такая связь существует. Всякий жанр имеет не только свои художественные, но и свои идейные, нравственные, каноны. Тем более – героическая песня. «Непогрешимое нравственное сознание господствует в героической песне» [40, с. 22]. Когда героическая песня (скажем, у осетин) признает право быть воспетым только за *погибшим* в борьбе – это, разумеется, не прихоть. Мы подходим тут вплотную к «основному закону» плача-песни, ее социальной и нравственной функции. «Борьба, подвиг, смерть – три необходимых условия для появления героической песни... Созданная непосредственно после смерти героев, песня становилась как бы памятником, воздвигнутым для увековечения памяти погибших» [39, с. 36–37]. Создатели жанра исходили из того, что есть ценности, которые для человека выше жизни. Это – честь, это – достоинство, это – свобода, это – любовь к родине. Ради этих ценностей человек должен быть готов в любой момент пожертвовать жизнью. Если же он не сделал этого в борьбе, то это – не герой, он – не предмет для воспевания. Вот почему присутствие князя Игоря в поэме в качестве «героя» противоре-

ственно, аморально и незаконно. «Слава Игорю» – как чернильная клякса на картине великого мастера, как фальшивая нота в прекрасном музыкальном произведении, сотканном из боли, скорби и гнева, – гнева против князей.

В большой народный мужской плач о бедах Руси вставлен малый женский плач Ярославны. Один шедевр «вмонтирован» в другой. Здесь все гармонично, все на своем месте. Женский плач как разновидность жанра имеет свои особенности, отличающие его от мужского. Женщина может оплакивать не только погибшего в бою, но любого близкого человека, оказавшегося в беде, в плену и т. п. Пусть муж Ярославны не стоил ни одной ее слезинки. Важно не то, кого она оплакивает, важно, как она это делает. Знаменитый мавзолей Тадж Махал был возведен одним из правителей Индии в память своей ничем не примечательной жены. Но когда мы восхищаемся памятником, мы думаем, разумеется, не о жене правителя, а гении архитектора, воздвигшего это чудо.

Плач Ярославны – подлинное чудо русской народной лирической поэзии. «Полечю, – рече, – зегзицею по Дунаеви, омочю бегрянъ рукавъ въ Каялъ рѣкъ, утру князю кровавые его раны на жестоком его тѣлѣ!»

Далее следуют взволнованные, полные образности обращения к ветру, Днепру, солнцу.

Подобные обращения – стойкий элемент русского женского плача: «В причитаниях содержится обращение к природным стихиям: ветру, солнцу, дождю». Такие же обращения встречаются в тюремных песнях [42, с. 346]. А ведь Игорь был как раз в плену, т. е. в «тюрьме».

В плаче Ярославны – быть может, ярче, чем в других частях поэмы – просвечивает ее народная основа.

Особо следует остановиться на ритмике «Слова о полку Игореве». Здесь также привлечение сравнительного фольклорного материал оказывается весьма поучительным

Д. С. Лихачев замечает: «Слово» ритмично, но его ритмическая система глубоко своеобразна... Ритм «Слова» связан в основном с ритмическим построением фраз, неразрывным со смыслом, содержанием текста, со всей его композицией. Ритмичны равномерно распределяющиеся лирические восклицания... Ритмичность достигается сходным синтаксическим построением фраз... Ритм речи создают и излюбленные парные сочетания и противопоставления... Ритм «Слова» меняется, близко следуя смыслу... В этом точном соответствии ритмической формы и идейного содержания «Слова» – одно из важнейших оснований своеобразной музыкальности его языка» [43, с. 32–34].

Если я правильно понимаю автора, то, по его мнению, ритмика текста сообщает ему музыкальность. При этом нет мысли о том, что «Слову» была изначально присуща определенная музыкальная, песенная форма, которая со своей стороны влияла на ритмическую организацию словесного материала. Между тем именно так обстоит дело, к примеру, в кавказских героических песнях. «Осетинские героические песни характеризуются ярким своеобразием и богатством ритмического строения... Им свойственно неравномерное чередование ритмических акцентов. Такое своеобразие ритмической структуры находится в тесной связи с особенностями народно-песенного стиха, лишенного, как правило, равномерного чередования сильных и слабых долей, прихотливостью народного стихосложения и неограниченными возможностями музыкально-ритмического варьирования слоговых времен». Ритмический склад осетинской героической песни основан «на единстве поэтического текста и соответствующего ему музыкального оформления. Песня бытует в народе только в такой форме, которая совмещает текст с напевом, а так как ритмика текста и напева оказывают друг на друга влияние, то разобраться в ритмической структуре песни невозможно без выяснения характера их взаимовлияния... Вне напевного интонирования песенный текст теряет свою выразительность, а строфические закономерности, образующиеся в сочетании с напевом, нередко разрушаются» [39, сс. 95–96, раздел «Ритмический склад и поэтическая строфика»].

Из всего изложенного напрашивается вывод: трудности, на которые мы наталкиваемся, пытаясь раскрыть ритмическое строение «Слова», это те самые трудности, которые встали бы перед нами, если бы мы пытались разобраться в ритмике какой-либо осетинской (и не только осетинской) героической песни, имея перед собой только текст, но не зная напева. Все это логически ведет нас к заключению, что для «Слова» (имею в виду, разумеется, его основную, нефальсифицированную часть) было обязательно с самого начала *песенное* исполнение. «Слово» было не прозаическим рассказом, а «*Песней*», созданной гениальным автором на основе народного жанра *мужского плача*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Иоганн ШЕРР. Иллюстрированная всеобщая история литературы 1, М., 1905.
2. J. H. GRISWARD. Le motif de l'èpée jetée an lac: la mort d'Arthur et la mort de Batradz. "Romania" 99 (1969), pp. 289–340.
3. А. ХОЙСЛЕР. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960.

4. Кудруга. Серия «Литературные памятники». М., 1984, сс. 292–363.
5. The Penguin Companion to literature 2. Baltimore–Maryland, Одна из лучших, наиболее объективных и сбалансированных литературных энциклопедий.
6. В. И. АБАЕВ. О фольклорной основе поэмы Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Известия АН СССР, ОЛЯ, том XXV, 1966, № 4, сс. 295–312.
7. «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц (Литературные памятники). М.–Л., 1950, сс. 291–319. Ср. Д. С. Лихачев: «Если мы присмотримся к тем художественным средствам, которыми пользуется автор «Слова», мы убедимся, что в основном он черпает их из устной народной поэзии. С народной поэзией связывают его не только художественные вкусы, но и мировоззрение...» (Слово о полку Игореве. Под ред. Д. С. Лихачева. Школьная библиотека. 8-ое издание, М., 1979, с. 30). Из зарубежных работ: J. BESHAROV. Imagery of the Igor'tale. Leiden. 1956.
8. A. MAZON. Le «Slovo» d'Igor. Paris, 1940.
9. А. А. ЗИМИН. Задонщина. Ученые записки НИИ при Совете Министров Чувашской АССР, 36 (1967), сс. 216–239.
10. J. L. FENNELL. The “Slovo o polku Iгореve”: The textological Triangle, Oxford Slavonic Papers, I 1968 pp. 126-137.
11. K. TROST. Karamzin und das Igorlied: Ein Beitrag zur Kontroverse um die Echtheit des Igorliedes. Anzeiger für Slavische Philologie, 7 (1974), pp. 128–145.
12. R. JAKOBSON. Slavic Epic Studies. Selected Writings IV. The Hague-Paris, 1966.
13. D. S. ЛИХАЧЕВ. The Authenticity of the Slovo o polku Iгореve: A Brief Survey of the Arguments. Oxford Slavonic Papers 13 (1967), – Д. С. ЛИХАЧЕВ. Когда было написано «Слово о полку Игореве»? (Вопрос о его подлинности). В книге «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. Изд. 2-ое. М., 1982. Также другие работы Д. С. Лихачева.
14. Nikolas POPPE. A Note on Turkic Loan Words in the “Slovo o polku Iгореve” and the Zадонščina. Journal de la Societè Finno-Ougrienne 79 (1934), Helsinki, pp. 179-187 (“...the discovery of these archaic Turkic lexical elements is a powerful, and indeed irrefutable, argument in favor of accepting the antiquity as well as the authenticity of the “Slovo”, and for rejecting its derivation from the “Zадонščina”).
15. The Song of Igor's Campaign, tr. V. Nabokov. London, 1960.
16. Кадаг Игоры старыл. Перевел на осет. В. Газзаев. 2-ое издание, Сталинир, 1956.
17. И. И. СРЕЗНЕВСКИЙ. Материалы для словаря древнерусского языка, I–III, СПб., 1893–1903.
18. А. С. ЛЬВОВ. Лексика «Повести временных лет». М., 1975.
19. С. Д. ЛЕДЯЕВА. К вопросу о некоторых названиях соединений в древнерусском языке. Вестник МГУ, серия ист.-филол. 1959, № 4.
20. Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ. История военной лексики в русском языке. XI–XIII вв. Л., 1970.

21. См. «Указатель древнерусских письменных источников», составленный Д. С. Лихачевым во II томе «Повести временных лет», М.–Л., 1950, с. 546–555, а также «Указатель сокращений» в I томе «Материалов Срезневского», с. 42.

21а. Н. К. Гудзий. «Слово о полку Игореве»: В книге Слово о полку Игореве. М., 1955.

22. О. СУЛЕЙМЕНОВ. Аз и Я. Алма-Ата, 1975.

23. Б. А. РЫБАКОВ. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 211. Мотивы похода Игоря 1185 года ничем существенно не отличались.

24. А. Я. ГУРЕВИЧ. Походы викингов. М., 1966.

25. Б. Д. ГРЕКОВ и А. Ю. ЯКУБОВСКИЙ. Золотая Орда. М.–Л., 1950, *passim*.

26. Д. И. ИЛОВАЙСКИЙ. Разыскания о начале Руси. М., 1876 и 1882. Его же. История Рязанского княжества. М. 1858. Его же. История России, тт. I–V, М., 1894–1905. Иловайский был также автором школьных учебников по русской истории.

27. На лжепатриотические ноты в литературе о «Слове» справедливо обратил внимание О. Сулейменов в книге с ненужно вычурным названием «Аз и Я» (см. выше прим. 18). В этой книге два раздела «К истории СПИ» (сс. 10–23) и «Честное «Слово» (сс. 84–138) относятся, на мой взгляд, к лучшим, наиболее объективным страницам, когда-либо посвященным «Слову о полку Игореве». Если у автора кое-где заметна тюркофильская тенденция, то это тоже хорошо как противовес односторонней «Иловайской» тенденции. К сожалению, в других разделах книги О. Сулейменова много сомнительного и ошибочного. Этим воспользовались «иловайцы» и постарались опорочить всю книгу.

28. Д. С. ЛИХАЧЕВ. «Слово о полку Игореве» – героический пролог русской литературы. Л., 1967.

29. Д. С. ЛИХАЧЕВ. «Слово о полку Игореве» и процесс жанрообразования в XI–XIII вв. В книге: История жанров в русской литературе X–XVII вв. Л., 1972.

30. К. С. АКСАКОВ. Богатыри времен великого князя Владимира. Собр. соч., т. I, М., 1861.

31. К. В. ЧИСТОВ. Русская причеть. М., 1966 – М. К. АЗАДОВСКИЙ. Ленские причитания. Чита, 1922. – Н. П. АНДРЕЕВ, Г. С. ВИНОГРАДОВ. Русские плачи. М., 1937. Е. В. БАРСОВ. Причитания северного края. М., 1872. – В. Г. БАЗАНОВ. Обряд и поэзия. V Международный съезд славистов. София, 1963. E. MANLER. Die russische Totenklage. Leipzig. 1936.

32. В. ДАНИЛОВ. Об украинских народных причитаниях. «Киевская старина». 1905, т. 16. Некоторые украинские «думы» о погибшем герое по характеру смыкаются с мужским плачем. М. А. Максимович, современник Пушкина, собиратель украинского фольклора, переводчик «Слова о полку Игореве» на украинский язык, в письме П. А. Вяземскому писал: «Сравнивая (украинские народные) песни с Песню о полку Игореве я нахожу в них поэтическое однородство, так что оную Песнь... называю началом той южнорусской эпопеи, которая звучала и звучит еще в думах бандуристов и многих песнях украинских» (М. ЦЯВЛОВСКИЙ. Пушкин и Слово о полку Игореве. «Новый мир», 1938, № 5, стр. 263).

33. Устно-поэтическое творчество мордовского народа, т. 7, ч. 1. Эрзянские плачи. Предисловие Л. С. Кавтаськина. – А. Микушев в *Journal de la Societè Finno-ougrienne* 74 (1976), стр. 120 («У коми «все виды импровизационной лирики исполнители определяют одним и тем же термином бордодчан, т. е. плачевное слово»).
34. Г. А. ГАСАНОВ. Кумыкские йыры и сарыны (плачи). М., 1956.
35. С. FAURIEL. *Les chantes populaires de la Grece moderne*, I–II, Paris, 1824.
36. Д. ЧЕРВЕНАКОВ. Похоронные обычаи в Верхней Сванетии. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, т. 36. отд. 2, с. 152.
37. М. С. АНДРЕЕВ. Материалы по этнографии Ягноба. Душанбе, 1970, ее. 130–133.
38. М. Б. РУДЕНКО. Курдская обрядовая поэзия. Похоронные причитания. М., 1982.
39. К. Г. ЦХУРБАЕВА. Осетинская героическая песня. Орджоникидзе, 1965, с. 38.
40. Осетинские народные песни, собранные Б. А. Галаевым. М., 1964
41. Georges DUMEZIL. *Romans de Scythie et d'alentour*. Paris, 1978, p. 370.
42. В. Г. ШОМИНА. Поэтические особенности песен тюрьмы, каторги и ссылки. Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка. М., 1966, том XXV, вып. 4.
43. Д. С. ЛИХАЧЕВ. В книге «Слово о полку Игореве». Школьная библиотека, 8-ое издание. М., 1979.

Sonja FRITZ – Jost GIPPERT (Wien)

WYRYZMÆGS ESELSRITT

ZUM KULTURELLEN HINTERGRUND EINER
OSSETISCHEN NARTENSAGE

*Уважаемому учителю
Василию Ивановичу*

0.1. Über das gesamte Kaukasusgebiet verbreitet findet sich eine Sammlung von Sagen und Legenden, die gemeinhin unter dem Namen »Narten-Epos« zusammengefaßt werden. Es handelt sich um auf mündlicher Tradition beruhende Einzelerzählungen, deren Zusammenhang als »Epos« durch das Auftreten immer wieder derselben Personen und deren Verwandtschaftsverhältnis zueinander gegeben ist.

Während diese Grundcharakteristik für alle kaukasischen Völker, die die Sage kennen, dieselbe ist, lassen sich nur sehr selten Einzelerzählungen des einen und anderen Volkes völlig miteinander identifizieren, und auch die Hauptpersonen stimmen nur teilweise überein; am weitesten gehen noch die Übereinstimmungen ihrer Namen, so z. B. der einer femininen Hauptheldin, die bei den Tscherkessen SÄTÄNÄJ, den Abchasen SATANEJ, den Balkaren SATANAJ, den Tschetschenen SELI-SATA und den Osseten SATANA heißt¹.

0.2. Für die Kunde der betreffenden Völker hat das Nartenepos eine eminente Bedeutung: Da die meisten von ihnen bis in den Anfang des vergangenen Jahrhunderts völlig ohne schriftliche Überlieferung sind, bilden die in den Nartensagen enthaltenen Realien oft die einzigen Hinweise auf weiter zurückliegende Zeiträume. Dies gilt in besonderem Maße auch für die einzige iranische Sprache, die das Nartenepos kennt, nämlich das Ossetische: Die Osseten werden heute allgemein als Nachfahren der nordiranischen Skythen und Sarmaten bzw. der mittelalterlichen Alanen angesehen; weder von den Skythen noch den Alanen sind aber Zeugnisse vorhanden, die über eine geringe Anzahl von Personennamen und äußerst fragmentarische Inschriften hinausgehen. Nennenswert sind allenfalls noch die Angaben in antiken Quellen.

0.3. In diesem Sinne hat besonders G. Dumézil versucht, aus den oss. Nartensagen, die seit der Mitte des letzten Jahrhunderts aufgezeichnet wurden, Rückschlüsse auf die Vorgeschichte der Osseten als eines iranischen Volkes zu ziehen. Sein Hauptanliegen war dabei »la fidélité étonnamment prolongée des Ossètes... à une structure de pensée qui ne correspond plus, et depuis fort longtemps, sans doute depuis plus de deux mille ans, à une organisation sociale, et le maniement lucide qu'ils font de thèmes... qui ne se comprennent que par référence à cette structure.«² Diese Struktur ist die sog. »idéologie tripartite«, die Dumézil über die gesamte alte Indogermania verbreitet sehen will: Dumézil glaubt, in der Zugehörigkeit der ossetischen Nartenhelden zu ursprünglich drei Familien (ALÆGATÆ, ÆXSÆRTÆGKATÆ, BORÆTÆ) dasselbe, idg. Gesellschaftssystem wiederzufinden, das sich nach seinen Ansichten vor allem auch im ursprünglich dreiteiligen Kastensystem der Hindus (Priester/ Brahmanen, Krieger/Ksatriyas, Händler/Vaiśyas) spiegelt. Entscheidendes Argument Dumézils ist dabei, daß innerhalb der Nartenepen der verschiedenen kaukasischen Völker das iranische, ossetische, das einzige ist, das eine solche Dreierstrukturierung aufweist.

0.4. Nicht diese umfassende Deutung der »nartischen« Gesellschaft soll hier im folgenden weiter behandelt werden, sondern die Frage, inwieweit auch andere kulturelle Gegebenheiten einer vergangenen Zeit, die keinen direkten Zugriff mehr gestattet, durch die Nartensagen ans Licht gelangen.

Die Grundlage soll dabei eine der bei den Osseten verbreitetsten Erzählungen liefern, die auch von Dumézil, in Bezug auf die von ihm untersuchte Problematik, eingehender behandelt worden ist. Es handelt sich um die Sage *Wie SATANA WYRYZMÆGs Frau wurde*; wir geben im Folgenden die — unseres Wissens — erste deutsche Übertragung der Sage, wobei wir von dem Text ausgehen, der in der Sammlung *Narty kaddžytæ* abgedruckt ist.³

1. Wie SATANA WYRYZMÆGs Frau wurde

Als WYRYZMÆG das Mannesalter erreicht hatte, heiratete er die schöne ELDA aus der (Familie der) ALÆGATÆ. Auch SATANA begann, heranzuwachsen: in einem Monat wuchs sie, wie andere in einem Jahr, in einem Jahr, wie andere in drei Jahren. Keine war ihr gleich an Gestalt und Aussehen — goldhaarig und glutäugig (wie sie war).

Als sie in das Alter gekommen war, sich einen Mann zu suchen, da sagte sie zu sich (in ihrem Hause): »Sicher werde ich heiraten, aber wo ein Bräutigam für mich ist, das weiß ich nicht.« Sie sann nach, aber selbst unter den Engeln fand sie keinen, der strahlender und klüger gewesen wäre als (ihr Bruder) WYRYZMÆG. (So) beschloß sie in ihrem Herzen: »Ach, wenn nicht WYRYZMÆG mein Mann wird, heirate ich nicht!«

Was soll SATANA nun aber tun: es ihm mit eigenem Munde zu sagen, das wagt sie nicht, es ihm durch jemand anderen kundzutun, das wünscht sie auch nicht. Und so

sagt sie zu sich selbst: »Nun, ich will meine Scham unterdrücken und mich selbst zu ihm wagen.«

Und sie sagte zu WYRYZMÆG: »WYRYZMÆG, niemand verschenkt ja ein Gut, das er hat. (Auch) ich bin zu schade, in eine fremde Familie überzuwechseln; es gibt kein anderes Mittel, (das zu verhindern,) als daß du mein Mann wirst!« WYRYZMÆG wurde rot bis über beide Ohren, die Haare auf dem Kopf standen ihm zu Berge: »Davon darfst du nicht einmal mehr eine Andeutung machen!« sagte er, »es ist eine Schande vor den Leuten, mit was für einem Gesicht würde ich dann noch unter die Narten treten (können).«

Die Zeit verging, wer weiß, wieviel, und eines Tages beschloß WYRYZMÆG, ein Jahr auf eine Reise zu gehen, und er sagt zu seiner Frau ELDA: »Ich gehe ein Jahr auf eine Reise, also bereite Speise und Trank für meine Rückkehr vor ; die Leute werden kommen, um mich willkommen zu heißen.« Und er ging auf die Reise. Als der Jahrestag sich näherte, da begann seine Frau, für seine Rückkehr Rong⁴ zuzubereiten. Ihre Brühe machte sie gut, aber als sie die Hefe daraufgab, da wollte es nicht gären. Dafür war SATANA (verantwortlich, die über alle) himmlischen und irdischen Zauberkünste (verfügt): sie wendete einen Zauber an und ließ (das Rong) nicht gären. ELDA begann, sich zu beunruhigen; einmal stürzt sie zu ihrem Rong, einmal zu SATANA: »Mädchen, der Tag meiner Schande ist gekommen! Mein Rong gärt nicht mehr; wenn dein Bruder mich (so) hilflos antrifft, dann bringt er mich um!«

— »Und was soll ich für dich tun?« sagt ihr SATANA. »Meine Sache ist das nicht.« Aber das beruhigte ihre Schwägerin nicht — wieder einmal stürzt sie zum Rong, wieder einmal ins Zimmer zu Satana: »Was soll ich tun, meine Seele hat sich (bereits) enger als ein Haar zusammengezogen, mein Untergang ist gekommen!«

Als sich SATANA überzeugt hat, daß ihre Schwägerin in tiefer Not ist, sich vor ihrem Mann fürchtet und keinen Ausweg mehr weiß, da sagt sie: »Schöne ELDA, wenn du mir dein Brautkleid abtrittst und dein Kopftuch, dann will ich WYRYZMÆG in der Nacht einen Streich spielen (und) für dich auch das Rong zum Gären bringen.« — »Gut,« sagte die Schwägerin.

SATANA kam, braute ein anderes Gebräu zusammen und ließ das Rong gären. Inzwischen kam auch WYRYZMÆG schon zurück. Ein Festgelage veranstalteten sie, die Narten tranken das Rong. Am Abend des Festes gingen die Leute zu ihren Häusern zurück. SATANA zog sich ELDAs Brautkleider über und betrat in der Nacht WYRYZMÆGs Zimmer. WYRYZMÆG erkannte sie nicht, er nannte sie die eigene Frau.

»Mädchen aus der ALÆGATÆ (-Familie), heute warst du besser als in der ersten Nacht,« sagt er ihr. — »Das ist eine Eigenschaft unserer Familie,« antwortete das Mädchen, damit er nicht in Argwohn geriet.

In der Nacht ließ SATANA an der Zimmerdecke den Mond und die Sternenlichter erscheinen. Als es Tag wird, da sagt WYRYZMÆG: »Es wird nun Tag, Zeit, aufzustehen.«

— »Wo ist denn schon Tag? Schau doch hinauf, noch immer stehen Mond und Sternlichter am Himmel,« sagte SATANA.

ELDA klopfte an die Tür, lief hin und her, und als sie die Tür nicht öffneten, da brach ihr das Herz vor Zorn — sie starb. Als SATANA das erkannte, da löschte sie den Mond und die Sterne an der Decke und sagte dem Mann: »Steh auf, jetzt ist es Tag.« Als WYRYZMÆG sie anschaute, da erstarrte er und sagte : »Das bist ja du, SATANA!« Sie sagte ihm: »Und mit wein bist du also von gestern abend bis heute morgen zusammen gewesen ?« Was konnte WYRYZMÆG da noch machen?

Sie bestatteten die Tote. WYRYZMÆG war bekümmert: »Du hast mir eine Schande angetan, SATANA! Wie können wir noch unter den Narten leben, mit was für einem Gesicht können wir uns ihnen noch zeigen ?« — »Die Nachrede der Leute (währt nur) zwei Tage, viel Schande gibt es nicht,« sagte SATANA. »Ich werde dir ein Mittel sagen, damit die Schande vorübergeht. Dreh dich um, setze dich verkehrt auf einen Esel und mache so drei Runden über den Marktplatz. Schau dir die Leute auf dem Marktplatz an und sage mir dann, wer was macht.«

WYRYZMÆG setzte sich verkehrt auf einen Esel und ritt über den Marktplatz. Die Nartengesellschaft, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung — sie zerbarsten vor Lachen, nicht einmal mehr stehen konnten sie vor Lachen. Er kam wieder zurück, einige lachten noch, einige nicht mehr, viele schauten nicht einmal mehr hin, viele fragten sich aber doch in Sorge, »ist unser Anführer WYRYZMÆG verrückt geworden?« Noch einmal kam er her, und überhaupt keiner lachte mehr über ihn. »Er hat sich nicht einfach so verkehrt auf einen Esel gesetzt, irgendeinen Hintergedanken wird er wahrscheinlich schon haben,« sagten die Leute.

WYRYZMÆG kehrte zurück zu seinem Haus, und SATANA fragt ihn: »Na, was haben die Leute gemacht?« — »Als ich zum ersten Mal hinkam,« sagte WYRYZMÆG, »da zerbarsten die Leute vor Lachen, nicht einmal mehr stehen konnten sie vor Lachen. Als ich wieder zurückkam, lachten einige noch, einige nicht mehr, viele aber gerieten in Sorge: 'Ist unser Anführer WYRYZMÆG verrückt geworden?' Als ich die dritte Runde machte, da lachte niemand mehr über mich, und sie sagten: 'Er ist nicht verrückt, er wird sich auch nicht einfach nur so verkehrt auf einen Esel gesetzt haben, sondern er hat wahrscheinlich einen Hintergedanken dabei.'« SATANA sagte ihm: »Genauso ist es auch mit unserer Sache: sie werden über uns lachen, dann aber wird keiner mehr auch nur einer. Gedanken darauf verschwenden.«

Als die Leute erfuhren, daß WYRYZMÆG seine Schwester geheiratet hatte, da lachten sie zuerst über sie, dann aber dachte tatsächlich niemand mehr an sie. So blieben SATANA und WYRYZMÆG Mann und Frau fürs Leben.

2.1. Das Handlungsgerippe der Erzählung läßt sich wie folgt wiedergeben: S(ATANA) will unbedingt ihren Bruder W(YRYZMÆG) zum Mann. Der kann nicht einwilligen, da eine solche inzestuöse Verbindung undenkbar ist

und er bereits mit E(LDA) verheiratet ist. Um ihren Willen durchzusetzen, greift S zu einer List; der Inzest wird vollzogen. Ss Rivalin E stirbt aus Kummer, einer Verehelichung von S und W steht nurmehr Ws Furcht vor der damit verbundenen Schande im Wege. Durch ein an ihm selbst vollzogenes Exempel beweist S ihrem Bruder, daß die Nachrede bei den Mitmenschen nur äußerst kurz währt: die Narten werden sich auch an ihre inzestuöse Verbindung gewöhnen.

2.2. Bei Dumézil steht der angesprochene Inzest im Vordergrund: für S kommt seiner Ansicht nach deshalb nur W als Mann in Frage, weil in der idg. idéologie tripartite eine Eheschließung nur auf der gleichen Gesellschaftsebene, bei den Narten also nur innerhalb der gleichen Familie möglich ist.

Bei uns soll nun neues Licht auf das Verfahren geworfen werden, das S anwendet, um ihren Bruder von der Kurzlebigkeit der öffentlichen Nachrede zu überzeugen. Es geht um den dreimaligen Ritt über den Marktplatz, den W, rückwärts auf einem Esel sitzend, ausführen soll.

2.3. Überraschenderweise spielt nämlich ein solcher »verkehrter« Eselsritt in den verschiedensten Kulturkreisen Europas und Asiens eine genau definierte Rolle: Er wird von Indien bis Westeuropa als Strafmaßnahme überliefert, mit der zumeist Ehebrecher oder Ehebrecherinnen öffentlich vorgeführt werden.

2.3.1. Die wohl älteste Überlieferung einer solchen Praxis begegnet uns in der griechischen Antike, und zwar wird sie bei Plutarch für die kleinasiatische Stadt Kyme, bei Nikolaos von Damaskus für das ebenfalls kleinasiatische Volk der Pisider erwähnt.

Plutarch schreibt:⁵ »Τίς ἢ παρὰ Κυμαίοις ὀνοβάτις;« τῶν γυναικῶν τὴν ἐπὶ μοιχείᾳ ληφθεῖσαν ἀγαγόντες εἰς ἀγορὰν ἐπὶ λίθον τινὸς ἐμφανῆ πᾶσι καθίστασαν. εἰθ' οὕτως ἀνεβίβαζον ἐπ' ὄνον, καὶ τὴν πόλιν κύκλῳ περιαχθεῖσαν ἔδει πάλιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν λίθον καταστῆναι καὶ τὸ λοιπὸν ἄτιμον διατελεῖν, »ὀνοβάτιν« προσαγορευομένην. τὸν δὲ λίθον ἀπὸ τούτου οὐ καθαρὸν νομίζοντες ἀφωσιοῦντο. (»Wer ist die Eselreiterin bei den Kymern?« Wenn eine Frau beim Ehebruch ergriffen wurde, führte man sie auf den Marktplatz und stellte sie auf einen bestimmten Stein, allen sichtbar. Dann ließ man sie auf einen Esel steigen, und nachdem sie rings um die ganze Stadt geführt worden war, mußte sie sich wieder auf denselben Stein setzen und im weiteren ehrlos bleiben, »Eselsreiterin« genannt. Den Stein hielt man danach für unrein und entsühnte ihn.)

Hier ist also ausdrücklich von Ehebrecherinnen die Rede. — Auf Plutarch beruht offenbar auch die Hesych-Glosse⁶ [ὀνοβόσιδες] ὀνοβάτιδες· αἱ ἐπὶ μοιχείᾳ ἀλοῦσαι γυναῖκες καὶ ἐξενεχθεῖσαι ἐπὶ ὄνων. (Eselsreiterinnen:

Frauen, die beim Ehebruch ergriffen wurden und öffentlich auf Eseln vorgeführt wurden.)

Möglicherweise geht die Nachricht des Plutarch selbst schon auf aristotelische Bekundung zurück, wie K. Latte vermutet⁷.

Für Ehebrecher beiderlei Geschlechts gilt die Strafe bei den Pisidern; bei Nikolaos von Damaskus heißt es an der betreffenden Stelle, die in der Anthologie des Ioannes Stobaios überliefert ist:⁸ (Πισίδαι·) ἐὰν δὲ μοιχὸς ἀλῶι, περιάγεται τὴν πόλιν ἐπὶ ὄνου μετὰ τῆς γυναικὸς ἐπὶ ἡμέρας τακτάς. (Wenn ein Ehebrecher ergriffen wird, wird er mit der Frau auf einem Esel an festgesetzten Tagen durch die Stadt herumgeführt.)

2.3.2. Ohne daß irgendein Zusammenhang mit den antiken Bräuchen zu bestehen braucht, lassen sich vergleichbare Verfahren auch im Europa des Mittelalters und der frühen Neuzeit belegen. Eine umfangreiche Dokumentation dazu liefert J. Grimm in seinen »Deutschen Rechtsalterthümern«.⁹

Eselsritt, eine frau, welche *ihren mann geschlagen hatte*, musste rückwärts auf einem esel reiten und dessen schwanz haltend *durch den ganzen ort* ziehen, dieser gebrauch herrschte namentlich zu Darmstadt... Hatte die frau den mann hinterlistig, ohne daß er sich wehren konnte, geschlagen, so führte der frankensteiner bote den esel, war er hingegen in offener fehde von ihr besiegt worden, musste er den esel selbst leiten. ...Ohne zweifei findet sich diese strafe noch an andern orten und nicht allein für die schlagende frau, sondern auch für *e h b r e c h e r i n n e n*, *e h b r e c h e r*, meineidige. Non ejus sit memoria, set in *asella retrorsum sedeat et caudam in manu teneat*. (a. 1131) Muratori ant. Ital. 2, 332; *contrains et condempnez* (manner, die sich sehlagen laßen) à *chevauchier un asne*, le visaige par devers la queue dudit asne. *coust. de la ville de Senliz* von 1375; andere urk. aus Saintonge u. Dreux von 1404. 1417 gibt Carpentier s.v. *asinus*, 3.; *praeterea antiquae leges puniunt sacramentum falsum, ut ponantur super asinum cum cauda in manu* et quod a parvulis cum ovis lapidentur et *cum tympanis* (...) associant *per civitatem*. Barleta (lebt um 1420) *sermones*, ser. 5. hebdom. 3. quadrag. ...

Über ähnliche Bräuche in England, die sich dort unter der Bezeichnung *to ride skimmington* oder *to ride stang* bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts gehalten haben, berichtet F. Liebrecht.¹⁰

2.3.3. Weit verbreitet war der Eselsritt als Strafmaßnahme auch außerhalb von Europa. Einiges Material findet sich zunächst für Indien; hier erfahren wir von dieser Sitte vor allem aus Erzählungen und Märchen.

2.3.3.1. Eine solche Erzählung veröffentlichte A. W. v. Schlegel in deutscher Übersetzung unter dem Namen »Die vier einfältigen Brahmanen« in seiner Zeitschrift »Indische Bibliothek«¹¹.

Hier geht es um einen Brahmanen, dem ein Barbier zuviel gezahlten Lohn nicht zurückerstattet. Der Brahmane, der sein Geld nicht ohne Gegenleistung gegeben haben will, läßt von dem Barbier dafür auch seine Frau kahl scheren. Dadurch aber wird ein falscher Verdacht beim Volk erweckt; der einfältige Brahmane erzählt: »Der Schelm von Barbier ... hatte seine Schadenfreude daran, die Geschichte überall zu verbreiten, so daß ich allen Einwohnern des Orts zum Gespötte wurde. Die bösen Zungen ... ermangelten nicht zu verstehen zu geben, ich hätte meiner Frau nur deswegen den Kopf kahl scheeren lassen, um sie für den Bruch der ehelichen Treue zu bestrafen. Die Nachbarn versammelten sich haufenweise vor der Thüre meiner Wohnung, sie führten sogar einen Esel herbei, um die angeblich Schuldige darauf zu setzen, und sie, das Gesicht dem Hintertheil des Thiers zugekehrt, durch alle Straßen zu führen; denn dies ist die Züchtigung womit bei uns das Volk die Frauen zu beschimpfen pflegt, deren Liederlichkeit ruchbar geworden ist.¹²

2.3.3.2. Der Brauch, Ehebrecherinnen auf dem Esel öffentlich zur Schau zu stellen, kommt auch in einer Erzählung der *Vetālapañcaviṁśatikā* ans Licht.

Diese Erzählung handelt von einer verheirateten Frau, die zu einem nächtlichen Rendezvous mit einem Liebhaber geht; diesen findet sie aber an Ort und Stelle tot vor. Als die Frau sich über ihn beugt, fährt ein Dämon in den Toten und beißt ihr die Nase ab. Nach Hause zurückgekehrt, beschuldigt die Frau ihren Mann, ihr im Schlaf ohne Grund die Nase abgeschlagen zu haben. Erst ein Dieb, der der Frau in der Nacht gefolgt war und sie beobachtet hatte, kann den unschuldigen Ehemann vor Bestrafung retten, indem er den wahren Sachverhalt preisgibt. Bestraft wird nun stattdessen die Frau.

In den einzelnen Überlieferungen der *Vetālapañcaviṁśatikā* in Sanskrit-Handschriften und in mittelindischen und neuindischen Übersetzungen fällt die Bestrafung der Frau nun nicht völlig gleich aus. Am ausführlichsten dargestellt ist sie wohl in der Hindi-Fassung, die W. B. Barker herausgegeben und ins Englische übertragen hat; dort heißt es:¹³

Rājā ne us raṁḍī kā muṁh kālā karvā, sir muṁḍvā, gadhe par caḍvā, nagarī ke phere dilvā chuṛvā diyā. (»The king having had that woman's face blackened, and her head shaved; having set her upon an ass, and caused her to be carried round the city, he let her go.«)

Die vorliegenden Sanskrit-Fassungen geben weniger Details; in der ersten Ausgabe der betreffenden Erzählung in der Anthologia Sanscritica von Chr. Lassen wird schlicht gesagt:¹⁴

Sāpi gardabham āruhya nijanagarān niṣkāsitā. (Die Frau wurde, nachdem sie einen Esel bestiegen hatte, aus der Stadt gejagt.)

Der Hindi-Version etwas näher steht der Text der Handschrift Hu₂, den H. Uhle abgedruckt hat:¹⁵

tatas tām vyābhicāriṇīm saṃgrahya śiramuḍḍanaṃ kṛtvā nāsikām, (?) ca karṇau ca chitvā rāsabhe caṭāpya nagarān niḥkāsitā. («Die ungetreue Frau wurde ergriffen, ihr der Kopf geschoren und Nase und Ohren abgeschnitten, dann wurde sie auf einen Esel gesetzt und aus der Stadt gejagt.»)

Es ist zwar in keiner der Bearbeitungen die Rede davon, daß die Frau **v e r k e h r t** auf dem Esel habe sitzen müssen, doch dürfte es keinem Zweifel unterliegen, daß zumindest die Funktion des Anprangerns durch einen Eselsritt auch bei dieser Textstelle im Hintergrund stand.

2.3.3.3. Als institutionalisierte Strafe wird der Eselsritt nämlich auch in hinduistischen Rechtsbüchern tradiert. So stellt die *Bṛhaspatismṛti* fest:¹⁶

sahasā kāmayed yas tu dhanam tasyākhilam haret / utkṛtya liṅgavṛṣaṇau bhrāmayed gardabhena tu// (Einem, der sich mit Gewalt Liebe verschafft, soll man den gesamten Besitz abnehmen; ihm sollen Glied und Hoden abgeschnitten werden, und er soll auf einem Esel herumgeführt werden.)

Eine ähnliche Bestrafung auch für Ehebrecherinnen bestimmen nach P. V. Kane die *Smṛticandrikā* und das *Vyavahāramayūkha*:¹⁷

»... the king should punish the Brāhmaṇa woman ... by forcible tonsure and riding on an ass in case of adultery with a Kṣatriya or Vaiśya.«

2.3.4. Bodenständig ist der Prangerritt auf dem Esel nach dem Ausweis von Erzählungen und Berichten auch in weiten Gebieten Mittel- und Vorderasiens gewesen. Dabei sind es vor allem türkische Völker, bei denen er nachgewiesen werden kann.

2.3.4.1. So enthält die Sammlung von Texten, die W. Radloff von einem Angehörigen des Taranči-Stammes in Mittelasien aufgenommen und im 6. Band seiner *Proben der Volksliteratur der nördlichen türkischen Stämme* ab-

gedruckt hat, den folgenden Bericht über die Bestrafung zweier Diebe, die ihre Frauen zur »Buhlerei« angehalten haben und gefaßt wurden.¹⁸

Ахуллар уларнї шәрият һөкмә билән сурап әрләриниң колнї аркесїға бағлетип үзїгә кара сүрүп хотулларнїниң үзїгә кара сүрүп ашәккә тәтүр міндүрүп ашәкннн чумбурнн у хотулларннн әрннн боинға бағледї, боинбилән ашәкннн јөтүлләтип һәр кәсннн икідин кншн чубукбилән сокуп кншкнрдн, мантучнлнк кнлғанннн јазәсн шубу ! дәп чубук сокуду. («Die Achune verhörten sie dem Scheriät gemäss, liesen die Arme den Männern auf den Rücken binden, färbten ihre und ihrer Frauen Gesichter schwarz, setzten die letztern verkehrt auf Esel, banden die Leitstricke der Esel ihren Männern an den Hals, so dass sie die Esel mit dem Halse führten, jelen derselben sehlugen zwei Menschen mit Stöcken und riefen: 'Dies ist die Strafe für jeden, der Buhlerei treibt.'»)»

2.3.4.2. Wiederum als Strafe für Ehebrecherinnen begegnet uns der Eselsritt in einer Erzählung, die dem Zyklus um den türkischen Volkshelden Nasreddin Hodscha zuzurechnen ist. In der Sammlung *Die Schwänke des Nasreddin und Buadem* von M. Tewfik lautet sie (in deutscher Übersetzung) wie folgt:¹⁹

»Buadems Vater gab seiner Frau drei Dirhem und schickte sie auf den Markt um Fleisch zu kaufen. Als die Frau auf den Markt ging, traf sie zufällig einen Liebhaber. Während sie auf der Straße miteinander plauderten, nahm man sie fest und brachte sie zu dem Stadtpräfekten. Der Stadtpräfekt befahl, die Frau verkehrt auf einen Esel zu setzen und durch die Stadt zu führen. Sogleich setzte man die Frau in dieser Weise auf einen Esel und führte sie umher.....«

Das Original dieser Erzählung dürfte aus dem nordafrikanischen Raum stammen. So erschien sie in der Sammlung *Nawadir el-chodscha nasr ed-din effendi dschoha*²⁰ und wurde von R. Basset ins Französische übersetzt;²¹ dort ist allerdings von einem Bullen als Reittier die Rede. Wenn in der türkischen Fassung der Bulle durch einen Esel ersetzt ist, kann dies durchaus auf einer Adaption an bestehende türkische Bräuche beruhen.

2.3.4.3. Möglicherweise gehört in diesen Zusammenhang auch folgender Beleg, der uns in eine viel frühere Zeit zurückführt. Er stammt aus dem wohl ältesten überlieferten georgischen Text, dem *Martyrium der hl. Šušānik*, das um 480 n. Chr. von dem christlichen Priester Jakob v. Curtav aufgezeichnet wurde.

Dem georg. Prinzen Varsken wird vom Perserkönig das Amt des Statthalters in Georgien übertragen; er sagt sich deshalb vom christlichen Glauben seiner Väter los und bekennt sich zum Zoroastrismus. Als sich seine Frau Šušaniḡ, Tochter des armenischen Feldherrn Vardan, weigert, das gleiche zu tun, wirft er sie unter schweren Züchtigungen in den Kerker. Nach einiger Zeit läßt er ihr mitteilen:²² »*anu nebaj čemi ğav da moved ta grad; uġuetu ara moxvide šina, čord.cargce šen anu ĵarad ĵaraulita*« (»Tu mir meinen Willen und komme zum Palast; wenn du nicht kommst, schicke ich dich mit einem Esel nach Tschor oder zum Königshof.«).

Hier wird zwar, ebenso wie in der Erzählung der *Vetālapañcaviṃśatikā* (2.3.3.2.), nicht von einem verkehrten Aufsitzen gesprochen, jedoch ist hier wie dort die ausdrückliche Nennung des Esels als Reittier kaum anders zu motivieren, als daß diesem eben eine besondere, anprangernde Funktion zukommt. Natürlich handelt es sich bei der vorliegenden Stelle nicht um einen Ehebruch im eigentlichen Sinne, der angeprangert werden soll; dennoch besteht für Varsken ein Verstoß gegenüber ehelichen Verpflichtungen, im Falle daß Šušaniḡ ihm nicht gehorcht. Die Anprangerung mittels des Eselsritts hat sich im Georgischen übrigens in einer festen Redewendung niedergeschlagen: *virze uġġma vzivar* »verkehrte auf dem Esel sitzen«, d. h. »in Schande geraten«; cf. K. Tschenkléi, *Georgisch-Deutsches Wörterbuch*, Bd. III, Zürich 1974, S. 2437.

2.3.5. An allen bisher angeführten Stellen waren die Vergehen, die mit dem Prangerritt auf einem Esel bestraft wurden, solche aus dem Bereich von Ehe und Sexualleben. Viel seltener begegnen uns Angaben, daß auch andere Vergehen eine solche Bestrafung nach sich ziehen konnten. Die uns bekannten Fälle — sämtlich ebenfalls aus dem vorderasiatischen Raum — seien hier kurz verzeichnet.

2.3.5.1. B. Spuler weist für den Iran in frühislamischer Zeit nach, daß der Prangerritt für besonders hochgestellte Delinquenten in Frage kam:²³ »Abgesetzte Wesire oder Statthalter, ebenso prominente Gefangene, brachte man gern zum Gespött der Bevölkerung in einem lächerlichen Gewände aus Fuchschwänzen oder aus Filz, **verkehrt auf einen Esel**, ein Kamel oder auch einen Elefanten gesetzt, in die benachbarte Stadt oder die Residenz ein.«

2.3.5.2. I. Laude-Cirtautas zitiert eine Mitteilung von Ş. Elçin aus Ankara; danach setzte man »noch bis vor nicht langer Zeit in Süd- und Mittelanatolien . . . diejenigen verkehrt auf einen Esel und schwärzte ihre Gesichter, die im Monat Ramazan das Fastengebot nicht einhielten.«²⁴

2.3.5.3. Erwähnt sei hier letztlich noch eine weitere Erzählung aus dem Nasreddin-Hodscha-Zyklus, die in deutscher Übersetzung nach einer serbi-

schen Quelle von A. Wesselski veröffentlicht ist.²⁵ Hier muß jemand, der ein falsches Zeugnis abgelegt hat, den Prangerritt durch die Stadt absolvieren; allerdings reitet er dabei — verkehrt sitzend — auf einem Pferd. Varianten dieser Erzählung sind uns nicht bekannt.

2.4. Trotz der zuletzt angeführten Gegebenheiten kann man wohl davon ausgehen, daß der Prangerritt auf einem Esel, wo immer er überliefert ist, *p r i m ä r* als Strafmaßnahme für Vergehen diente, die mit Ehe und Sexualleben zu tun haben. Dafür spricht nicht nur, daß dieser Zusammenhang am weitesten verbreitet ist, sondern auch, daß er offenbar recht gut mit gewissen primitiven Vorstellungen übereinstimmt, wonach gerade der Esel mit einer ausschweifenden Sexualität assoziiert wird. So vermerkt M. Bethmann im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens:²⁶ »Der Eselsritt spielt zwar als Strafe auch bei anderen Verbrechen eine Rolle; aber mit dem E(hebruch) stand der Esel, das Tier des Priapus-Pales, stets in besonderer Beziehung, literarisch besonders seit Apuleius 'Goldenem Esel'. Daher wird auch Vesta als jungfräuliche Mutter, mit dem Kinde im Arm, auf einem Esel reitend dargestellt.« Diese verbreitete assoziative Verbindung dürfte sich auf die »so oft hervorgehobenen ithyphallischen Eigenschaften« des Esels²⁷ gründen; möglicherweise spielt aber auch die Beobachtung eine Rolle, daß gerade der Esel dasjenige Tier (in Eurasien) ist, das sich nicht nur mit seinesgleichen fortpflanzt, sondern auch (mit dem Pferd) »fremdgeht«. Auf diese Eigenschaften weisen z. B. bereits vedische Texte hin; s. dazu zuletzt die Zusammenstellung bei W. Rau.²⁸

3. Es erhebt sich nun die Frage, welche Schlüsse sich aus den bisherigen Ausführungen für die vorliegende Nartenerzählung ergeben. In dieser Erzählung handelt es ja nicht einfach um eine *B e s t r a f u n g*, die S(ATANA) durch den Eselsritt an ihrem Bruder W(YRYZMÆG) ausführen will. Dazu fehlen zweierlei Grundlagen: Einmal ist S sicher nicht diejenige (moralische) Institution, der es obläge, ihren Bruder zu bestrafen, da sie selbst die treibende Kraft bei dem Ehebruch gewesen ist. Zum andern fehlt offenbar das Verständnis der Narten, daß es sich um eine Strafmaßnahme handelt: Die geschilderte Reaktion — sie lachen, bis sie auf dem Boden liegen — deutet nicht daraufhin, daß sie die Aktion als Bestrafung durchschauen. Auch W selbst ist dieser Sinn offenbar nicht gegenwärtig.

Stattdessen hat Ws Eselsritt in der Erzählung eben eine genau definierte, andere Funktion: Er soll als Beispiel für eine Handlung dienen, die zunächst auf Zuschauer lächerlich wirkt, durch ihre Wiederholung aber ihre Komik einbüßt.

3.1. Im Zusammenhang mit dieser Konstellation läßt sich auf eine weitläufige Parallele unserer Erzählung verweisen, die schon G. Dumézil zur Illust-

ration herangezogen hat.²⁹ Es handelt sich um eine armenische Erzählung, die im Jahre 1909 in Sbagerd aufgezeichnet wurde:

Ein Armenier beschließt: Ich heirate meine Schwester. Alle Dorfbewohner sagen ihm, dies sei nicht möglich; er besteht darauf. Da raten ihm die alten Frauen des Dorfs, er solle mit seinen Ochsen den Schnee pflügen gehen. Am ersten Tag schaut sich das ganze Dorf das Spektakel an; am zweiten kommen nur noch wenige, am dritten keiner mehr. So werde es auch sein, wenn er seine Schwester heirate.

Die Erzählung schließt mit dem Hinweis,

»c'est pourquoi l'on dit en kurde: 'On a marié la sœur au frère et l'étonnement a duré trois jours'.«

3.2. Während in der armenischen Erzählung also einer, der den Schnee pflügt, der Lächerlichkeit preisgegeben ist, ist es bei den Osseten einer, der verkehrt auf einem Esel durch die Stadt reitet. Dennoch sind beide Aktionen nicht völlig gleichwertig; nur der Eselsritt läßt sich nämlich als ein *o b s o l e t* gewordener *B r a u c h* interpretieren, der, wo er seine ursprüngliche Funktion nicht mehr hat, nur mehr *l ä c h e r l i c h* ist. In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf eine Erzählung aus dem Nasreddin-Hodscha-Zyklus verwiesen, die die gleiche Konstellation zeigt:³⁰

Hoža ders oxotmaya gederken čemendere biner baħar ki mullaları arħada Ʒal'illar. Bøjle olmaz dejerek tersine biner; mullalar: efendi nicün bøjle edeñ dedikle-rinde, hoža: eñer doyrı binersem siz arħamda Ʒalırsıñ'z, bøjle binmek jaħıñır, demiş. (Der Hodscha will Unterricht halten gehen und steigt auf den Esel, da sieht er, daß die Mullahs hinter ihm bleiben. Er sagt sich, das geht so nicht, und steigt umgekehrt auf; die Mullahs fragen: Herr, warum tust du das? Der Hodscha antwortet: Wenn ich vorwärts aufsteige, bleibt ihr hinter mir zurück, so aufzusteigen wird besser sein.)

Auch hier ist der »verkehrte« Ritt auf dem Esel nur mehr ein komisches Element: Er *f u n g i e r t* nicht als Strafe oder Zurschaustellung und macht so denjenigen lächerlich, der ihn ausführt. Die Erzählung verdankt dieser Konstellation ihre Geltung als Schwank.³¹

3.3. Noch ein weiterer Unterschied besteht zwischen unserer ossetischen und der angeführten armenischen Erzählung: In der Nartensage ist ein *i n n e r e r* Zusammenhang erkennbar zwischen der lächerlichen Handlung und dem Rahmen, in den sie eingebettet ist: Der obsolete Brauch, der *W* lächerlich machen soll, fungierte *u r s p r ü n g l i c h* als eine Strafmaßnahme, die gerade bei

einem Ehebruchsvergehen wie dem vorliegenden in Frage kam. Dies machen eben die angeführten Parallelen aus Kulturkreisen wahrscheinlich, die die kaukasische Heimat der Osseten umgeben. Im gleichen Text gibt es übrigens einen weiteren direkten Hinweis auf die enge kulturelle Zusammengehörigkeit, die zwischen den Osseten und den benachbarten hauptsächlich türkischen Völkern besteht. Es handelt sich um den sprachlichen Ausdruck des Begriffes »Scham«: Wenn S beschließt, ihre »Scham« zu unterdrücken, so spricht sie wörtlich von ihrem »schwarzen Gesicht«, oss. *caу цæсгом*. Diese Ausdrucksweise findet ihre Parallelen in türkischen Redewendungen wie az. *ü z ü m g a r a* »mein Gesicht ist schwarz«, d. h. »ich schäme mich«, die I. Laude-Cirtautas zusammengetragen hat.³²

3.4. Unter der Annahme, daß sich in Ws Eselsritt eine letzte Erinnerung an einen obsoleten Brauch, den einer Strafmaßnahme für Ehebruchsdelikte, verbirgt, ist es geradezu bezeichnend, daß es im vorliegenden Text S ist, die den Eselsritt vorschlägt: S ist innerhalb der oss. Nartensagen eben die Person, die Zauberkünste und anderes Wissen aus vergangenen Zeiten bewahrt hat; vgl. in unserer Erzählung die formelhafte Charakterisierung

Сатана — арвы хин, зæххы кæлæн: »SATANA — himmlische Zauberkraft, irdische Weisheit (kennend)«.

Ähnlich charakterisiert V. I. Abaev:

»Шатана — могущественная чародейка. Она может вызывать снег и бурю, понимать язык птиц, может по желанию принимать вид старухи или молодой обольстительной женщины; взглянув в свое 'небесное зеркало'..., она видит все, что происходит на свете, и т.д.« (»SATANA ist die mächtige Zauberin. Sie kann Schnee und Sturm herbeiführen, die Sprache der Vögel verstehen, sie kann auf Wunsch die Gestalt einer Greisin oder einer jungen, verführerischen Frau annehmen; indem sie in ihren 'himmlischen Spiegel' schaut, sieht sie alles, was auf der Welt vorgeht, usw.«).³³

In diesem Sinne kann S auch um die ursprüngliche Funktion des Eselsritts gewußt haben und ihn mit voller Absicht vorgeschlagen haben. Möglicherweise erfüllt er gerade für S sogar eine zweifache Funktion: Vielleicht soll er nicht nur helfen, W von der Kurzlebigkeit der Nachrede zu überzeugen, sondern vielleicht soll W, indem er ihn ausführt, gleichzeitig (und ohne es zu wissen) auch eine Entsühnung für beider Ehebruch erreichen, die S für nötig erkannt hat.

3.5. Vorausgesetzt, daß Ws Eselsritt tatsächlich im Zusammenhang mit dem Vergehen des Ehebruchs zu sehen ist, ergibt sich noch ein letzter, inter-

essanter Aspekt der vorliegenden Nartensage. Wir haben oben gesehen, daß in den meisten orientalischen Beispielsfällen ehebrecherische F r a u e n diejenigen waren, die den Prangerritt ausüben mußten. Wenn nicht, dann handelte es sich um Vergewaltigung (2.3.3.3.), Zuhälterei (2.3.4.1.), oder aber um Vergehen außerhalb des Bereichs von Ehe und Sexualleben (2.3.5.). Dies ist nicht verwunderlich: In den meisten der zugrundeliegenden, patriarchalischen Kulturen ist die Stellung der Frau in der Ehe durchaus eine andere als die des Mannes; durch Betrug des Gatten einen »Ehebruch« begehen kann dort ursprünglich nur die Frau. Vgl. dazu die Ausführungen von J. A. McCulloch in der *Encyclopaedia of Religion and Ethics*:³⁴

That, at the lower stages of civilization, adultery is regarded as an offence against the proprietary rights of the husband, is borne witness to by the fact that it is an offence only from the husband's point of view. With the rarest exceptions has the wife any redress when the husband himself offends, and it is only at higher levels of civilization that she has any general *right* to complain.«

Für die Skythen und Sarmaten als die präsumptiven Vorfahren der Osseten wird nun gemeinhin angenommen, daß sie keine patriarchalische, sondern eine matriarchalische Gesellschaftsordnung gehabt hätten; darauf gibt es Hinweise bei den antiken Autoren, z. B. bei Pseudo-Skylax, der sie als *γυναικοκρατούμενοι* bezeichnet.³⁵ Interpretieren wir den Hintergrund der vorliegenden Nartensage auf matriarchalischer Basis, so ist W als Mann genau in der Rolle der ehebrecherischen Frauen z. B. der genannten indischen Erzählungen. Deshalb ist es auch er, an dem, wie im vorhergehenden Abschnitt angenommen, die »Strafe« vollzogen werden muß.

Vielleicht liefert also gerade die Erzählung *Wie SATANA WYRYZMÆGS Frau wurde* einen neuen Hinweis auf die matriarchalische Vergangenheit der Osseten.

NOTIZEN

¹ Vgl. V. I. Abaev, *Istoriko-étimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka*. Tom III, Leningrad 1979, S. 39 f. s. v. Satána; vgl. weiter Narty, *Adygskij geroičeskij épos*. Moskva 1974, S. 348.

² G. Dumézil, *Mythe et épopée: L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens*, Paris 1968, S. 569.

³ Narty *kaddžytæ*, *Dykkag rawağd. Nartskie skazanija, izd. vtoroe*, hrsg. v. V. I. Abaev u.a. Ordžonikidze 1975, S. 41-44; vergleichbare Ausgabe auch z.B. in Narty *kaddžytæ*, Džæudžyqæu 1946, S. 25-31.

⁴ Rong, ein metartiger Rauschtrank, ist das »Nationalgetränk« der Narten; vgl. V. I. Abaev, *Osetinskij jazyk i fol'klor* I. Moskva/Leningrad 1949, S. 348-353; ders., *Istoriko-étimologičeskij slovar'*... Tom II, Leningrad 1973, S. 421 f.

⁵ *Plutarchi moralia* 291 E-F (*Αἷτια Ἑλληνικά*, 2.) (*Plutarch's Moralia with an English transl.* by F. C. Babbitt, in 15 vols., vol. 4, London 1957, S. 177).

⁶ *Hesychii Alexandrini Lexicon*, rec. K. Latte, Vol. II, Hauniae 1966, S. 764.

⁷ In: *Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*. Neue Barb., begonnen v. G. Wissowa, 35. Halbbd., Stuttgart 1939, S. 484; vgl. auch ders. in: *Hermes, Zeitschrift für Klassische Philologie*, Bd. 36, 1931, S. 156.

⁸ In: *Fragmenta Historicorum Graecorum*, coll. . . C. Müller, Vol. III, Paris 1883, S. 461 f.; *Die Fragmente der griechischen Historiker (F. Gr Hist)*, ed. F. Jacoby, 2. Tl., Berlin 1926, S. 385; *Ioannis Stobaei Anthologii libri duo posteriores*, rec. O. Hense, Vol. II (= *Ioannis Stobaei Anthologium*, rec. C. Wachsmuth et O. Hense, Vol. IV, Pars prior), Berolini 1909, S. 167.

⁹ J. Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer*. Andere Hälfte, Göttingen 1828, S. 722 f. — Hervorhebungen durch Sperrdruck von uns.

¹⁰ F. Liebrecht, *Zur Volkskunde. Alte und neue Aufsätze*. Heilbronn 1879, S. 384-388.

¹¹ *Indische Bibliothek*, Eine Zeitschrift v. A. W. v. Schlegel, 2. Bd., Bonn 1827, S. 265-283; darin im besonderen S. 272-275.

¹² *Indische Bibliothek* ... S. 273 f. — Hervorhebung von uns.

¹³ *The Baitál Pachisī or, Twenty-five Tales of A Demon*, a new ed. ... by W. B. Barker, ed. by E. B. Eastwick, Hertford 1855, S. 131. Vgl. auch *Baitál Pachisī* . . . in deutscher Bearb... v. H. Oesterley, Leipzig 1873: *Bibliothek orientalischer Märchen und Erzählungen*, 1. Bändchen, S. 66 und 189 ff.; vgl. weiter F. Lancereau in: *Journal asiatique* 4e sér., Tome 18 (1851), 388 f.

¹⁴ *Anthologia sanscritica glossario instructa* . . . ed. Chr. Lassen, denuo adornavit I. Gildemeister, Bonnae 1865, S. 22, Z. 16 (die erste Auflage hat niṣ kāśitā). Ähnlich auch *Vetālpapañcaviṇṇatikā*, ed. H. Uhle, Leipzig 1881 *Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes*, Bd. 8, Nr. 1, S. 18, Z. 1: *sā ca gardabham āropya nijanagarān nishkāśitā*. Vgl. auch ib., S. 123.

¹⁵ H. Uhle, Die *Vetālpapañcaviṇṇatikā* des Śivadāsa nach einer Handschrift von 1487 (*saṃv.* 1544). *Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl* I, 66. Bd., 1. Ht., Leipzig 1914, S. 37 Anm.; Übers. in: *Vetalapantschavinsati*, dt. v. H. Uhle, München 1924. *Meisterwerke orientalischer Literaturen*, 9. Bd., S. 203, (Anm.) 36.

¹⁶ Text nach: *History of Dharmasāstra*. ed. P. V. Kane, Vol. III, Poona 1946. Government Or. Ser. B. 6, S. 532, note 979. Etwas anders in: *Bṛhaspatismṛti* (reconstructed). K.V.R. Aiyangar, Baroda 1941, Gaekwad's Or. Ser. 85, S. 190 (B. 24, 23): *sahamāyaḥ kāmayate dhanam* ... (Einem, der sich durch List Liebe verschafft, soll man den Besitz ...)

¹⁵ *History of Dharmasāstra*. ed. P. V. Kane, Vol. I, Poona 1930, Government Or. Ser., B, 6: S. 235. Vgl. auch *The Laws of Manu*, transl. G. Bühler, *Sacred Books of the East* 2b, repr.

Delhi 1982, S. 318 (VIII, 370): »But a woman who pollutes a damsel shall instantly have (her head) shaved or two fingers cut off, and be made to ride (through the town) on a donkey.»

¹⁸ *Obrazcy narodnoj literatury severnyx tjurkskix plemen, sobr.* V. V. Radlovym, č. VI: *Narečie Tarančej / Proben der Volksliteratur der nördlichen türkischen Stämme, ges ... v. W. Radloff, VI. Thl.: Dialect der Tarantschi.* [Textband / Übersetzungsband], Text: Textband S. 63; Übersetzung: Übersetzungsband S. 84.

¹⁹ *Die Schwänke des Naßr-ed-din und Buadem, v. Mehemed Tewfik.* übers. v. E. Müllendorff, Leipzig o. J., Reclam's Universal-Bibliothek, 2735, S. 81 (Nr. 101 Buadem). Vgl. weiter *Der Hodscha Nasreddin ...* ges. v. A. Wesselski, II. Bd., Weimar 1911: *Narren, Gaukler und Volksliebtinge*, III/2, S. 7 f. (Nr. 349) und S. 185 (Anm. zu Nr. 349).

²⁰ Zitiert nach *Der Hodscha Nasreddin* a.a.O.

²¹ In: *Revue des traditions populaires* Tome 17 (1902), 96 (Nr. 616).

²² *Iağob Curğ aveli, Marğvilobaj Şuşaniğ isi*, ed. I. Abuladze, Tbilisi 1938: *Adrindeli kartuli peodaluri literağura* 2. [reprogr. Ndr.] Tbilisi 1978, S. 36, 110 (Kap. XIII, 2-3); ebenso in *ğveli kartuli ağıograpiuli liğ erağuris zeglebi* I, Tbilisi 1963, S. 24. — Die Übersetzung von D. M. Lang in *Lives and Legends of the Georgian Saints*. London 1956, S. 54: »Either do my will and return to the palace, or if you will not come home, I will send you u n d e r g u a r d to Chor or to the Persian court« (Hervorhebung von uns). Hier liegt offenbar eine Verwechslung von georg. *ğarauli* »Esel« (so alle Hss.) mit *ğarauli* »Wache, Wächter«, engl. »guard« vor; oder denkt Lang an einen Überlieferungsfehler, der etwa auf einer Angleichung **ğarad ğaraulita* > *ğarad ğaraulita* beruhen könnte? — Keinen Hinweis gibt die armenische Version des Texts (ed. Abuladze ib.), da die gesamte Botschaft ausgelassen ist.

²³ B. Spuler, *Iran in frühislamischer Zeit*. Wiesbaden 1952, Akademie der Wiss. u.d. Lit., Veröffentlichungen der orientalischen Kommission, II, S. 372; nach: *Ibn al-Ağğr aş-Şaibānī, Kitāb al-Kāmil fi 'ta'riğh-*. hrsg. Kairo 1885/6, 12 Bde. /. — Hervorhebung von uns.

²⁴ I. Laude-Cirtautas, *Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten*. Wiesbaden 1961, Ural-Altäische Bibliothek X, 8. 27 mit Anm. 4.

²⁶ *Der Hodscha Nasreddin ...* II. Bd., S. 155 (Nr. 483).

²⁶ *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*. Bd. II, Berlin/Leipzig 1929/30, Sp. 592-594 s.v. Ehebruch (M. Beth.).

²⁷ So O. Gruppe, *Griechische Mythologie und Religionsgeschichte*, Bd. II, München 1906. *Handbuch der klassischen Altertumswiss.* V, 2, S. 797.

²⁸ In: *The Adyar Library Bulletin*, 44-45 (1980 — 81), 183 mit Anm. 3 und 4 (Titel des Aufsatzes: *A Note on The Donkey and The Mule in Early Vedic Literature*); frdl. Hinweis von Chl. Werba.

²⁹ *Mythe et épopée*, S. 568 mit Anm. 1.

³⁰ So (nach Aufzeichnungen im Gebiet von Konya) hrsg. in: *Nasreddin Hodsa Tréfai.* gyűjtötte . . . Kúnos Ignác, Budapest 1899 *Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből* 17, 1, S. 60 f. (Nr. 80). Eine vergleichbare Version bereits bei W. B. Barker, *A Reading Book of The Turkish Language with A Grammar and Vocabulary*. London 1854, S. 85-89 (Nr.

5). Vgl. auch *Der Hodscha Nasreddin . . .*, I: Bd., Weimar 1911 (Narren . . . III, 1), S. 45 (Nr. 80) und S. 230 (Anm. zu Nr. 80).

³¹ Vgl. dazu die Ausführungen von A. Wesselski in *Der Hodscha Nasreddin . . .*, I. Bd., S. X : »Die Entstehung des Schwankes . . ist ... an eine Kulturstufe gebunden, die schon einzelne früher im Schwange gewesene oder anderswo noch geltende Meinungen als widersinnig, als falsch erkennt.«

³² *Der Gebrauch der Farbbezeichnungen ...* S. 26-28 (§ 7).

³³ In: *Skazanija o nartax, izd. pererobotannoe i dopolnennoe; perevod iz osetinskogo* Ju. Libedinskogo, Moskva 1978, S. 9 (*Predislovie* V. I. Abaeva: *Nartovskij épos osetin*).

³⁴ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, ed. J. Hastings, Vol. I, Edinburgh 1908, S. 124, s.v. adultery.

³⁵ So nach V. I. Abaev in *Skazanija o nartax* a.a.O.

V. A. KUZNETSOV

THE AVARS IN THE NART EPOS OF THE OSSETS

*(Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung.
Tomus XXXVIII (1 — 2), 165-169, 1984)*

The question of the relationships between the nomadic and semi-nomadic peoples of the steppe and the settled population engaged in agriculture is an actual problem in the northern Caucasus, just as in other regions with similar natural and social conditions. This holds true for all the ancient peoples of the steppe who spoke Iranian languages, including the Cimmerians, Scythians, Sarmomatas, Sarmatas and the Alani. They inhabited the lowlands surrounding the Caucasus in fairly large groups and came into contact with the natives. After the Hunnish attack, the old Iranian nomads of the steppes of Ciscaucasia were replaced by Turkic nomads, such as the Huns, Avars, Bulgarians, Khazars and the Kipchaks. From that time on, the Iranian-speaking Alani (the ethnic ancestors of the Ossets) who settled in the central Caucasus in pre-Hunnish times, came into contact with the above-mentioned Turkic peoples. The indigenity of Alan-Turkic linguistic contacts is confirmed by the fact that “the most outstanding and largest group of Old Ossetic lexis after the Iranian and Caucasian elements consists of Turkic ones”.¹ Starting from the concrete historical-linguistic situation, it is to be expected that the Alan-Turkic relationships should also be reflected in the Nartic epos.

After the Mongol invasion, the Ossets lived in an isolated situation for a long time in the huge gorges of the central Caucasus. The steppe motifs of their Nartic epos are easily identifiable. The scene of various Ossetic legends is based either in the thorny steppes of Sukhs and Khiza, or in the lowlands of Zilahar and Khazma. It is beyond doubt that the author of the epos had a thorough knowledge of the flat country of Ciscaucasia, a fact confirmed by the large number of steppes mentioned in the poem². Not only does the epos accurately describe the Caucasian steppes, but it also maintained the medieval Turkic ethnonyms that are known to us from written sources. The topic here is the Turkic-speaking Avarish people who lived in Pannonia before the Hungarian

conquest³. Our knowledge of the Avars dates back to the Digor texts of the epos that were recorded in writing by Mikhail Gardanti before the October Revolution (one of the ethnic groups of Ossets, the western Ossets were called Digors). Primarily it is the legend of Bolat-Hamits.

The two wives of Bolat-Hamits make a felt cloak for their husband, while singing the following song: “This felt cloak will bring happiness, for our dear husband will set out for the land of the Avars and he will come back with his satchels full of red calico, and he will choose an Avarish girl to be his third wife”. The idea of a third wife caught the fancy of Bolat-Hamits and he went to Avaria and found the Avarish beauty. One year later, his insidious wives killed Bolat-Hamitz’s Avarish wife, but with the help of a magic pearl he succeeded in raising her from the dead, and punished the plotting wives⁴.

The name of Hamits’ wife, the Avarish beauty, can also be found in the legend of “The Birth of Batraz”: she is called Agunda⁵. This female character frequently occurs both in the Iron (eastern Ossetic) and Digor texts⁶, as in the southern Ossetic versions⁷. In the legend about “Atsamaz and Agunda”, Agunda marries Atsamaz, who has a wonderful flute. One of the Narts (Hamits or Atsamaz) marries Agunda, the Avarish beauty, who is a stranger and comes from a non-Nart tribe⁸.

The epos tells us the name of Agunda’s father: Saynag-aldar⁹, who is either at peace or at war with the Narts, and lives somewhere not far from the land of the Narts. Independent and strong, Saynag-aldar marries-off his only daughter to Atsamaz, with the following words: “I give my daughter to the Narts, to a family of my own level. She weds the son of Atsa-Atsamaz”¹⁰.

Due to the kind assistance of the philologist T. A. Khamitsayeva, I learnt of another Nartic epic poem which mentions the Avars. The Digor legend of “Soslan and Telberdi’s Three Sons” recorded by Gubady Dzagurov, mentions that “one of the Narts called Uarkhag decided to meet the khan of the Avars’ land which is beyond the mountains”¹¹.

What kind of Avaria and Avars are mentioned in the Nartic epos of the Ossetes? At first sight it appears that it is easy to answer this question: the epos tells us about the Avars and Avaria in Dagestan. Today the most densely populated inhabitants of Dagestan are the Avars¹². Ossetia, though it does not neighbour Dagestan, is not far from it, and the Ossets had known of the Avars for a long time. However, the identification of Avaria mentioned in the Nartic epos with the Dagestanian Avaria is rather doubtful, since the Ossetic ethnonyms for Dagestanian Avars are “Soly” or “Soliag”,¹³ and neither the terms “Avar” nor “Avaria” refer to them. This alone is sufficient for us to arrive at the conclusion that the Avaria of the Nartic epos is not equivalent to Dagestanian Avaria. There is neither direct nor indirect confirmation in the epos of the

relationships between Avaria and Dagestan, on the contrary all its geographical references concern the north-western regions of the Caucasus: Agunda's father, Saynag-aldar lives by the Uarp river (today the Urup, a western affluent of the river Kuban);¹⁴ Agunda's castle (in some versions of the epos she is called Akola) is situated between the Akdengiz and Karadengiz seas (between the Sea of Azov and the Black Sea), on the Taman plain called "Tamani bydyr".¹⁵ All these geographical references of the epos echo the popular belief about the whereabouts of Avaria, and they bear no relation to Dagestan.

It must be assumed that the Avaria mentioned in the Nartic epos of the Ossetes is the northern Caucasus, which was under the domination of those Avar nomads of the steppe that later migrated to Pannonia. As K. Czeglédy, M. I. Artamonov, and V. G. Gadzhiev have proved in their studies, the early medieval Turkic-speaking Avars have nothing to do with the Avars of Dagestan, who belong to the Dagestan-Vainakhian group of the Ibero-Caucasian languages.¹⁶ This is of assistance in solving the problem of the identification of Avaria mentioned in the Ossetic Nartic epos and we can proceed to the problem of Alan-Avar relations.

As mentioned earlier, due to the geographical references of the Ossetic Nart epos, the Avars lived in the north-western part of the Caucasus. This hypothesis is supported by the folklore of the Adyghian peoples living there. There is a legend about the war the Avars waged against Baikan khan in "*The History of the Adyghian People*" compiled by the Kabardian scholar Shora Nogmov in the first half of the 19th century.¹⁷ This author also recorded legends about the bloody battles in the region of Anan and Tsemes, as well as the victory of the Avars over the Adyghians near the river Abin.¹⁸ At the same time, Adyghian folklore material acts as a kind of control for the data on the Avars mentioned in the Ossetic epos and informs us of their one-time abode in the north-western Caucasus.

Here it should be mentioned that the Taman peninsula is also cited as the Avar home in the 7th century in archeological material: in the cultural layer of the Taman nomads, ceramics made from long rolls of clay coiled in a circle were found.¹⁹ It is possible that the fact that the Avars were in the north-western Caucasus can somehow be connected with Great Bulgaria in the same place (this is mentioned by Theophanes and Nikithor, Byzantine historians).²⁰

As it is known, the Avars appeared in Ciscaucasia in the fifties of the 6th century, under the pressure of Istemi-kagan's hordes. Here they came into contact with the Alani that dominated the Kuban land and were "Byzantium's one-time faithful ally".²¹ For the year 558, Menander wrote as follows: "After long wanderings, the Avars came to the Alani and begged their chief to introduce them to the Romans (i.e. Byzantians – the author). Sarosya informed Justin,

Geranov's son, who was at the same time the regular commander of the troops garrisoned at Lazik. Justin informed Justinian the Emperor of the Avar's request. Justinian ordered the commander to tell the Avars to send an ambassador to him".²²

As a result of the diplomatic relations established through the Alani mediation in 558, an alliance was concluded between the Avars and Byzantium against Persia. Opinions about the length of time of the Avars' stay in Ciscaucasia differ: according to L. N. Gumilev and G. V. Haussig they crossed the Don as far back as 558 and attacked the Slavonic Antae tribes,²³ while M. I. Artamonov remarks that all these events already happened in 560-561.²⁴ The sojourn of the Avars in the northern Caucasus may well have been short, for, after defeating the Gepidae in alliance with the Lombards in 567, they already lived in Pannonia. The longest period of Avarian history is connected with the Middle Danube, although in the 9th century Ibn Hordadbeh did not know of the Avars living in Djerbi (the northern countries) in the neighbourhood of the Slavs and the Alani.²⁵

Could the Avars have got into the epos, if their contacts with the ancestors of the Ossetes were of so short a duration? The reflection of a historical event or a historical personality is subordinated to those inner regularities that are determined by the social importance of the object described. Chanson de Roland of France tells of Charlemagne's military expedition of 778 to Spain and the heroic death of his nephew, Count Roland, in a hyperbolic way.²⁶ This transient event, which seems to be of minor importance for the French history (and even of less importance for the history of all Europe) became the subject of an epos. In the German Nibelungenlied, we come across the character of Bleda, brother to the King Attila Hun and (according to N. Greguaru) Goar, the King of the Alani, who bears the kagan's rank.²⁷ Bleda and Goar got into the Nibelungenlied, although historically their relationships with the Germanic tribes were limited in time.

It seems that the encounter of the Alani with the Avars was followed by great and important events that were of major social importance for the Alani, so the Ossetes conception of the Avarish people and their country Avaria was included in the Nart epos and has survived for centuries.

The sections mentioning the Avars and Avaria²⁸ in the Nartic epos of the Ossetes are not numerous. This makes their scholarly value more important, because this is a unique historical source about Avarish history and Alan-Avar relationships.

NOTES

- ¹ В. И. АБАЕВ, *Осетинский язык и фольклор*, часть I, Москва-Ленинград 1949, р. 34.
- ² В. А. КУЗНЕЦОВ, *Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа*. Орджоникидзе 1980, р. 96.
- ³ Ю. НЕМЕТ, К вопросу об аварях. *Turcologica. К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова*, Ленинград 1976, pp. 298-304.
- ⁴ *Памятники народного творчества осетин*, вып. II. Владикавказ, 1927, pp. 6-7.
- ⁵ *Памятники*, *op. cit.*, pp. 20-21.
- ⁶ *Осетинские нартские сказания*. Дзауджикау 1948, pp. 352-363.
- ⁷ *Нарты. Эпос осетинского народа*. Москва 1957, pp. 195-198, 204.
- ⁸ Wherein exogamic marriage is reflected, which used to be very popular in ancient times.
- ⁹ *Aldar* is an old Alan-Ossetic social term meaning “master”, “lord”, “chief” Cf. В. И. Абаев, Осетинский социальный термин алдар. *Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института*, т. XXVII, Орджоникидзе 1968, р. 23. This social term was borrowed into Hungarian from Alan.
- ¹⁰ *Осетинские нартские сказания*, ... р. 362.
- ¹¹ *Архив Северо-Осетинского научно-исследовательского института*, фонд 351, папка 145, р. 260.
- ¹² *Народы Дагестана. Сборник статей*. Москва 1955, р. 24.
- ¹³ *Русско-осетинский словарь*. Составил В. И. Абаев, Москва 1970, р. 18.
- ¹⁴ В. А. КУЗНЕЦОВ, *Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа*, pp. 83-85.
- ¹⁵ *Памятники народного творчества осетин*, вып. II. р. 22.
- ¹⁶ К. CZEGLÉDY, *Kaukázusi hunok, kaukázusi avarok*. (Caucasian Huns, Caucasian Avars) *Antik Tanulmányok* II, Budapest 1956, pp. 139-140. М. И. АРТАМОНОВ, *История хазар*. Ленинград 1962, р. 227, note III; В. Г. ГАДЖИЕВ, *Сочинение И. Гербера «Описание стран и народов между Астраханью и рекой Курой находящихся» как исторический источник по истории народов Кавказа*. Москва 1979, р. 162.
- ¹⁷ Ш. Б. НОГМОВ, *История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев*. Нальчик 1959, pp. 99-103.
- ¹⁸ *Очерки истории Адыгеи*, т. I, Майкоп 1957, р. 69.
- ¹⁹ С. А. Плетнева, Средневековая керамика Таманского городища in: *Керамика и стекло древней Тмутаракани*. Москва 1963, р. 64.
- ²⁰ Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия. *ВВ* т. III, 1950, р. 363.
- ²¹ Л. Н. ГУМИЛЕВ, *Древние турки*. Москва 1967, р. 36.
- ²² МЕНАНДР ВИЗАНТИЕЦ, Продолжение истории Агафиевой. *Византийские истории*. Санкт Петербург 1866, pp. 321-322.

²³ Л. Н. ГУМИЛЕВ, *Древние тюрки...*, р. 37, 438; Г. В. ХАУССИГ, К вопросу о происхождении гуннов. *ВВ*, т. 38, 1977, р. 66.

²⁴ М. И. АРТАМОНОВ, *История хазар...*, р. 464.

²⁵ ИБН-ХОРДАДБЕХ, *Книга путей и царств*. И. А. КАРАУЛОВ, Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Азербайджане. *Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа*, вып. XXXII, Тифлис 1903, р. 5.

²⁶ *Песнь о Роланде. Старофранцузский героический эпос*, Москва-Ленинград 1964. Н. GREGOIRE, *Ou en est la question des Niebelungen? Byzantion*, t. X, Bruxelles 1935, pp. 227-229.

²⁷ Н. GREGOIRE, *Ou en est la question des Nibelungen? Byzantion*, t. X. Bruxelles 1935, с. 227-229.

²⁸ It is interesting to note that the name of Avaria in the Ossetic epos is “Auari”, one of the transcriptions of the Avar ethnonym; cf. А. Н. НЕРНШТАМ, *Очерк истории гуннов*. Ленинград 1951, р. 180.

Е. Б. БЕСОЛОВА

**О ФОРМЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ НАРТОВ
(на материале сказания «Гибель семьи Сырдона»)**

В статье, исходя из древнейших мифопоэтических представлений, предпринята попытка воссоздать языческую символику предметов, культовых действий, обрядов и показать отражение этой символики в языке, ибо «символические знаки языка существуют не для того, чтобы обозначать что-либо, существующее помимо них. Напротив, бытие выводится из значения этих символов» [1, 42].

Магическая ментальность особенно ярко проявляется в эволюции значения. Переходы значений слов в полной мере отражают обычаи, верования и способы мышления древнего слова, которое на наиболее ранних этапах его существования отождествляло все живое и неживое, придавало огромное значение аналогии, оперировало разного рода магическими образами и символами. И это вполне объяснимо: первобытное мировосприятие не знало отвлеченных понятий, ему была свойственна очень условная система пониманий объективной действительности, хотя уже тогда и в то же время человек отождествлял вещь и процесс, вещь и ее свойство [2, 19–91].

Анализ мифов, как известно, есть средство выявления первичных структур сознания, и с этих позиций мы попытаемся «прочитать» отрывок из нартских сказаний о создании фандыра – двенадцатиструнной арфы осетин.

Несмотря на множество посвященных этому отрывку работ, его интерпретация остается, по нашему разумению, концептуально неясной: не использовано прочтение текста сказания «Гибель семьи Сырдона» в соответствии с той формой мировосприятия, которая по ряду параметров близка к поэтическому мировосприятию, наблюдающемуся в народном творчестве. Основание для подобного рассмотрения дает наличие большого количества неосознанных, эмоционально-волевых элементов, типичных для мифопоэтического восприятия. Единство эмоционально-

волевого и образного компонентов, сочетание сакрального и профанного, реального и чудесного, универсального и изменчивого, разделение которых происходит на более позднем уровне, когда возникает и «понимание», и анализ [3, 29] – вот черты, присущие данному способу мировосприятия.

Сырдон в голодный год зарезал корову Хамыца, который в отместку порубил его детей и бросил в котел, где варилось мясо его коровы. Потрясенный гибелью своих сыновей, Сырдон собирает из костей руки (десницы) старшего сына фандыр (арфу), натягивает струны из жил убитых сыновей (вариант – волосы из седых кос покойной матери), и в звуках арфы изливает свое горе:

... Сырдон собрал куски трех мертвых тел,
В последний раз на них он посмотрел.
Очажный камень стал плитой могилы,
Детей своих под камнем схоронил.
Но одного из сыновей десницу
Себе оставил, чтоб всю жизнь томиться
За то, что сам обрек детей на гибель.
И на деснице мертвой, на изгибе,
От кости лучевой до плечевой,
Из кос покойной матери родной
Он натянул двенадцать волосков.
И был фандыр излюбленный готов,
Фандыр из кости собственного сына,
Где струны – материнские седины. [4,219-225]

Или же: «...Взял он (Сырдон. – Е. Бесолова) кисть руки старшего сына и натянул на нее двенадцать звонких струн, а струны те были из жил, что несли кровь к сердцам его сыновей...» [5, 209].

Музыкальные инструменты, как известно, – медиаторы, проецирующие космическую музыку в земное пространство. Среди них – и традиционный дыуадаэстанон фандыр, который, по определению Ф. Ш. Алборова, является разновидностью небольшой угловой (в форме треугольника) арфы с двенадцатью струнами, изготовлявшимися из конского волоса [5, 148].

Прекрасной и, думаем, достаточно весомой иллюстрацией к нашей статье является картина основоположника осетинской художественной школы «Нарт Сырдон» («Осетинский фандыр») Махарбека Сафаровича Туганова.

В соответствии с мифопоэтическим восприятием предков осетин мифоритуал о создании фандыра-арфы есть, на наш взгляд, представление о расчленении Хаоса. Во многих традициях свидетелями миротворения являются жертвенные животные, причем их распределение по миру связано с трехчастной структурой мирового древа. С верхом соотносятся птицы, с серединой – копытные животные, с низом – пресмыкающиеся, земноводные, хищники [6, 147].

Жертвоприношение, по мнению язычников, вносило «порядок, гармонию» в человеческую жизнь. Названия жертвенных животных соотносились со значением «музыка», а она олицетворяла космическую гармонию, выраженную в звуке (голос), сокровенном знании об устройстве мироздания. Космическая музыка связывала воедино макро- и микрокосм – мироздание и человека, она пронизывала небесные сферы и управляла временем. Музыкой создан мир, который представлялся и как гармония и природа звуков, и как энергия, объединяющая и упорядочивающая вселенную. Она вплеталась в первоначальный хаос и творила из него космос. [7].

Корова и другие парнокопытные в древности считались божествами, символами святости; название коровы табуировалось понятием «духа», а также названием животных и предметов, вмещавших в себя дух (душу). Она воплощала верхний мир – Небо и символизировала плодородие, благосостояние, изобилие, являлась олицетворением Вселенной, Космоса. Если в мифологии сакральная корова, участвующая в миротворении, является символом космогонической целостности, то получается, что корова Хамыца в эпосе воплощает мироздание Нартов, нартский космос.

Стельная корова в мифологии олицетворяет женские животворящие и питающие силы Земли. Но корова Хамыца, которую украд Сырдон, не стельна, в течение семи лет бесплодна [8, 206]. Бесплодность здесь является признаком ее мужской сущности. Но заметим, что и сакральное значение символа мироустройства и божественности числа Неба «семь» в словосочетании «семь лет бесплодна» также соотносится со значением «мужская суть». Как видим, «жертвы богам небесным» приносят «числом нечетным, а земным – четным». Четные и нечетные числа выражают свойственное мифопоэтической традиции противопоставление земного и небесного, женского и мужского, левого и правого, низа и верха. По Пифагору, «все в мире есть числа», и числа – божественны. Они – сила, поддерживающая вечное постоянство Космоса, космическую гармонию, и поскольку числа олицетворяют правило, порядок, музыку, то все в мире устроено по канонам, упорядоченно и музыкально [6, 483].

...Он (Сырдон) натянул двенадцать волосков... (двенадцать звонких струн из жил, что несли кровь к сердцам его сыновей...).

Человеческое тело, как известно, древними толковалось как воспроизведение структуры мироздания из 12 частей, где отдельные его части обладали собственной символикой. Рождение Нового мира, Космоса могло произойти лишь после разделения на части аморфного тела существа. Из этих компонентов, как свидетельствуют космогонические мифы, возникли разные части космоса. В древности число двенадцать считалось полным и совершенным, оно управляет пространством и временем и символизирует Порядок и Добро.

Волосы, как и жилы, являются символом и вместилищем жизненной силы, огня и божественной силы, питающей себя самое.

Символическое значение арфы, древнейшего музыкального струнного щипкового инструмента, – связь (мост) неба и земли, мистическая лестница и циклическое развитие мира, а также олицетворение упорядоченного мироздания. Она изображает переход в другой мир, иногда представляется как воплощение чистой идеи звука – носителя напряжения и страдания. Понимается арфа и как символ мировой гармонии и гармонического единства неба и земли, а также отзывчивости и чуткости к земной и небесной жизни [6, 322].

Арфа бывает лукообразной и угловой. Двенадцатиструнная фандыр-арфа нартов – угловая, имеет форму треугольника, т. е. космической фигуры, возникшей из хаоса. Треугольник, как и число «три», является средоточием целостности и имеет содержанием значения «созидание», «творчество». Арфа является символом «жизни – смерти – новой жизни».

...И на деснице мертвой, на изгибе,
От кости лучевой до плечевой...

Кость, по поверьям древних, считалась вместилищем жизни и тесно связанной с ней смерти, а также местом пребывания душ. Пространство, очищенное от мяса (плоти), от кости лучевой до плечевой – мировое древо, отделявшее небо от земли.

Правая рука – десница – обладает положительной семантикой, это символ духовного влияния, Небесного Пути. «Основа *deks-, – как пишет В. И. Абаев, – выступает в индоевропейских языках в двух, тесно связанных между собой значениях: с одной стороны, «правый», (→ «правая рука», «правая сторона»), с другой – «искусный».

Известно, что «правая сторона» с давних пор ассоциируется со счастьем, удачей, искусством... («правая рука» = «искусная рука»). Но в осе-

тинском языке основа *deks- представлена как dæsnу/dæsnі «ведун» [9, I, 360], т. е. «чародей, колдун», коим является Сырдон.

Космогоническая целостность отражалась, как известно, в единстве противоположностей. На уровне человека наиболее ярко это представлено в андрогине, символе целостной личности, мудрости и бессмертия.

Считается, что андрогинизм является свойством древних богов (Е. Блаватская). По мнению В. И. Абаева, образ Сырдона «...связан с древнейшей частью эпоса, ...однако, с течением времени, мифологические черты в его образе оказались совершенно заслоненными массой бытовых мотивов» [10, 72]. Таким божеством-андрогином можно предположить Сырдона.

Первосущество, будучи расчлененным на части, превращается в арфу. Арфа, словно выроставшая из мертвых останков божества-коровы и сыновей Сырдона, уподобилась «скелету» бога, о чем дополнительно говорит и семантика «трехногости» инструмента, или «троичности» [11] числа «3» – «...три мертвых тела...» или «куски трех мертвых тел».

В древности, чтобы не осквернять четыре стихии, труп выставлялся на солнце до полного очищения от плоти костей. Затем кости собирали в специальное хранилище, потому что с ними связывалась надежда на возрождение покойника.

«Грabitь» плоть божества могли только хищные птицы и звери (ср.: этимология имени Сырдон/Сирдон от сырд/сирд «зверь») [12, 208]. К примеру, мертвые тела зороастрийцев пожирали хищные птицы. В далеком прошлом этот обряд растерзания зверями и птицами почитался божественным актом и гарантировал мертвым возрождение.

В котле мыслятся останки умершего бога, перевариваемые в нем, как в утробе богини-коровы. Именно этот обряд глубокой древности гарантировал мертвым воскрешение. Ритуал варки (т.е. обновления) в котле хорошо известен в мифологии как обряд омоложения; напр., вариться в котле, превращаясь из старухи в юную девушку или из старика в юношу.

Таким образом, душа умершего в сказании о появлении фандыра (арфы) возрождалась путем андрогинизма, восстановления двуполого первосущества, каким был Сырдон.

Сырдон, знавший ритуал смерти-возрождения, обладал особым могуществом. В архаической форме герой имел две ипостаси в нартском эпосе – оборотня (становился стариком, старухой, молодой женщиной и пр.) и колдуна.

В древнейшем цикле сказаний о Сырдоне наблюдается его связь с рыбами: он – сын владыки вод, Гатага. Его отношение к воде свидетельствует о том, что герой связан с ритуалом смерти-рождения. Сыновья бо-

жества воды, внуки владыки вод, также символизируют собой первичный водный хаос. Налицо параллелизм съдаемых жертв – коровы-божества и сыновей божества воды. Именно Сырдон ограбил плоть божеств, превратив «скелет» жертв в мировое древо, отделявшее небо от земли.

Предполагаем, что Сырдон мог превращаться в бога-рыбу. Это не проявляется в текстах сказаний, но подспудно скрывается в его поступках: в его свойстве появляться и исчезать когда и где угодно; в его связи с подземным миром.

Сыновья Сырдона, внуки бога-реки, были погребены отцом под очажным камнем – в этом прочитывается нами противопоставление водного Хаоса творческому Огню.

Жилище Сырдона – подземный дом-лабиринт – ритуально нечисто. В нем, как в хтоническом мире, царит мрак, и вошедший в него с востока, где был вход, попадал в царство запада, смерти.

Лабиринт семантически связывается с подземным миром и небом. Выход из него сложен и требует осмысления. Спиралевидные дорожки выступают как средство очищения, пройдя через которые герой приобретает возможность выхода из лабиринта, обретая после катарсиса силы для дальнейших испытаний.

Но лабиринт есть также путешествие от смерти к рождению.

Ритуальное его значение – место посвящения (инициации: мы наблюдаем процесс перехода Сырдона из подземного состояния в земное). Главная функция, по М. Элиаде, – охрана центра. Лабиринт охраняется Сырдоном-жрецом, живущим в самом его центре; наш герой-демиург – владыка и судьба лабиринта-храма, связующего звена между возвышенным (Небо) и низменным (Земля).

Центр, середина в древности считалась символом сверхъестественной силы, бессмертия, да и понятие бога соотносилось с этим понятием. Образ спирали (изображение путешествия души по лабиринтам загробного мира) также связан с символикой лабиринта. Символы середины, центра, первого человека, бессмертия, выхода из лабиринта связываются именно с понятием андрогинизма.

В подземном жилище Сырдона обитала и собака-сука. Она ассоциируется в мифопоэтическом сознании с землей, водой, луной; собака – символ смерти и загробного мира. Ее отношение к воде свидетельствует о том, что она связана с ритуалом смерти-возрождения. Собака-сука является к тому же еще и символом жреческого ремесла.

Наш герой – и зверь, разграбивший плоть, и божество-андрогин, и жрец, превративший «скелет» жертвы в мировое древо, отделявшее небо от земли.

В сказании о появлении фандыра налицо мотив первооткрывателя: каждое ремесло, как положено, должно иметь своего первооткрывателя. Сырдон – первый создатель музыки, символизирующей порядок и гармонию творения, первопричиной которого был Звук. Проявлением звука является голос. Извлеченная из правой руки, т.е. десницы, сына песня-плач Сырдона связана с клокотанием варящейся плоти в котле. Символически это и есть ритуал рождения музыки жизни, голоса жизни через смерть. Локтевая и плечевая кости, опустошенные от мозга костей и плоти, исторгали музыку смерти (как духовой инструмент). Арфа (как струнный инструмент) производила музыку жизни, вызывавшую наращение плоти, натяжение жил и суставов, восстановление всей духовной конституции бога (за счет жил).

Сырдон достиг определенной степени осознания своей принадлежности к нартской общности, которой еще не был принят, но уже уяснил для себя смысл этой интеграции, ее движущие силы. Первотворение Звука оказалось для него спасительным актом: «Плач Сырдона и его игра на арфе потрясли даже суровых Нартов. Они простили ему все его прошлые деяния и приняли в свою среду как равноправного» [10, 72].

По В. Н. Топорову, общий контекст ритуала реализуется «в максимальной полноте и органичности содержащихся в нем потенциалов... в мифопоэтическую или космологическую эпоху, определяемую соответствующим типом мировоззрения, миропонимания, точнее – миропереживания, переживания мира в процессе контактов с ним, реализующихся, прежде всего, через деятельность – как «наглядно-практическую, так и «теоретическую...» [13, 9].

Как видим из анализа, мифология и мифопоэтика предполагают специфический способ или своеобразную форму мировосприятия, потому что миф не может зависеть от канонов целесообразности, разумности, всего того, что присуще научно-логическому мышлению и миропредставлению. При всей устойчивости и традиционности миф обладает особым рода изменчивостью, которая является причиной его неопределимости, непонятности и допускает соотнесение мифа и эпоса на предмет изыскания мифологических черт в религиозном и научном мышлении. Исходя из того, что самобытность мифопоэтического мировосприятия является важнейшим таинством мифа, а «отголоски мифопоэтики встречаются во все времена и в любых культурах», на сегодня выявление и интерпретация специфики мифопоэтического мировосприятия крайне актуальны, в силу даже того, что она проявляется на всех стадиях развития общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. CASSIRER E. Philosophie der Symbolische Formen. Т. 1.1. Berlin, 1923.
2. АБАЕВ В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л.-М., 1958. Т. 1.
3. АБАЕВ В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л.: Наука, 1979. Т. 3.
4. АБАЕВ В. И. Нартовский эпос // Известия СОНИИ. Т. X. Вып. I. Дзауджикау, 1945.
5. АЛБОРОВ Ф. Ш. Музыкальная культура Осетии. Владикавказ: Ир, 2004.
6. ЗАКС К. Дух и становление музыкальных инструментов. М., 1929; а также: Sachs. Vergleichende Musikwissenschaft in ihren Grundzugen. Lpz., 1930.
7. КОРОЛЕВ Кирилл. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2003.
8. Нарты: Осетинский героический эпос. Кн. 2. М.: Главная редакция восточной литературы, 1989.
9. Нарты. Эпос осетинского народа. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
10. Осетинские нартские сказания. Дзауджикау: Госиздат СО АССР, 1948.
11. ПАШИНИНА Дарья. Мифопоэтическое восприятие: закон частного внимания // Международные чтения по теории, истории и философии культуры: Интеллект, воображение, интуиция. СПб., 2001.
12. ТОПОРОВ В. Н. К семантике троичности// Этимология, 1977: Сб. статей. М., 1978.
13. ТОПОРОВ В. Н. О ритуале. Введение в проблематику//Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.
14. ФРЕЙДЕНБЕРГ О. М. Миф и литература древности. М., 1979.

Alain CHRISTOL

INTRODUCTION À L'OSSÈTE
Éléments de grammaire comparée

Université de Rouen

INTRODUCTION

1. Pour une initiation à l'ossete

Il n'existe qu'un exposé systématique de la grammaire comparée de l'ossete, celui de V. Miller, en appendice au *Grundriss der Iranischen Philologie* et qui date de 1903; sur bien des points il reste valable mais, depuis 1903, l'ossete a fait l'objet de nombreuses publications, des études de détail ou des monographies, parfois réunies en un volume comme l'ouvrage fondamental d'E. Benveniste, *Études sur la langue ossète* (= ELO) mais sans description systématique de l'ensemble des faits. On trouvera la liste de ces études dans la bibliographie.

Le lexique par contre a été systématiquement exploité dans le dictionnaire, achevé en 1989, de V.I. Abaev (= A I, II, III, IV), dictionnaire qui renseigne sur la morphologie, la phraséologie, l'histoire des mots et l'étymologie, pour les deux dialectes, iron et digor; c'est une œuvre fondamentale pour l'étude de l'ossete mais elle est écrite en russe et peu diffusée; il faut citer également l'ouvrage de R. Bielmeier (= GrW) qui apporte, pour les mots sélectionnés comme "fondamentaux" (Grundwortschatz), une information récente, complétant les données d'Abaev dont le premier volume date de 1958.

Constatant qu'on ne dispose ni d'une histoire de la langue des premiers témoignages (Hérodote) à nos jours, ni d'une grammaire comparée intégrant les résultats de quatre vingts ans de recherche, ni d'un dictionnaire accessible dans une langue occidentale et permettant d'aborder les textes ossètes, il a paru utile d'entreprendre la rédaction d'une *Introduction à l'ossete*, comportant trois volets:

- *Histoire de la langue*: une première rédaction a été distribuée aux participants de la Session 1986, sous le titre *Des Scythes aux Ossètes* (= SO; xiv + 81 p.); elle retrace les grandes lignes de l'histoire des ancêtres des Ossètes, d'Hérodote aux Invasions mongoles, époque où les Ossètes sont définitivement rejetés dans les montagnes du Caucase. Il manque une seconde partie sur les interactions entre Ossètes et peuples voisins, en milieu caucasien.
- *Grammaire comparée de l'ossète*: le présent exposé en donne quelques chapitres, en reprenant, pour l'essentiel, les points traités à la Session 1986, en deux exposés: phonétique et morphologie.
- *Lexique ossète-français*: un projet a été présenté, portant sur un peu plus de 20% du vocabulaire (A-AE: xiii + 128 p.); c'est un travail de compilation qui rassemble des données éparses, les classe et les traduit en français.

2. Les Ossètes aujourd'hui

La langue ossète est parlée aujourd'hui par environ 500 000 personnes, au nord et au sud du Grand Caucase, à l'ouest de la passe de Dariâl, la "Porte des Alains".

Le recensement de 1979 donne le chiffre de 542 000 Ossètes, mais ce recensement porte sur la nationalité et non directement sur la langue; de ce total 90% donnent l'ossète comme, leur langue maternelle; sur ces chiffres et leur évolution: SO §1; Oranskij 1963, 127; Creissels 1977, 6; Comrie 1981, 302.

L'ossète est la langue officielle de deux divisions administratives:

- **République autonome d'Ossétie du Nord** (RSFS de Russie), dont la capitale est Ordžonikidze, l'ancienne Vladikavkaz, elle-même fondée sur l'emplacement d'un village ossète nommé **Dzæudžyqæu**; en 1983, la population de la République était de 600 000 habitants, celle de la capitale de 250 000. La superficie de la République est de 8 000 km².
- **Territoire d'Ossétie du Sud**, avec pour capitale **Cxinval** (30 000 h. en 1970); le Territoire compte 100 000 habitants (1970), pour une superficie de 3 900 km². On compte environ 150 000 Ossètes pour l'ensemble de la République de Géorgie, soit un total supérieur à la population du Territoire; il faut rappeler que Tbilissi a joué un rôle important dans le développement de la conscience nationale et de la littérature ossètes (SO § 37, n. 55).

Il existe deux dialectes ossètes, l'**iron** et le **digor**; l'iron est le dialecte dominant, c'est celui de la capitale; il est à la base de la langue littéraire et de la

langue officielle. Le digor est parlé dans la partie occidentale de l'Ossétie du Nord (Rayons de Digor et d'Iraf) et autour de Mozdok, par environ 80 000 personnes. En Ossétie du Sud, on parle une variété d'iron, qui a subi une forte influence du géorgien (OJaF 494-505).

3. L'environnement linguistique

La situation géographique de l'ossète le met en contact avec des langues de familles variées (GrW 14-17):

- Le russe occupe une place à part; dès 1774, l'Ossétie a été annexée par la Russie et l'implantation russe sera d'autant plus rapide que Vladikavkaz commande la route stratégique de la Transcaucasie; aujourd'hui, le russe est la langue dominante et l'ossète lui fait de nombreux emprunts.
- Au sud, l'ossète est en contact avec les langues caucasiennes du sud (= CS), le géorgien, langue de culture ancienne (Axvlediani 1960, 160-210; emprunts lexicaux: OJaF 86-87; préverbes: SO §29; phraséologie: Abaev 1973, etc.) mais aussi le svane (OJaF 291-309).
- À l'est, on parle des langues du groupe caucasique du nord-centre (= CNC), l'ingouch (= Ing.) et le tchéchène (= Čeč.); la cohabitation semble ancienne et il y a eu des emprunts de vocabulaire (OJaF 78; Abaev 1960).
- À l'ouest et au nord, dialectes turcs; dans des vallées anciennement ossètes on parle aujourd'hui le balkar; les Ossètes désignent encore les Balkars du nom d'*Asy*, c'est-à-dire "ossète" (A I, 79). Dans les steppes du nord vivaient des populations de langue tatar, peu à peu supplantées par des russophones. L'ossète a beaucoup emprunté aux langues turques (SO § 38; OJaF 84; GrW 74) comme les autres langues caucasiennes (Musaev 1984, 153-162).
- Au nord également, autour de Nalčik, sont installés, au moins depuis le XIII^e siècle, les Kabardes, de langue caucasique du nord-ouest (= CNO). Les peuples de langue CNO ont été en contact avec les Iraniens de la steppe; il y avait peut-être déjà une composante proto-CNO dans l'ensemble scythique (SO § 15). L'ossète a fait des emprunts aux langues CNO (OJaF 88).

Si l'ossète a fait des emprunts, au cours de son histoire, aux diverses langues avec lesquelles il est entré en contact, il a lui aussi été une source pour ses voisins, de la bière géorgienne *ludi* (oss. *æluton*) au char abkhaz *a-wården* (oss. *uårdon*).

Il est probable que l'influence des langues voisines sur l'ossète dépasse le lexique et la phraséologie, domaines bien étudiés. Si l'emprunt pur et simple d'une structure syntaxique étrangère est peu probable, l'influence d'un modèle étranger permet l'expansion de structures rares, marginales ou le développement de formes potentielles.

4. Ossète et langues iraniennes

L'ossète appartient à la branche iranienne des langues indo-européennes, plus précisément à l'iranien oriental. Lorsque les tribus iraniennes occidentales se mettent en marche vers le plateau iranien auquel elles donneront leur nom, les Iraniens orientaux sont encore dans les steppes d'Asie centrale; par la suite certaines tribus se déplacent vers l'ouest, vers le Caucase et les rives de la Mer Noire, l'actuelle Ukraine. Les Grecs connaissent ces peuples sous le nom de **Scythes** mais Hérodote sait qu'ils ont atteint récemment la Mer Noire, chassant les Cimmériens (SO § 2); ceux qui sont restés en Asie sont connus par les sources perses sous le nom de **Saka** (SO § 3); le mouvement d'est en ouest va se poursuivre jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, avec les **Sarmates** puis les **Alains** (SO § 16-17; 20-24); une partie des Sakas s'est mise en mouvement vers le sud, vers la Bactriane, la partie orientale du Plateau Iranien (cf. **Seistan**, de **Saka.stāna*) et l'Inde (CHIran III, 192-8).

À l'intérieur de l'iranien oriental, on distingue deux groupes linguistiques, "nord oriental" (**sogdien** et son descendant moderne le **yagnobi**, **ossète**) et "sud-oriental" (**bactrien**, en alphabet grec, **saka** de Khotan et, parmi les langues modernes, **pashto** et langues du **Pamir**).

Les ancêtres des Ossètes ont donc probablement suivi une route qui passe au nord de la Caspienne pour atteindre le Don et le Caucase; ils n'ont jamais pénétré sur le Plateau Iranien et sont restés en dehors des grands mouvements de réforme religieuse qui ont abouti au triomphe d'**Ahura Mazdā** puis à la réforme de **Zaradūštra/Zoroastre**; on a donc une civilisation "indo-iranienne" qui n'a été influencée ni par le mazdéisme ni par le bouddhisme ou l'islam; même la christianisation, vers 900, a été superficielle et n'a pas vraiment effacé la religion antérieure (SO § 51).

On comprend l'intérêt du folklore ossète pour l'étude des mythes et de l'idéologie du monde indo-iranien, la place qu'occupe ce petit peuple du Caucase dans l'œuvre de G. Dumézil.

5. De l'indo-européen à l'ossète

L'ossète a commencé à être noté au XIX^e siècle (SO § 52); avant cette date, il y a eu sans doute des tentatives de notation à l'aide de l'alphabet grec, comme le prouve l'inscription du Zelenčuk (SO § 50-51). Pour reconstituer la préhistoire on dispose de quelques gloses antiques, depuis Hérodote, des données de l'onomastique "scythique" (SO § 7-15), de quelques phrases citées par Tzétzès; on en est donc réduit, pour l'essentiel, aux données de la comparaison, à l'intérieur de l'iranien mais aussi dans le cadre caucasien, dans une perspective non plus génétique mais aréale.

Voici les grandes étapes qui ont conduit les ancêtres linguistiques des Ossètes, du domaine indo-européen au cœur du Caucase:

- **Indo-iranien** (= IIr): cet état de langue se caractérise par la voyelle unique **a* (= IE **e/o/a*), avec substitution partielle de l'alternance morphologique **a/ā* à IE **e/o*; pour les dorsales, opposition entre palatales et vélares (skt *ś/k*); dédoublement de IE **s* en deux phonèmes (skt *s* et *ś*); timbre *i* de la voyelle d'appui au contact des laryngales (skt *pitar* de **ph²ter*); s'ajoutent de nombreuses concordances morphologiques, syntaxiques et phraséologiques.
- **Iranien commun** (= IC): passage de **s* à **h*, tendance à la spirantisation des occlusives devant consonne, y compris devant les laryngales; perte de l'aspiration pour les occlusives; tendance à l'infection vocalique (par **i/y* et **u/w*); pour le traitement de IE **k* et **kw* l'ossète s'accorde avec l'avestique (*s, sp*) contre le vieux perse (*ϕ, s*).
- **Iranien oriental** (= IrOr): s'oppose à l'iranien occidental par une tendance à la sonorisation des groupes intervocaliques **-xt-*, **-ft-* et par la présence d'affriquées dentales face aux affriquées palatales de l'iranien occidental.

Cette phase est antérieure au mouvement des Scythes vers l'ouest et pourrait se situer vers l'an 1000.

- **Scythique commun** (= SC): c'est l'époque des métathèses consonantiques (**tr > *rt*, etc.), avec prothèse vocalique à l'initiale; on a aussi passage de **p* à *f* (SO § 47); labialisation de **ā* devant nasale (= gr. AY ? : SO § 24); sonorisation des occlusives sourdes intervocaliques.
- **Ossète commun** (= OC): étape antérieure à la séparation des deux dialectes, iron et digor: maintien des diphtongues **ai* et **au* (Dg *e, o*; Ir *i, u*), de **i* et **u* (Ir *y*), de **ñ* (Dg *-in-*; Ir *i*: SO § 44) et **d'* (Dg *i*; Ir *dz*); de **-a* (IC **-ā*: Dg *-æ*; Ir **-ø*); de **m* en toute position (Dg *n* en finale et devant consonne).

PHONÉTIQUE HISTORIQUE

6. Étude de mots

On trouvera un exposé systématique de la phonétique historique de l'ossète, avec de nombreux exemples, chez V. Miller (Grundr 14-39) et, de façon plus schématique, chez R. Bielmeier (GrW 29-45). Il a donc paru préférable, dans cet exposé, de partir d'une sélection de mots ossètes; une telle méthode a l'avantage de fournir au lecteur des éléments de vocabulaire et de morphologie (pluriels, prétérits, etc.); on trouvera en **Annexe II** un tableau des évolutions phonétiques de l'indo-européen à l'ossète.

Les quinze mots retenus, numérotés de 1 à 15, sont répartis entre les §§ 6 et 7. Dans les références aux traitements phonétiques, le chiffre indique le mot concerné, la lettre le traitement phonétique; ainsi 5.a renvoie au mot n° 5 (= *xid*), premier problème phonétique (a = **ai*).

1. *maryn, mard-* (Dg *marun, mard-*) “tuer”,
mælyn, mard- (Dg *mælnun, mard-*) “mourir”.
Ilr **maraya-* / *m̄ya-*; **m̄rta*: GrW 193-4.
skt *MRiyate* “mourir”, *MĀRayati* (caus.); *m̄rta* “mort”.
av. *mirya.ite* (vx p. *a.marya.ta*) “mourir”; *m̄r̄ta/m̄ša*.

(a) Ilr **ā* > oss. *a*; Ilr **a* > oss. *æ*.

L'opposition **ā/a* (= oss. *a/æ*) est restée vivante en ossète pour distinguer causatif (*a*) et verbe de base (*æ*); on trouvera une liste des verbes concernés: Grundr 58; GSO 42-3.

Au prétérit, le thème est souvent identique pour les deux verbes; la distinction entre causatif et verbe de base est alors assurée par les désinences, transitif = causatif;

mard.ton “j'ai tué”; intransitif = verbe de base: *mard.tæn* “je suis mort” (§ 22).

Voici quelques couples verbaux:

kalyn, kald- (Dg *kalun, kald-*) “verser, répandre”,

kælyn, kald- (Dg *kælnun, kald-*) “se répandre”,

IC **kar* “répandre, semer”; skt *KIRati* “répandre”.

arazyn, aræzt- (Dg *arazun, aræzt-*) “construire”,

aræzyn, aræzt- (Dg *aræzun, aræzt-*) “être construit”

IC **ā* + **raz* “diriger” (IE **h³reg*); véd. *R̄n̄Jati*: A I, 60.

tadzyn, tayd- (Dg *tadzun, tayd-*) “verser goutte à goutte”,

tædzyn, tayd- (Dg *tædzun, tayd-*) “couler goutte à goutte”,

IC *tak/č “couler, courir”;
av. *tāčaya-* (caus.), *tača-* “courir”.

Rem. 1:

Il ne reste en ossète aucune trace du suffixe *-aya- des causatifs IIr, la conjugaison est la même, au présent, pour *kalyn* et *kælyn*.

Pour certains verbes, le présent était formé sur le degré Ø:

xonyn, *xuynd-* (Dg *xonun*, *xud-*) “appeler, inviter”, *xuynyn*, *xuynd-* “être appelé, nommé”.

IE **swer/n-* “résonner”, IIr **svan/r-*, IC **xvan-*, OC **xwān* (caus.) / *xun*: ELO 124-5, skt *SVARati* / *SVANati* “résonner”.

(b) IIr **ry* > oss. *l*:

Il semble qu’un groupe **ry* puisse avoir deux traitements, une réduction ancienne à **l* ou une métathèse, avec diphtongue secondaire à second élément **i*; il est probable que, lors du passage de **ry* à **l* (époque scythique), un certain nombre de groupes ont été protégés par une diérèse (*-*riy-*); ce sont ces survivants qui ont, par la suite, subi la métathèse; pour le premier traitement on citera (ELO 29):

næl “male”, de **narya* (skt *narya* “viril”),
mal “étang profond, partie profonde d’un lac”,
de **mārya*, lat. *mare* etc.: A II, 68.

Le nom des Alains (lat. **Alāni**), s’il est bien issu de **aryāna*, présente le même traitement; de la forme à diérèse (**ariyāna*) puis métathèse (**airāna*) est issu *iron*, le nom que se donnent les Ossètes modernes (doutes sur l’étymologie de *iron*: A I, 546).

La métathèse se rencontre également dans le verbe:

Dg *erun*, *ird-* (Ir (*u*)*aryn*, *ard-*) “trouver, mettre au monde”.

**var(i)ya-* (Dg) en face de **vara-* (Ir), Dg *ird* est un degré Ø secondaire sur *erun*.

(c) Traitement de **r̥*: cf. *zærdæ* (13).

2. *tavyn*, *tavd-* (Dg *tavun*, *tavd-*) “faire chauffer”,
tæfsyn, *tæfst-* (Dg *tæfsun*, *tæfst-*) “devenir chaud”,
tævd (Dg *tævdæ*) “chaud, brûlant”.

IIr **tap* “chauffer”, **tāpaya* (caus.): A III, 236-49, skt *TAPati* “chauffer (trans.)”, *TĀPayati* (caus.), *TAPyate*, av. *tāpaye.iti/tafsaiti* “chauffer” (tr./intr.).

(a) IIr **p* oss. *f* (interv. -v-)

La spirantisation de **p* est générale en ossète (SO § 47) et non, comme en IC, limitée à la position devant consonne (av., vx p. *fra* de Iir **pra*, skt *pra*): cf. *fyd* (7), *fyrt* (9). Pour la sonorisation intervocalique: *avd* (3), *ælgivyn* (11).

Un groupe **pr-* (IC **fr-*) se réduit à *r-*: *ræγæd* (12); un groupe **-fn-* à *-n-*: *fyn* (15).

Iir **tapta* > IC **tafta* > SC **tavda* > Ir *tævd*; dans le prétérit *tavd-* la voyelle radicale est analogique de celle du présent; la forme ancienne survit dans l'adjectif *tævd*. C'est aussi l'analogie du présent qui explique le *s* de *tæfst-*.

(b) Alternance *a/æ*: cf. 1.a.

(c) IE **sk* > skt (*c*)*ch*, av. *s*, oss. *s*:

Quelques présents ossètes sont formés à l'aide d'un suffixe *-s-* résiduel, qui a perdu toute autonomie sémantique; il est issu du suffixe itératif-inchoatif IE **ske/o*: oss. *tæfsyn* est formé comme av. *tafsaiti* "devenir chaud" (lat. *tepscere* "tiédir"). Les verbes de ce type sont peu nombreux (GSO 43 en cite 8); un exemple suffira:

dymyn, *dymd-/dymst-* (Dg *dumun*, *dund-*) "gonfler" (caus.),

dymsyn, *dymst-* (Dg *dunsun*, *dund-*) "se gonfler",

Iir **dham/dhmā*, skt *DHAMati* "souffler": A I, 382, oss. *dum-* de **dh^omh* ou croisement avec **dhūma* "fumée"?

Rem. 2:

Dans le verbe: *færsyn*, *farst-* (Dg *færsun*, *farst-*) "interroger, lire", on a le même suffixe, comme le prouve skt *Pṛcchati* ou vx p. (subj.) *pati-parsā.tiy* (IE **prek*, skt *PRAS*, vx p. *fraṭ* "interroger"); av. *pərəsaiti*, comme oss. *færsyn*, est théoriquement ambigu puisque *s* peut provenir aussi bien de IE **k* que de IE **sk*. Au contraire, skt *cch*, vx p. *s* impliquent la présence du suffixe **ske/o*; oss. *færsyn* est donc la forme attendue d'un présent IE **prk.ske.ti* (lat. *poscit*); pour *ær* de **f*: *zærdæ* (13).

(d) Traitement de Iir **t*:

À l'initiale, Iir **t* se maintient en ossète; entre voyelles, il se sonorise en *-d-*: *ræγæd* (12); il en est de même dans les groupes:

**-ft-*: *avd* (3),

**-xt-*: *agd* (Dg =) "hanche, cuisse", de **haxti*: ELO 52, A I, 37.

Si l'ossète n'a pas de spirante dentale (SO § 48), il faut poser une étape où [ḡ] était distinct de [t]; entre voyelles, *ḡ ne se sonorise pas:

uat (Dg =) "pièce, chambre", de **vah.aṡa* "séjour", Iir **vas*, skt *VASati* "habiter": ELO 111.

en face de:

uad (Dg *uadæ*) “vent”, de **vāta*: GrW 228.

Devant consonne ou laryngale, Ir **t* s’est spirantisé pour aboutir à **θ* comme ailleurs en iranien; ensuite, **θ* s’est confondu en ossète avec **t* mais à une époque postérieure à la sonorisation intervocalique des occlusives et des groupes. Pour le groupe **tr*: *fyr*t (9).

3. *avd* “sept” (Dg =); *ævd.dæs* (Dg =) “dix-sept”, *ævdæm* (Dg *ævdæimag*) “septième”.

Ir **saptm* “sept”, **sapla.ma/.tha* “septième”, skt *sapta*, av. *hapta*, pers. *haft*,

Išk. *ūvd*, etc., véd. *saptatha*, skt *saptama*, av. *haptaθa*.

(a) Ir **-pt-* > IC **-ft-* > oss. *-vd-*: 2.a; 2.d.

(b) Ir **a* > oss. *a*:

Dans les monosyllabes “lourds”, à initiale vocalique, Ir **a* est représenté par oss. *a* et non par *æ* comme ailleurs (1.a):

ast (Dg =) “huit”, de Ir **astā*, skt *aṣṭau*,

ars, *ærsytæ* (Dg *ars*, *ærsitæ*) “ours”,

Ir **rkša*, skt *ṛkṣa*, IC **rxša*, pers. *xirs*.

ard, *ærdtæ* (Dg =) “serment”, Ir **ṛta*.

On voit que le traitement est le même pour **a* ancien et pour **a* de **ṛ*: Dans cette position, on a neutralisation entre **a* et **ā*:

art (Dg =) “feu”, IC **āθr-*, av. *ātar*, *āθr-*.

Lorsque le thème cesse d’être monosyllabique (pluriel, dérivés, composés), on a le traitement attendu, oss. *æ*: *ærs.carm* “peau d’ours”, *æstæm* “huitième”, etc.

(c) En finale, **-as* et **-am* s’amuisent:

Les consonnes finales ont disparu, probablement assez tôt (iranien moyen); les voyelles finales brèves se sont amuies, comme le montre la flexion nominale issue des thématiques (§ 12.a); on a, pour **u*:

myd (Dg *mud*) “miel”, de Ir **madhu*.

Pour **-i*, on a bien -Ø en iron, mais la situation est moins nette en digor, on a -*æ* après groupe de consonnes:

Dg *-uncæ* (Ir *-ync*) dés. P3 prés., de **-u-nti* (§ 20.c).

Dg *ænguldzæ* (Ir *ænguyldz*) “doigt”

**anguriči*: ELO 32.

Dg *arcæ* (Ir *arc*) “lance”, **ṛšti*: A I, 60; GrW 110.

On ne peut exclure une confusion morphologique entre thèmes en *-i* et thèmes en *-yā*; de **-yā* on attend une finale Dg *-æ*, Ir \emptyset (*fyd* 7.a).

(d) Ir **s* > IC **h* > oss. $-\emptyset / x$:

Le traitement de **s* sépare l'iranien de l'indien; dès les premiers témoignages, l'iranien en est déjà au stade **h*, avec renforcement en [x] devant **w* (av. *x^v*; pers. *x*); en scythique, on a le même renforcement (= oss. *x*) devant **u* et **i*. Ailleurs **h* s'amuit:

æcæg “vrai”, de **satya.ka*: 4,

æm- (Dg *æn-*) préverbe “avec”, de Ir **sam*, IC **ham*, Dg *æncæ* P3 indic. prés, de *un* “être”,

**hanti* (skt *santi*, av. *hānti*).

Au contraire, on a oss. *x* dans:

xuy “porc”, de Ir **sū*, av. *hū*,

xid (Dg *xed*) “pont”, **saitu* (5),

xo (Dg *xuæræ*) “sœur”, de **svasar-* (6).

4. *æcæg* (Dg =) “vrai, vérité”.

Ir **sant/snt*, part. prés, de *as* “être”,

skt *sant*; *satya* “réel, vrai, vérité”,

av. *haiθya* “vrai, juste”.

(a) Traitement de **s*: 3.d.

(b) Ir **a* > oss. *æ*: 1.a.

(c) Traitement de **ty* (**ti*):

IC **t* s'est assibilé devant **y* et **i*; le résultat est une affriquée **c*; dans le groupe **-ty-*, il y a eu spirantisation de **t* en **ʈ*; l'affriquée issue de **-θy-* reste sourde (cf. 2.d: absence de sonorisation pour **θ*); le traitement est le même devant **i* pour **t* initial ou explosif:

cyry (Dg *ciry*) “aigu”, de **tigra*,

-ync (Dg *-uncæ*) “ils sont”, dés. P3, cf. 3.c.

Au contraire, quand **c* est issu de **t* intervocalique devant **i*, on a sonorisation de **c* en *dz* (ELO 75):

kuydz (Dg *kui*: Rem. 3) “chien”, de **kuti*: GrW 170,

ssædz (Dg *insæi*) “vingt”, de **vinsati*: GrW 214.

Dans quelques cas, on a métathèse de **y*:

fistæg (Dg *festæg*) “piéton”, OC **paistaga*,

IC **pastyā.ka*, skt *patti* “fantassin”;

donc un traitement comparable à celui de **dy* dans:
midæg (Dg *medæg*) “à l’intérieur”, IC **madya.ka* (5.a).

Rem. 3:

Au moment de la sonorisation, **c* issu de **t* est encore distinct de **c* issu de IIr **k*; à ce niveau, il faut donc distinguer **d'* (dentale assibilée) et **ʒ* (vélaire assibilée); en iron, les deux phonèmes se sont confondus (= *dz*); en digor, par contre, **d'* donne *i* (via **yy?*) et **ʒ* donne *dz*: *tadzun*, de **tač-*: l.a.

Rem. 4:

On a oss. *ndz* de **nti* dans *čyndz* (Dg *kindzæ*) “bru, fiancée”, si ce mot vient bien de **kanti* (A I, 607), dérivation en **-ti* du thème qui donne, avec le suffixe **yā*, skt *kanyā*, av. *kainyā* “jeune fille”; une telle étymologie pose plusieurs problèmes: Dg *i*, Ir *y* ne peut pas venir de **a* car l’ossète ne connaît pas d’infection par **i*, contrairement à **u* (9.b); d’un ancien **ti* on attend Ir *dz*, Dg *i* (*supra*); pour le vocalisme radical on pourrait envisager un croisement avec *čyzg* (Dg *kizgæ*) “fille” (emprunt à turc *qyz*: A I, 614); pour le “suffixe”, il faut renoncer à **ti*, sans appui hors de l’ossète, et poser **-či/-čyā*. Ce suffixe se rencontre également dans *idædz* (Dg =) “veuf, veuve” pour lequel un étymon **vidvati* (A I, 539; GrW 234) est aussi difficile à justifier: ELO 32 pose correctement **vidava-či*. Δ rapprocher de skt *-aīc-* (fém. *-ac.ī*)?

(d) Sonorisation de **k* intérieur:

En ossète, les occlusives sourdes intervocaliques se sonorisent; on aura donc *d* de **t* (2.d) et *g* de **k*:

igær (Dg =) “foie”, de **yagr-* (skt *yakṛt*, etc.),

zonyg (Dg *zonug*) “genou”, de **zānuka*: GrW 159.

Même traitement à l’intérieur des composés:

æ.gad “sans gloire (*kad*)”,

xos.gærdæn “fenaïson”, *xos* “foin” + *kærd.yn* “couper”.

Pour **p* intervocalique, il y a eu spirantisation, puis sonorisation: *tavyn* (2.a).

5. *xid* (Dg *xed*) “pont”.

IIr **saitu* “digue”: Asica 31,

skt *setu* “digue, pont”, av. *haitu* “digue”.

(a) IIr **ai* > Dg *e*, Ir *i*:

En iron comme en digor, il y a monophthongaison des diphtongues héritées **ai* et **au* mais le résultat diffère d’un dialecte à l’autre; pour **ai*, on a Ir *i*, Dg *e*:

miγ (Dg *meyæ*) “nuage”: IIr **maigha*: A II, 117,

skt *meglia*, av. *maēya* “nuage”.
lidzyn (Dg *ledzun*) “s’ enfuir”: § 7.14.d.

— diphtongue initiale:
iu (Dg *ieu*) “un”: Ic **aiva* “un”, GrW 163,
av. *æva*, vx p. *aiva*.

— **ai* secondaire (métathèse de **y*):
midæg (Dg *medæg*) “dans, à l’intérieur de” (+ gén.),
Iir **madhya*, av. *maidya* “médian, milieu”, A II, 115.
OC **au* > Dg *o*, Ir *u*:
sudzyn, *syzd-* (Dg *sodzun*, *suyd-*) “brûler”,
Iir. **śauc/śuk*, skt *ŚOCati*,
av. *saoča(ya)-*, *sux.ta* “brûler, briller”.

Rem. 5:

Iir *šuk.ra* “brilliant” (skt *śukra* “brilliant”; IC “rouge”, av. *suxra*, etc.) donne Ir *syrx* (Dg *surx*) “rouge”.

— **au* issu de métathèse:
urs (Dg *uors*) “blanc”: Iir **aruša* GrW 233,
skt *aruša* “rouge feu”, av. *auruša* “blanc”.

(b) Iir **s* > oss. *x* (devant **i*): 3.d.

(c) Sonorisation de **t*: 2.d.

6. *xo*, pl. *xotæ* (Dg *xuærae*) “sœur”.
Iir **svasar-*, *svasr-*: GrW 253.
skt *svasā* (NSg), *svasāram* (AcSg), *svasre* (DSg),
av. *x^vaṅha* (NSg), *x^vaṅharəm* (AcSg).

(a) Iir **sv* > IC **xv* > Dg *xu*, Ir *x*:

On a vu que IC **h* se renforçait en **x* devant **u* (3.d); un groupe Iir **sv* donnera donc OC **xw-*, conservé en digor (*xu*) mais réduit à *x* en iron (liste: OJaF 368):

xæryn, *xord-* (Dg *xuærun*, *xuærd-/xord-*) “manger”,
IE **swel* “absorber, avaler”, IC **xwar* “manger”: GrW 250, sogd. *γwr*,
pehl.

hwltan (= [*x^vartan*]), pers. *xordan* “manger”.

xorz (Dg *xuari*) “bon, bien”,
 **x^varz*: ELO 9, 26; GrW 254; **xvarzu*: Izogl 115.
xæd (Dg *xuæd*) préf. “auto- (spontanément)”,
 Ir **sva.ta* : av. *x^vata* “de soi-même”, pehl. *x^vat*, pers. *xod* “self”.

(b) Dg *ua* = Ir *o* (OJaF 367):

En iron, dans un groupe **ua*, **a* se labialise en *o*, qui absorbe ensuite **u*:
xor (Dg *xuar*) “céréale, blé, nourriture”
xos (Dg *xuasæ*) “foin”: Asica 33.

Rem. 6:

Pour une prononciation vélaire [ã] de **ā* à époque romaine, voir la graphie *Alaunoi* (= *Alānoi*) chez Ptolémée (SO § 24); devant nasale, on a oss. *o*:

nom, *næmttæ* (Dg *nom/non*, *næmttæ*) “nom”,

Ir **nāman-* (= skt, av., vx p.): GrW 202.

zonym, *zynd-* (Dg *zonun*, *zund-*) “savoir”,

IC **zāna-*: GrW 160,

skt *JĀNĀti*, av. *zān-/zanā*, vx p. *dānā-*.

Normalement Ir *o* correspond à Dg *ua*, donc à une ancienne longue **ā*; à Dg *uæ* correspond Ir *æ*: *xæryn* (6.a), *xæd* (*supra*; autres exemples: OJaF 368). Pour Dg *xuærae* on attend Ir **xærae* (cf. *xærae.fyrt* “neveu”); Ir *xo* et Dg *xuærae* ne sont donc pas superposables.

Il faut partir d’un paradigme alternant:

— NSg OC **xuā*, de IC **xvahā* (cf. *uat*: 2.d), donnant régulièrement Ir *xo*: on attendrait Dg **xua*;

— cas obliques: **xuār-*; par extension de la règle d’abrègement des longues quand le thème cesse d’être monosyllabique (3.b), on a OC **xuar-*, Dg *xuær-*, Ir *xær-*.

Ce paradigme **xua/xuær-* a été normalisé, en iron, à partir du NSg *xo*: GSg *xoij*; en digor, à partir du thème oblique *xuær-*, sur le modèle des noms de parenté (7.a, Rem. 8): NSg *xuærae*.

Rem. 7:

En iron, *-æuæ-* tend à se réduire à *uo/o*:

nuog/nog (Ir, Dg *næuæg*) “nouveau”, *nodžy* “à nouveau”,

Ir **nava* “nouveau”, OC **nava.ka*: GrW 201.

ruog, *rog* (Ir, Dg *ræuæg*) “léger, poumon”,

SC **frava.ka* (IE **plu* “flotter”): ELO 41.

rod, *ræuæd* “veau”, de **fravata*; ELO 41,

Dg *uæss* vient de **vatsa* (= skt “veau”).

La même prononciation [o] d’un groupe [awa] se retrouve en abkhaz: *d.z.bo.yt* ‘‘je le vois’’, où *bo* = *ba* ‘‘voir’’ + suff. *wa* (présent); il pourrait s’agir d’un trait phonétique aréal, indépendant de la génétique; on signalera un autre parallèle: la diphtongaison iron de *u* en [wə] (Sokolova 1953, 8); en abkhaz, [u] (cyrillique *Y*) recouvre [wə] (ainsi noté chez G. Dumézil), phonème *w* syllabique.

(c) Dg *r* = Ir \emptyset :

Il ne s’agit pas d’une correspondance phonétique régulière; Ir *xo* est issu de l’ancien NSg où *-*r* est tombé très tôt (dès l’Ir? : skt *svasā*); Dg *xuæra* est refait sur le thème oblique (*supra*).

Ailleurs, en iron, -*r* final (de *-*ra*, etc.) se maintient après brève, longue ou diphtongue:

ændær (Dg =) ‘‘autre (alius)’’, Ir **antara*;

xor (Dg *xuar*): 6.b;

car ‘‘toit’’ (*infra*);

bur (Dg *bor*) ‘‘jaune’’, OC **baura* (IC **barwa*).

Il n’y a pas de trace, en ossète, du degré réduit Ir **svasr-*, IC **svahr-*; de *-*ahr-* on attendrait OC **xwar/l-* comme pour (ELO 121-2) :

car (Dg =) ‘‘toit’’, *xæ.dzar* ‘‘maison’’ (*xæ-* de **sva-*),

IC **cahra*; av. *caṅra-ṅhak* ‘‘animal domestique’’.

ualdzæg (Dg =) ‘‘printemps’’: **vāri.čaka*,

IC **vahri-*, av. *vaṅri* ‘‘au printemps’’,

Ir **vasr/n*: skt *vasanta* ‘‘printemps’’.

7. *fyd*, pl. *fydæltæ* (Dg *fidæ*, *fiddæltæ*) ‘‘père’’.

Ir **ph²tār* (NSg), *ph²t(a)r-*,

skt *pitā* (NSg), *pitaram* (AcSg), *pitre* (DSg),

av. *ptā/tā* (NSg), *pitaram* (AcSg), *piθre* (DSg).

(a) Ir **-ā* > Dg -*æ*, Ir - \emptyset :

À la finale, en OC, les brèves s’amoussent et les longues s’abrègent; on comparera le gotique: prêt. Sl *nam* de **nom.a*; prés. Sl *nima* de **nem.ō*.

En digor, ces brèves finales se conservent; en iron, elles tombent à leur tour. On a donc régulièrement : Dg -*æ* = Ir - \emptyset (OJaF 390-5); d’où les noms digor en -*æ*, GSg -*i* (§ 10):

cyt (Dg *citæ*) ‘‘honneur (de réparation)’’,

av. **čiθā* ‘‘peine, châtiment’’: ELO 48.

æxsæv (Dg *æxsævæ*) ‘‘nuit’’, de IC **xšap(ā)*,

av. *xšapā*, skt *kṣapā* ‘‘nuit’’: GrW 123.

Rem. 8:

Dans les noms de parenté, **-ā* (NSg) est issu de **-ār* (allongement du NSg); on aura donc, à côté de *fidæ*:

mad (Dg *madæ*) “mere”, de **mātār*,

ærvad (Dg *ærvadæ*) “parent”, de **bhrātār*: cf. Rem. 9.

Le thème oblique **-tar-* ne survit qu’au pluriel: *madæltæ, ærvadæltæ* (*infra* b).

(b) Pluriel *-ælt-*:

Au pluriel, les noms de parenté connaissent un élargissement *-ælt-*, étendu à d’autres noms en digor (§ 9). Il faut partir de **pitaras*, probablement refait en **pitarai* (sur ce pluriel sans **-tā*: SO § 28), ce qui justifie *-l* (OC **-ri*: 11.c); par contre, la géminée du digor: *fiddæltæ, maddæltæ, ærvaddæltæ* reste inexplicquée.

(c) OC **i* > Dg *i*, Ir *y*:

L’opposition phonologique OC **i/u*, conservée en digor, est neutralisée en iron: voyelle centrale fermée *y* [ə]:

fyrt (9), *cyry* (10), *fyn* (§7.15).

Dans le nom du père, IC **i* est issu d’une voyelle d’appui au contact d’une laryngale **h²* (?); une telle voyelle assez régulièrement développée en indien est plus rare en iranien.

(d) Ilr **p* > oss. *f*: 2.a.

(e) Ilr **t* (interv.) > oss. *d*: 2.d.

8. *æfsymær*, pl. *æfsymærtæ* (Dg *ænsuvær*) “frère”,
**ham-* + *sū.bara* “matrice”: A I, 206; ELO 42-3; GrW 120.

Rem. 9:

Le mot OC **am.suvar* s’est substitué au nom hérité: *ærvad* (de **bhrātār*- “frère”) dont le sens s’est élargi et qui signifie en ossète “parent”; OC **am.suvar* est formé sur un modèle connu (gr *adelphós*, skt *sa.garbh.ya*: Perpillou 1984, 212-3).

Le second terme existe à l’état libre: *syvær* (Dg *suvær*) “matrice”; dérivé *syvellon*, pl. *syvellættæ* (Dg *suvællon, suvellænttæ*) “enfant” (*-on* suffixe d’adjectif d’appartenance: GSO 96).

Dans les langues CNO, “frère” et “sœur” sont désignés par des composés signifiant “même sang”: abx. *ay.š’a* (*ay* indice réciproque; *š’a* “sang”).

(a) IC **ham* > Dg *æn-*:

La nasale *m* se conserve en iron mais tend à passer à *n* en digor; c'est le cas en finale (OJaF 378-9):

gom (Dg *igon*) "ouvert", **vi.kāma*: A I, 523,

cf. *kom* (Dg =) "bouche";

fysym (Dg *fusun*) "hôte (Wirt)",

IIr **paśu.man*: ELO 9;

-æm (Dg *-æn*) dés. Pl: § 20.d.

On a également Dg *n* dans:

simyn, *simd-* (Dg *semun*, *sind-*) "danser (ronde)";

A III, 108, Abaev 1979;

casm (Dg *cans*) "nœud", de **časman* "œil"

métathèse en digor: A I, 291.

En finale, après consonne, *m* s'amuit en Dg:

qarm (Dg *γar*) "chaud", IIr **gharma*.

Rem. 10:

Le préverbe *æm-* est bien représenté en iron (Grundr 81; A I, 133; ELO 95; GrW 115).

En digor on a *æn-*:

æm.dzu (Dg *æn.dzo*) "compagnon de route",

**ham-*+ **čyava*: ELO 23;

æm.vars (Dg *æn.vars*) "allié" (*fars* "côté").

(b) IIr **ś* > oss. *s*:

La réalisation phonétique des sifflantes de l'iron varie selon les régions (SO § 26, n. 35; Abaev Belardi Minissi 62); en digor, *s* et *z* ont des allophones [ś] et [ź] devant voyelle palatale: DD 12.

OC **s* et **z* sont issus des palatales IIr **ś* et **ź* (*h*) (= IE **k* et **g*(*h*)):

syrx (Dg *surx*) "rouge": **śukra*: 5.a, Rem. 5;

dæs (Dg =) "dix", de **daśa*.

Cf. aussi: *ast* (3.b), *ssædz* (4.c), *sudzyn* (5.a); pour **ź*: 13.a.

OC **s* peut également provenir:

– de IIr **š* (= IE **s* après *i*, *u*, *r*; *k*):

urs (5.a), *æxsæv* (7.a)

– de IE **sk* (*tæfsyn*: 2.c);

– d'une dentale devant **t*: *fistæg* (**pad.ty.aka*): 4.c.

(c) IIr **-b-* > oss. *-v-*:

En position intervocalique, on a neutralisation de l'opposition **p* ~ **b*(*h*) au profit de oss. *-v-*:

davyn, *davd-* (Dg *davun*, *davd-*) “voler, dérober”,
 Ilr **dhabh* “léser”, skt *DABHnoti* “faire du mal à”;
 av. *dābānau-*, *dābaya-* “tromper”;
tavyn “chauffer”: Ilr **tapa-* (2.a),
æxsæv “nuit”: IC **xšapa* (7.a).

Rem. 11:

L’ossète ne connaît pas la spirantisation initiale de IC **b* qui a entraîné ailleurs la neutralisation de l’opposition **b* ~ **w* au profit d’une spirante bilabiale [β]: latin tardif *bixit* = *vixit*, etc.

L’ossète distingue donc:

- *bættyn*, *bast-* “lier”: IC **banda-*, *basta*;
- *umyn* (Dg *uomun*) “vomir”: Ilr **vāma-*.

Les homologues khotanais ont même initiale:

- *bañ-*, *basta* “lier”,
- *bam*, *baṃda* “vomir”.

Rem. 12:

Normalement, il ne devrait pas y avoir de mot ossète à initiale *v-*; la langue en a acquis par emprunt (turc, russe: ELO 11) ou par accident phonétique.

– métathèse:

væiiyn “être (itératif)” OC **wabya-*, IC **bawya-*;
uævyn “être”: IC **bava-* “devenir”;

– influence des composés:

vazyg “complexe”, extrait de *di-vazyg* (Dg *du-vazyg*) “double”, *ærtæ-vazyg* (Dg *ærti-vazug*) “triple”, etc. (ELO 65);

– aphérèse:

væzn (et *ivæzn*: Dg *ivæznæ*) “étendue”.

Rem. 13:

À l’initiale, IC **vi-* > OC *i-*; le point de départ pourrait être une dissimilation dans une séquence **vi-v-* (ELO 13-5); OC *i-* se conserve en digor mais s’amuit en iron (OJaF 371-2):

dard (Dg *idard*) “loin”, de **vi-tarta*: ELO 96;

uazæg (Dg *iuazæg*) “hôte (Gast)”;

IC **vi-vāzaka* “voyageur” (**vaz* = IE **wegh*): ELO 13.

(d) Ilr* *u* > Dg *u*, Ir *y*.

L’ossète a des voyelles longues, issues des diphtongues **ai* et **au* (5.a); en iron, l’opposition de quantité n’est pas phonologique, *i* et *u* sont des longues sans contrepartie brève; sont longues phonétiques *e* (issu de contractions: *æ* +

æ, *æ + i*, etc.), *a* (de **ā*) et *o* (allophone de *a*); les deux brèves *æ* et *y* s'opposent aux autres voyelles par leur caractère central; la quantité brève est un trait accessoire (Sokolova 1953, 25-35; Abaev Belardi Minissi 57-9; Isaev 1963); en digor, *a*, *e*, *o* sont longues, *æ*, *i*, *u* brèves (Sokolova 1953, 18-24).

Oss. *a/æ* conserve l'opposition de quantité **ā/a* de l'Ir; pour *u* et *i*, où la quantité avait un moindre rendement, on a neutralisation: à IC **u/ū* répond Dg *u*, Ir *y*:

fyd (Dg *fud*) "mauvais, mal", *æmbyd* (Dg *æmbud*) "pourri",
IC **pūta* "pourri"; av. *pūti* "pourriture": ELO 9;
OC **hampūta*.

ærfyg, *ærfguytæ* (Dg *ærfug*, *ærfgutæ*) "sourcil",
IrOr **brū.ka*: A II, 406.

bazyg (Dg *bazug*) "bras": SC **bāzu.ka*: ELO 64.

Pour **ī* on manque d'exemples (GrW 32). IC **i* donne Dg *i*, Ir *y*: 7.c, 10.b.

(e) OC **m - s - v* > Ir *fs - m*:

On connaît en iron plusieurs exemples de métathèses de consonnes non contiguës, on citera (cf. GSO 118):

ivxærsyn/irxævsyn (Dg *evxæsun*) "faire franchir",
**abi-karš*: A I, 556.

9. *fyrt*, pl. *fyrttæ* (Dg *furt*, *furttæ*) "fils".

Ir **putra* (IE **putlo*),

skt *putra*, av. *puθra*, vx p. *puça* "fils".

(a) Ir **p* > oss. *f*: 2.a.

(b) Ir **u* > Dg *u*, Ir *y*:

On a vu que Ir *y* représente OC **i* (= Dg *i*) et OC **u* (Dg *u*):

– OC **i*: *fyd* (7.c); *cyrγ* (10.b);

– OC **u*: 8.d; *syrx*: Rem. 5;

– OC **u* par infection de **a* (ELO 9):

myd (Dg *mud*) "miel": Ir **madhu*;

fys (Dg *fus*) "mouton": **paśu* "bétail".

(c) Metathèse: IC **θr* > Sc **rt* > oss. *rt*:

La métathèse des groupes de consonnes est caractéristique du scythique; on en a des exemples anciens dans l'onomastique de la Mer Noire (SO § 12):

Pourth-/Fourth- = IC **putra* "fils";

Aspourgos = **aspa-ugra*, oss. *æfsury* (race de chevaux).

Elle affecte d'abord les groupes *consonne + r* (ELO 33-43):

– **tr* > oss. *rt*:

cyr̥t (Dg *cirt*) “pierre tombale”, cf. SO § 51,

Ilr **čitra*, IC **čiθra* “signe, marquee”: ELO 37, pour le sens: gr. *sēma*.

ærtæ (Dg =) “trois”: Ilr **trayas*: GrW 118.

– **dr* > oss. *rd*:

ærdu (Dg *ærdo*) “cheveu, poil”: **drava*: GrW 118;

syr̥d (Dg *sird*) “animal sauvage”: **siždra*: ELO 42,

av. *siždra* “sauvage”; cf. *Syrdon* chez les Nartes.

– **kr* > oss. *rx/lx*:

syr̥x (Dg *surx*) “rouge”: Rem. 5;

ælxæ̃nyn (Dg *ælxæ̃nun*) “acheter”: 11.c.

– **gr* > oss. *r̥γ/l̥q*:

cyry (Dg *ciry*) “aigu”: 10.

æ̃lqivyn (Dg *æ̃lyevun*) “serrer”: 11.

– **pr* > oss. *rf*:

arf (Dg =) “profond”: SC **āp.ra* (**ap* “eau”)?: A I, 63;

Dan.apris (= *Dniepr*) “Eau (oss. *don*) Profonde”? : SO § 12.

– **ks* > oss. *xs*:

æ̃xsyr̥f (Dg *æ̃xsir̥f*) “faucille”, IC **xšifra*,

Ilr **kšip*, skt *KṢIPati* “lancer brusquement”: ELO 40.

– **br* > oss. *rv/lv*:

æ̃rvad (Dg *æ̃rvadæ*) “parent”: Rem. 8, 9;

æ̃lvasyn, *æ̃lvæst-* (Dg *æ̃lvasun*, *æ̃lvast-*) “éjecter, projeter”: Ilr **bhraś*,

skt *BHRAMŚate* “tomber de”: ELO 36;

– par exception, **br*- > **rf*-:

æ̃rfyg (Dg *æ̃rfug*) “sourcil”, de **brūka*: 8.d.

Rem. 14:

Quand le groupe est initial, il se développe une voyelle prothétique *æ*-: *æ̃lqivyn*, *ærdo*, *æ̃rfyg*, *æ̃rvad*, etc.

Un groupe **pr* initial s'est réduit à **r*- avant la métathèse (ELO 40-2): *ræ̃γæ̃d* (12); cette réduction apparaît dans l'onomastique “scythique”: *Radamofourtos* (SO § 12) si ce nom signifie bien “Premier (**fratama*) Fils (**puθra*)”.

Rem. 15:

La métathèse se produit également pour d'autres groupes:

- IC **zn* > oss. *nz*:

az (Dg *anz*) “année”: Ilr **ažhn-*, ELO 42, GrW 106;

skt *ahar*, *ahn-*; av. *asn-* (**azn-*) “jour”.

– Ir **zhv* > oss. *vz*:

avzag (Dg =) “langue”, IC **°zbā.ka*: ELO 11;

skt *jihvā*, av. *hizū*, *hizvā* “langue”.

10. *cyry* (Dg *ciry*) “aigu, aiguisé”;

Ir **tigra*: GrW 277.

skt *TEJayati* “aiguiser”, ppp *tikta*, *tig.ma* “pointu”, av. *tiži-*, *tiyra* “pointu”;

vx p. *tigra.xauda* “(Scythes) aux bonnets pointus” (SO § 3).

(a) **ti-* > OC **ci-*: 4.c.

(b) OC **i* > Dg *i*, Ir *y*:

On a vu (7.c, 8.d) que l’opposition OC **i* ~ *u* est neutralisée en iron; voici des exemples pour OC **i*:

fyd (Dg *fid*) “viande”: IC **pitu* “nourriture”: GrW 242.

av. *pitu* “nourriture (viande)”;

cy (Dg *ci*) “quid, quod” : IE **k^wid*; Ir **cid*,

skt *cid*, av. *čit*: particules,

fyd (Dg *fidæ*) “père”, **i* de *h²*: 7.c.

(c) Metathèse: 9.c.

(d) Ir **ig(h)* > oss. *γ*:

En Ir les vélaircs issues de IE **k^w*, **g^w*, **g^wh* se sont dédoublées en **k/k'*, **g/g'*, **gh/g'h* (skt *k/c*, *g/j*, *gh/h*); en IC le système s’est réduit, par perte de l’aspiration, à **k/č* et **g/ǰ*, puis en OC à **k/c* (interv.: *g/dz*) et **γ/dz*; on citera pour la sonore (sourde: 14.c):

– aspirée (IE **g^wh*):

ary, pl. *ærytæ* (Dg =) “prix”, Ir **argha*: A I, 65,

skt *argha*, av. *arəǰah-* “valeur”;

miγ (Dg *meγæ*) “nuage”: 5.a.

– sonore (IE **g^w*):

dzuryn, *dzurd-* (Dg *dzorun*, *dzurd-*) “parler”: OC **dzaura-*, **ǰar.wa-*,

**ǰr.ta*, Ir **g'har(h)* “chanter”: GrW 151,

av. *gar* “chant (de louange)”;

skt *GṛṇĀti* “chanter, louer”, *gūrta* “célèbre” (Ir **gr.n.ah.ti*, **g^orh.ta*);

pour le suffixe *-wa*: *fy cyn* 14.

dzayyr (Dg *dzayur*) “aux yeux ouverts”, IC **jāgaru*: ELO 82.
mary, pl. *mærytæ* (Dg =) “oiseau”, IC **mīga*: GrW 192,
skt *mīga* “bête sauvage”, av. *mārəya* “oiseau”.

Rem. 16:

À l’initiale et dans quelques groupes, OC **γ* est représenté par Ir *q*, occlusive uvulaire dont le point d’articulation est proche de celui des spirantes *x* et *γ* (ELO 7; Abaev Belardi Minissi 60):

qarm (Dg *γar*: 8.a) “chaud”, Ir **gharma*: GrW 262,
skt *gharma*, av. *garəma*;
qug, *quccytæ* (Dg *γog*, *γocitæ*) “vache”,
IE **g^wou-*, OC **gau.ka*: A II, 312;
ælqivyn (Dg *ælyevun*) “serrer”: 11.

Rem. 17:

En iron, *k* et *g* se palatalisent en *č* et *dž* devant *i* et *y*:
či (Dg *ke*) NSg du relatif: 14.c;
karč.y (Dg *kark.i*) GSg de *kark* “poulet”;
džityn (Dg *igetun*) “ne pas se décider, hésiter à”,
**vi-kaiθ*, av. *kaet*, skt *CIT* “réfléchir”: A I, 520;
lædž.y (Dg *læg.i*) GSg de *læg* “homme”.

11. *ælqivyn*, *ælqivd-* (Dg *ælyevun*, *ælyivd-*) “presser, serrer”: A II, 43, GrW 115.

Ir **ghrabh*, **gh_hrbh* “saisir”, SC **grabya-* > OC **alyaiva*,
skt *GRBHnāti*, pft *jaGRĀBHā*, ppp *GRĪHīta*,
av. *gərəwnaiti/gərəbaya-/gəurvaya-*, ppp *gərəpta*,
vx p. *g(a)rbaya-*.

(a) Métathèse: IC **gr-* > OC *æly-*:

On a normalement métathèse (9.c) et voyelle prothétique *æ-* (Rem. 14); pour OC **l* au lieu de **r* attendu: *infra* c; en iron *ælyivyn* existe à côté de la forme plus fréquente *ælqivyn*; pour V.I. Abaev (A II, 47) *q* est “expressif”.

(b) Ir **ai* > Dg *e*, Ir *i*: 5.a:

Pour expliquer la diphtongue du présent il faut supposer la métathèse de **by* en **ib*.

Du degré zéro ancien **gīfta* (cf. av.), on attend OC **γarvd* non attesté; sur le modèle des racines TET on lui a substitué **grab* (= OC **aryav-*); ce substitut du degré zéro Ir est attesté:

æryævsyn, *æryæfst-* (Dg *æryævsun*, *æryæfst-*) “geler”, (cf. fr. *prendre* pour l’eau qui gèle)

**grab.s*, pour **g_ǵb.s*: degré Ø avec -s- (IE *-*ske/o-*): 2.c;

Degré plein probable:

æryævyn, *æryævd-* (Dg *æryuvun*, *æryuvd-*) “soulever (fardeau)”,
**graba-*:

ELO 91; A II, 408.

Dg *æryuv-* avec labialisation devant *v* (15.a, Rem. 31) pour **æryiv-?*

Pour rendre compte de *ælqivd*, il faut admettre une réfection du degré zéro sur le nouveau thème de présent à diphtongue radicale, soit une proportion **alyaiv/alyiv* qui succède à un plus ancien **graib/grab*, lui-même issu de **grabya/grb*.

(c) Ir **r* > oss. *l*:

L’Ir a neutralisé l’opposition IE **r* ~ **l*; av., vx p. *r*, comme véd. *r*, répond indifféremment à IE **r* ou **l*; ce phonème unique a une réalisation phonétique variable selon les dialectes (cf. skt *rājā* en face de dial. [Asóka] *lājā*); au cours de l’histoire, le terme éliminé réapparaît, soit à la faveur d’emprunts, soit par évolution phonétique interne:

– skt *CALati*, en face de *CARati* régulier, est un emprunt à un dialecte à réalisation *l*;

– en persan, **rd* aboutit à *l* (*sāl* “année”, de **sard-*, oss. *særd* “été”).

En scythique, **ry* > **l* (1.b); ce nouveau phonème // a été identifié à l’allophone de /r/ devant /i/:

uæl- (Dg =) “sous”; IC **avari*: ELO 31-2; GrW 230; cf. § 14.f;

lymæn (Dg *limæn*) “ami”: IC **fri(ya)mana*. A II, 55; skt *priya*, av. *frya*.

L’influence d’un **i* radical, aujourd’hui disparu, rend compte de *l* dans:

ælxæynyn, *ælxæd-* (Dg *ælxænun*, *ælxæd-*) “acheter”: IE **k^wrih²*, skt *KRĪṇĀti*: A II, 49.

Rem. 18:

On attend OC **ælxin* (cf. sogd. *γr’yn* = [xrīn], ELO 80); un degré plein secondaire **xryana-* expliquerait OC **alxana-*.

Rem. 19:

Dans certains mots, oss. *l* ne s’explique pas et on a voulu y voir un descendant direct de IE **l* (Izogl 35-41):

calx (Dg =), pl. *cælxytæ* “roue”: IC **čaxra*

skt *cakra*; IE **k^wel*;

sælyn, *sald-* (Dg *sælnun*, *sald-*) “geler” (intr.),

IE *kel, av. *sarəta*, ski *śísira* “froid”.

Dg *læsæg* “saumon” (Ir *ærɣai*); *lakš- “poisson”; ELO 125, Izogl 7.

Une explication phonétique de OC *l est possible:

– *sælun* pourrait venir de *sar.ya-, avec extension analogique de *l au ppp.

– Dg *læsæg* ne peut être issu régulièrement de *lakša; on attendrait *ræxsæg (Izogl 7); c’est un terme “scytho-européen”, qui n’appartient pas au fond iranien.

– *calx* pourrait venir de *čaxrya (A I, 288) mais l peut être analogique du pluriel *cælx.y.(tæ)*: IrOr *caxri (*i de Ir *ai: SO § 28).

Rem. 20:

Oc *l pourrait venir également de IC *-rv- (ELO 32):

aly (Dg *al(li)*) “lout, chaque”: IC *harva.

Ir *sarva: A I, 48, ELO 31.

(d) Traitement de Ir *g: 10.d.

(e) Ir *bh > oss. b/v:

IC *b intervocalique donne OC *-v- (8.c); à l’initiale, devant voyelle: *b-* (*bættyn* “lier”: Rem. 11), devant consonne: *v-* (*ærvad* “parent”: 9.c).

12. *ræɣæd* (Dg =) “mûr”.

Ir *pra.gata “avancé”: ELO 40, GrW 206,

skt *pra.GAM* “avancer vers” (ppp. *pra.gata*),

av. *frā.gam* “atteindre”.

(a) Ir *pr > IC *fr > SC *r:

La réduction de IC *fr à r est ancienne; cf. *Radama-* pour **fratama* “premier” (9.c, Rem. 14). On citera: *ræuæd* “veau” (**fravata*), *ræuæg* “léger” (**fravaka*): 6.b, Rem. 17; *lymæn* “ami” (**fri(ya)mana*): 11.c.

(b) Traitement de IC *g: 10.d.

Rem. 21:

La racine *gam ne survit, en ossète, que dans des composés immotivés en synchronie; outre *ræɣæd*, on citera:

æɣɣæd (Dg *ænyæd*) “assez, suffisant”,

**ham.gata*: ELO 116.

ævyæd (Dg =) “période de réclusion (après l’accouchement)”: **apa.gati*: ELO 16.

(c) Sonorisation de *-t-: 2.d.

13. *zærdæ* (Dg =) “cœur”.

IIr **zh_ṛd.aya*: GrW 115, skt *hṛdaya*,

av. *zadādaya* “cœur”; pers. *dil* suppose vx p. **d(a)rd-*.

(a) IIr **zh* > IC **z* > OC **z*.

Le traitement de IC **z* est parallèle à celui de IC **s* (8.b): qu’il s’agisse de l’aspirée (IIr **zh*) ou de la sonore (IIr **z*):

– vélaire aspirée:

bazyg “bras”, IIr **bhāghu*, skt *bāhu*: 8.b.

az (Dg *anz*) “année” de IIr **ažhn-*: 9.c, Rem. 15.

nyuazyn/nuazyn, nyuæzt-/nozt- (Dg *niuazun, niuazt-*) “boire”,

ni-vāz*: GrW 203, IIr **vāzh* (IE **wegh*), skt *VAHati*, av. *vazaiti* “veho”, causatif (ā* radical) + prév. *ni*: “faire descendre”.

Rem. 22:

Le traitement est le même pour un ancien groupe **g + h³*:

æz (Dg =) “je”, de **ažh³.am* (IE **egeh³*),

skt *aham*, av. *azəm*, vx p. *adam*.

– vélaire sonore:

zonyn “savoir”: 6.b, Rem. 6.

zonyg “genou”: 4.d.

zæronđ (Dg =) “vieux”: **žar.ant*, skt *jarant* “vieux”: GrW 156.

ævzaly (Dg *ævzalu*) “charbon”: **zvār.yu* “combustible” (?)

**žvar* “|brûler”, skt *JVALaii* “flamboyer”.

Rem. 23:

OC **z* peut provenir aussi de IIr **z*, allophone de **s* devant sonore:

myzd (Dg *mizd*) “salaire”, de IIr **miždha*: A II, 145, skt *mīdha* “prix”, av. *mižda* “récompense”.

(b) Traitement de **ṛ*:

Le traitement ossète de IC **ṛ* est *-ær-*:

bærzond (Dg =) “élevé, haut”, de **bṛzant*: A I, 254.

skt *bṛhant* “grand”, av. *bærəzant* “haut”,

pers. *boland* “élevé” suppose vx p. **b(a)rdant*.

Rem. 24:

Dans les monosyllabes, on a oss. *-ar-* (cf. 3.b):

mord, pl. *mærdtæ* (Dg =) “mort, décédé”,
 IIr **m₁ta*: 1;
mary, pl. *mærytæ* (Dg =) “oiseau”, de **mrga*: 10.d.
arc, pl. *ærcytæ* (Dg *ærcæ*) “lance”, GrW 110;
 IIr **ǰšti*, skt *ǰšti*, av *aršti* “lance”;
 devenu thème en **yā* (cf. Dg *-æ*: 7.a).

Rem. 25:

Lorsque la forme cesse d’être monosyllabique, on a le traitement normal *-ær-*: pluriel (cf. mots cités), composés ou dérivés:

bulæ.mæry “rossignol” = **buræ* + *mary* “oiseau jaune”: A1, 270;
mærdæydau “rite (*æydau*) pour un mort (*mard*) = lamentations”, A II, 97.
uælmærd “cimetière” (*uæl* “au-dessus”).

(c) IIr **aya* > oss. *æ*: OlaF 395-6:

D’une finale **-aya(s)* on attend en ossète, avec chute de **-a(s)*: **-æi* qui se réduit à *-æ*, stable en iron, contrairement à *-æ* issu de **-ā* (7.a):

ærtæ (Dg =) “trois”: **trayas*: 9.c;
arfæ, pl. *arfætæ* (Dg =) “bénédiction”, **āfraya*: ELO 40.

Rem. 26:

Les thèmes en **-aya* sont à l’origine de la flexion des thèmes vocaliques: GSg *zærdæiy*, DSg *zærdæiæn* avec un *i* qui sépare thème et désinence (§ 10).

En digor, il faut distinguer les thèmes en *-æ* issus de **-aya* dont la flexion est identique à celle de l’iron et les thèmes en *-æ* issus de **-ā* (type *fidæ*): GSg *fidi*, OSg *fidæn*, etc., avec effacement de *-æ*, comme dans la flexion du pluriel (§ 10).

7. En marge des lois phonétiques

Il a paru utile, après les mots choisis pour illustrer la phonétique historique de l’ossète, de donner quelques formes difficiles.

14. *fycyn*, *fyxt-* (Dg *ficun*, *funxt-*) “rôtir, (faire) cuire”.
 IIr **pak/č* (IE **pek^w*) “rôtir”: GrW 248,
 skt *PACati* “cuire”, *PACyate* (pass.), *pakva* “cuit”.

Rem. 27:

Le ppp fait difficulté: *-u-* n’est pas isolé: pers. *puxtān* (prés. *paz-*); selon GrW 248, on a eu croisement entre **paxta* attendu et **paxva* (= *ski pakva*).

On posera donc **paxθva* puis, par infection (9-b), **puxθa*; la présence de **θ* explique le maintien de *-xt-* sans sonorisation (2.d).

Dg *ficun* ne peut venir de **pač.ya-*; on attendrait OC **faica-* (métathèse de *y*) donc Dg **fecun*; il n'y a pas d'infection par **i*: Abaev (A I, 487) se demande si Dg *i* n'est pas secondaire pour OC **u*; un thème de présent **pak.wa-* ne peut justifier **c*; on a posé **pax.sa > fyc-* (Gershcvitch), impossible phonétiquement (GrW 248).

Il faut donc supposer plusieurs croisements, entre **paxta* et **paxva* d'abord, entre **fuxt* et **fac/faic* (selon le type de présent choisi) ensuite.

Il reste à rendre compte de la nasale du ppp Dg *funxt*; Ir *fyxt* est ambigu puisqu'une nasale tombe devant *x*:

xox (Dg *xonx*) "montagne", GrW 255;

zæxx (Dg *zænxæ*) "terre": **zam.kā*, GrW 156.

On suggérera une influence de Dg *funuk* "cendre" (Ir *fænyk*, de **pāšnu* "poussière": ELO 20), 5 7.15.a.

(a) Ir **p > SC *f*: 2.a.

(b) Voyelle **i* et infection.

Contrairement à **u* qui labialise un **a* (9.b), **i* n'influe pas sur le timbre de la voyelle précédente; oss. *æ* se maintient malgré la présence d'un **i* dans:

ssædz (Dg *insæi*) "vingt": **vinsati*, 4.c.

fæł- (Dg =) préverbe: **pari*, ELO 29, 95.

Par contre, il se crée une diphtongue secondaire **ai* par métathèse de **y*: *midæg*, *fistæg* (4.c, 5.a).

Rem. 28:

La forme antévocalique du préverbe *fæ* (SO § 32) est *fæc-*, probablement issue de **paty-*; on rencontre aussi **fai*, avec métathèse:

fdis (Dg *fedes*) "reproche": OC **paidais*, IC **pati.daiša*, A I, 472.

(c) Ir **k/č > oss. k/c (g/dz)*.

Les "labio-vélaires" de l'IE se dédoublent en Ir (10.d); voici des exemples pour IE **k^w*:

– vélaire:

či (Dg *ka*; Dg *ke* = GSg) NSg du relat./inter. animé,

**kai* (IE **k^wo.i* = lat. *quī*); pour *č*: Rem. 17.

kæi (Dg *ke*: *supra*) GSg de *či*, Ir **kasya*,

skt *kasya*, av. *kahyā*.

kæm (Dg *kæmi*) InSg de *či*, de **kasmi*,

skt *kasmin*, av. *kahmi*.

kalm, pl. *kælmȳtæ* (Dg =) “serpent, ver”: **k̑mi*,
skt *k̑mi* “ver”: A I, 569.

– palatale

cyppar (Dg *cuppar*) “quatre”, de Ir **calvāras*,

IE **k^wetwores*, skt *carvāras*, av. *caθwāras*.

carm (Dg *car(m)*) “peau”, de **carman*,

skt *carma*, av. *čarəma* “cuir”,

cy (Dg *ci*) NSg du relat./inter. neutre, de Ir **cid*,

IE **kwid*, skt *cid*, av. *cit* (particules).

(d) Ir **-kt(h)-* > IC **-xt/θ-* > oss. *-γd/-xt-*.

La spirantisation de **k* devant consonne est régulière en IC; on aura donc
oss. *x* pour Ir **k* dans les groupes: *æxsæv* (7.a), *syrx* (5.a, 8.b), *ælxæny* (11.c).

Normalement, un groupe IC **-xt-* se sonorise en IrOr:

OC **suγd* (Dg *suγd*: 5.a): IC **suxta*,

cf. bactr. *ōsogdo* “pur” (**ava-suxta*);

Dg *duγd*, ppp de *docun* “traire” (Ir *dyγd*),

SC **duγda*, cf. Išk. «*diγd* “trait”»; IC **duxta* (Ir **dhugh*);

tayd-, ppp de *tadzyn* “couler goutte à goutte” (1.a, Rem. 1); SC **tayda*, cf.
Išk *tūγd* (*tac-* “partir”); OC **taxta* (**tač* “couler, courir”).

On peut ajouter:

lidzyn, *lyγd-* (Dg *ledzun*, *liγd-*) “s’enfuir”: Ir **raič-*, **rikta*; IE **leik^w*
“laisser”), véd. *RInAKti* “laisser”, caus. *RECaṣati*, ppp *rikta*, av. *irinaxti*,
raečayaiti; *irixtra* “fin”.

Pour qu’un groupe *-xt-* se maintienne en ossète, comme dans *fyxt*, il faut
poser **-xθ-*; il a existé une variante Ir **-tha* de **-ta* et le védique a peut-être
connu une forme *paktha* “oblation (cuite)”; mais **θ* pourrait aussi s’expliquer
par la spirantisation de **t* devant consonne, dans **pak.θva*, verbal d’obligation
(véd. *-tva*, av. *-θwa*) ou contamination de **pakta* et **pakva* (cf. Rem. 27).

15. *fyn* (Dg *fun*) “rêve, songe”.

IE **swep.no* “sommeil”, Ir **svapna*, IC **xwafna*,

skt *svapna*, av. *x^vafna*: ELO 20, GrW 244.

(a) Ir **-fn-* > oss. *-n-*:

Plusieurs groupes se réduisent à *-n-*:

– **θn* > oss. *n*:

ærm.ærin (Dg (*cæng*).*ærinæ*) “coudée”: OC **aratnyā*, ELO 18,

skt *aratni*, av. *frārāθni-* “id.”; av. *arəθna* “coude”; *arm* “main”

(*“bras”); *cong* (*cængtæ*) “bras”; *k’ux* “main”.

æxsin (Dg *æxsinæ*) “maîtresse”: **xšaiθnī*: ELO 19.

Rem. 29:

Dg *-æ* de **i* après groupe de consonnes (3.c). Pour *æxsin* alignement sur les noms de la famille (7.a, Rem. 8)?

Normalement Dg *i* ne répond pas à Ir *i* (cf. toutefois OJaF 366); un groupe **a-ny-* semble donner DG *-in-*, Ir *-in-*:

innæ (Dg =) “autre (alter)”, Ilr **anya*: GrW 162;

variante *annæ* (Dg =) analogique de *ændær* “alius”?

– **sn* > oss. *n*:

fænyk (Dg *funuk*) “cendre”: **pāsnu.ka*, ELO 20, A I, 449; skr *pāmśu*, av. *pqsnu* “poussière”.

Rem. 30:

À l’initiale, **sn* > *n* également:

nuar (Dg *nauær*) “tendon”: **snāvar* (= av.),

naiyn, nad- “baigner” (Dg *naiun* “passer à gué, naviguer”);

Ilr **snā*, skt *SNĀti* “se baigner”, av. *snā-* “laver”.

– **fn* > *n*:

tyn (Dg *tunæ*) “(rai de) lumière”: **taf.na(h)* (**tap*: 2), av. *tafnah.vant* (épithète de la lune): ELO 20.

Rem. 31:

Avant de tomber, **f* labialise la voyelle précédente; on a donc IC **-afn-* > OC *-un-*; même phénomène en khotanais:

thauna = oss. *tyn* (Dg *tunæ*) “vêtement”,

hūna “rêve” = *fyn*.

(b) Labialisation de **a*: Rem. 31.

(c) Traitement de Ilr **sv*:

Normalement, Ilr **sv* donne IC **xv*, OC **xw-* (6.a: Dg *xu*, Ir *x*); le traitement IC **xv* > OC **f* est attesté dans:

farn (Dg =) “prospérité”, **xvarnah-* “gloire (= prospérité)”,

av. *x^varənah-*; vx p. *farnah-* avec *f* comme oss. *farn*; dissimilation de **xw* en *f-* (Skjaervø 1983).

Rem. 32:

Le degré Ø de **swep* “dormer” se conserve dans:

xuyssyn, xuyst- (Dg *xussun, xust-*) “être couché, dormir”: **hup.s*: GrW 259,

degré *a*: av. *x^vaf.sa-* “dormir”.

Xur (Dg *xor*) “soleil” ne peut venir de **xvar* (av. *hvar*, skt *svar*; “unklar” GrW 257); OC **xaur* suppose un degré plein du type lit. *sáulė*.

Il faut donc supposer, pour l’initiale de *fyn*, une assimilation **xvafna* > **fafna* (GrW 244).

MORPHOLOGIE HISTORIQUE

I. FLEXION NOMINALE

8. Thème et flexion

La flexion nominale de l’ossète ne connaît pas la multiplicité des thèmes du sanskrit ou du grec; c’est une flexion proche du type agglutinant, sans apophonie radicale ou suffixale.

En iron, *k* et *g* sont palatalisés devant *y* ou *i*: sont concernées les désinences de génitif-inessif et de comitatif et certains pluriels; aux exemples déjà donnés (§ 6.10, Rem. 17), on ajoutera:

qug “vache”, ComSg *quđzimæ*.

Pour les pluriels, cf. *infra*.

L’adjectif est invariable; l’ordre des mots est rigoureux: le déterminant précède le déterminé (GSO 127); l’adjectif se place donc avant le substantif; la désinence du substantif vaut pour l’ensemble du syntagme; cette économie se retrouve pour les noms coordonnés: la désinence n’est employée qu’une fois, pour le dernier (GSO 128):

[*biræγ, ars æmæ ruvas*].*y arγau myn ra.kæn!*

“raconte-moi l’histoire du loup, de l’ours et du renard.”

(*biræγ* “loup”, *ars* “ours” [§ 6.3.b], *ruvas* “renard”).

[*ia mad, ia fyd æmæ ia xot*] *imæ goræt mæ a cydi*

“avec sa mère, son père et ses sœurs, il est allé à la ville.”

9. Formation du pluriel

Le pluriel se forme par adjonction d’un suffixe *-t(æ)* (§ 16), auquel s’ajoutent les désinences du singulier; il existe une variante *-ytæ* (Dg *-itæ*).

L'adjonction du suffixe de pluriel peut entraîner des modifications du thème (GSO 12-17; DD 34-36):

– chute de *æ*:

uazæg “hôte”, *uazdžytæ*

cf. *fyssæg*, *mæsyg* (*infra*); palatalisation: § 8.

– abrègement de *a* (o) en *æ*.

bælas “arbre”, *bælestæ* (Dg *bælasæ*, *bælestæ*).

xox “montagne”, *xæxtæ* (Dg *xonx*, *xuæntæ*);

cf. *æmbal*, *xai*, *hark*, *don* (*infra*).

– voyelle intercalaire:

kark “poulet”, *kærčytæ* (Dg *kærkitæ*)

čyndz “fiancée”, *čyndzitæ* (Dg *kindzæ*, *kindzitæ*),

fyssæg “écrivain”, *fysdžytæ* (Dg *finsæg*, *finsgutæ*),

mæsyg “tour”, *mæsguytæ* (Dg *mæsug*, *mæsgutæ*),

kærdæg “herbe”, *kærdædžytæ* (Dg *kærdægutæ*).

– après *r*, *l*, *m*, *n*, *y*, *w*, gemination de *t* (GSO 9, 16; DD 34):

æmbal “camarade”, *æmbælttæ*,

xai “part”, *xæittæ*.

– chute de *n*:

don “eau”, *dættæ* (Dg *dænttæ*).

Il existe quelques pluriels irréguliers:

– maintien d’une consonne tombée au singulier:

us “femme”, *ustytæ* (Dg *uosæ*, *uostitæ*).

– élargissement *-æ*l-:

fyd “père”, *fydæltæ* (Dg *fidæ*, *fiddæltæ*),

mad “mere”, *madæltæ* (Dg *madæ*, *maddæltæ*),

ærvad “parent”, *ærvadæltæ* (Dg *ærvadæ*, *ærvaddæltæ*).

Rem. 33:

Cet élargissement a été étendu à d’autres noms de la “famille” en digor:

*uost.æ*l.tæ “femmes” (cf. *supra*)

*nost.æ*l.tæ “brus” (et *nostitæ*, de *nostæ* = Ir *čyndz*);

dialectalement *-æ*l- a des emplois encore plus étendus (DD 36):

*kustæ*l.tæ “travaux”, de *kust* (= Ir *kuyst*).

10. Tableau de la flexion nominale

L’iron a deux flexions différentes selon que le thème se termine par une consonne ou une voyelle (GSO 19-20); en digor s’ajoute un troisième type à nominatif en *-æ*, la voyelle disparaît aux autres cas (DD 38; OJaF 396).

Voici la flexion de *sær* “tête” dans les deux dialectes; les autres thèmes consonantiques ont une flexion identique;

	Sing.		Plur.	
	Ir	Dg	Ir	Dg
Nom.	<i>sær</i>	<i>sær</i>	<i>sær.tæ</i>	<i>sær.tæ</i>
Gén.	<i>sær.y</i>	<i>sær.i</i>	<i>sær.t.y</i>	<i>sær.t.i</i>
Dat.	<i>sær.æn</i>	<i>sær.æn</i>	<i>sær.t.æn</i>	<i>sær.t.æn</i>
All.	<i>sær.mæ</i>	<i>sær.mæ</i>	<i>sær.tæ.m</i>	<i>sær.tæ.mæ</i>
Abl.	<i>sær.æi</i>	<i>sær.æi</i>	<i>sær.t.æi</i>	<i>sær.t.æi</i>
In.	<i>sær.y</i>	<i>sær.i</i>	<i>sær.t.y</i>	<i>sær.t.i</i>
Ad.	<i>sær.yl</i>	<i>sær.bæl</i>	<i>sær.t.yl</i>	<i>sær.tæ.bæl</i>
Eq.	<i>sær.au</i>	<i>sær.au</i>	<i>sær.t.au</i>	<i>sær.t.au</i>
Com.	<i>sær.imæ</i>	—	<i>sær.t.imæ</i>	—

Voici la flexion des thèmes vocaliques; ils ne diffèrent des thèmes consonantiques qu’au singulier; on remarquera que le type digor en *-æ* caduc se fléchit comme le pluriel; *zærdæ* “cœur”, Dg *qæma* “poignard”, *sifæ* “feuille”:

	Ir	Dg	Dg
Nom.	<i>zærdæ</i>	<i>qæma</i>	<i>sifæ</i>
Gén.	<i>zærdæi.y</i>	<i>qæma.i</i>	<i>sif.i</i>
Dat.	<i>zærdæi.æn</i>	<i>qæmai.æn</i>	<i>sif.æn</i>
All.	<i>zærdæ.mæ</i>	<i>qæma.mæ</i>	<i>sifæ.mæ</i>
Abl.	<i>zærdæi.æ</i>	<i>qæmai.æi</i>	<i>sif.æi</i>
In.	<i>zærdæi.y</i>	<i>qæma.i</i>	<i>sif.i</i>
Ad.	<i>zærdæi.yl</i>	<i>qæma.bæl</i>	<i>sifæ.bæl</i>
Eq.	<i>zærdæi.au</i>	<i>qæmai.au</i>	<i>sif.au</i>
Com.	<i>zærdæ.imæ</i>	—	—

Rem. 34:

Pour le génitif/inessif et l’adessif, l’iron utilise également des formes du type consonantique: *zærd.y* et *zærd.yl*.

11. Le système casuel de l’ossète

Le système casuel qui vient d’être présenté est celui qu’a adopté V. I. Abaev (GSO); les spécialistes ne sont d’accord ni sur le nom des cas, ni sur leur nombre.

— *L’accusatif.*

R. von Stackelberg (Beitr 4-13) comme V. Miller (Gundr 44) font figurer l’accusatif parmi les cas de l’ossète; un “accusativus indefinites” qui se con-

fond avec le nominatif et un “accusativus definitus” identique au génitif. Cet accusatif n’a donc aucune unité morphologique et ne pourrait se définir que sur des critères syntaxiques, comme cas du second argument. Au contraire H. Vogt (1944, 20) considère qu’il ne s’agit pas d’un cas de syncrétisme limité à un type de flexion et raye l’accusatif de la liste des cas; il est suivi par V.I. Abaev (GSO 17).

Un signifié complexe, associé ailleurs à un signifiant unique (accusatif latin, etc.), est représenté en ossète par deux morphèmes; pour chacun de ces cas, le signifié global dépasse largement la partie associée ailleurs à l’accusatif; intervient également l’allatif dont le signifié central est le directif (= accusatif latin ou grec) mais qui peut aussi exprimer un argument verbal (Beitr 38-40), second argument pour *kæsyn* “regarder”, *komyn* “obéir”; troisième pour *ævdisyn* “montrer”, etc.

Pour les verbes “transitifs” (définis par leur prétérit: § 22), le choix entre *-y* (= gén.) et *-Ø* (= nom.) dépend de plusieurs critères, le principal étant le trait [\pm défini] (défini = *y*): SO § 27. Il a donc paru préférable de ne pas isoler un accusatif morphologique.

— *Le vocatif.*

Il existe une forme de “vocative” pour trois noms: *læg.ai* “homme!”, *us.ai* “femme!”, *čyrg.ai* “fille!” (GSO 82); mais *ai* est une particule autonome (Vogt 1944, 19), comparable, à la place près, à lat. *o*.

TO 44 (n. 3) donne un “vocative” inattendu: *mæ fydy zæronð* “mon vieux père!” (autres exemples Vogt 1944, 19); on a cherché dans *-y* un ézâfé (Bailey: Bielmeier 1982, 67).

Vogt (1944, 19) y voit un génitif poétique et Abaev (1969) en a donné l’explication: c’est un génitif déterminant un adjectif substantive, dans un syntagme parallèle à fr. *mon vieillard de père*; *Belaiy ræsuɣd* “cette beauté de Bela”. *Fydy* est donc, dans l’exemple de Christensen, un génitif et non un vocatif.

Il subsiste un vocatif archaïque *fidæł* “père!” dans la traduction de l’Évangile (Luc 16, 24: Beitr 4); il est formé sur le thème **pitar-*; il ne paraît pas nécessaire de supposer un traitement **-as* > OC **-i* (Bielmeier 1982, 59), qui pose trop de problèmes morphologiques et phonétiques: OC *l* au lieu de **r* attendu peut provenir d’une normalisation morphologique à partir des cas en **-i* (gén./in.).

— *Génitif et inessif.*

La distinction entre le génitif (adnominal/accusatif) et l’inessif (locatif) est une constante des grammaires de l’ossète; il a donc paru préférable de la

maintenir dans le tableau de la flexion; en fait, seuls quelques pronoms distinguent ces deux cas: *a* “hic”, gén. *ai*, in. *am*; *či* “qui”, gén. *kæi*, in. *kæm* (cf. § 7.14.c). Un tel argument paraît insuffisant: faut-il en français admettre un datif parce que *lui* existe en face de *il*, *le*? Un génitif à cause de *dont* en face de *qui*, *que*?

— *Les cas du digor.*

Le digor n’a que 8 cas (DD 37), il manque le comitatif, remplacé par une postposition *xæccæ* (+ gén.: DD 72-3). Pour les autres cas, les désinences correspondent exactement à celles de l’iron, avec une notable exception: l’adessif a Dg *-bæł* en face de Ir *-yl*.

— *Noms des cas.*

Les spécialistes ont longtemps hésité sur le nom à donner à chacun des cas de l’ossète; dans le présent exposé, les noms sont la traduction française de ceux qu’emploie la version anglaise de la grammaire de V.I. Abaev (= GSO); il a paru nécessaire de donner un tableau d’équivalence entre les systèmes adoptés par les ouvrages de base; on trouvera ce tableau en Annexe III.

12. Étude diachronique: désinences héritées

a) *Nominatif:*

Le nominatif est caractérisé par la désinence *-Ø*; celle-ci est issue de IC **-as* (= nom.) et **-am* (= acc.) par réduction phonétique des finales (§ 6.3.c). Dans les thèmes digor en *-æ* (anciens thèmes en **-ā*), le nominatif est issu de **-ā* (= nom.) et **-ām* (= ace); dans les anciens thèmes en **-r* (*fidæ* “père”: § 6.7.a), le nominatif (Iir **-ā(r)* > Dg *-æ*) a supplanté l’accusatif; on attendrait **fidær* de **ph²tar.am*. Le thème **pitar-* se conserve au pluriel:

fidæł.tæ, avec *l* de OC **-li*, SC **-lai* (§ 16).

Les thèmes en **-aya* (*zærdæ*: § 6.13.C, Rem. 26) sont à l’origine de la flexion vocalique: de **z_ɣɣdaya.hya* on a régulièrement OC **zardayai* = AbSg *zærdæiæi* (Dg); au nominatif, **æi* attendu s’est réduit à *-æ*; cette réduction est postérieure, en iron, à la chute de *-æ* en finale. Sur le modèle des thèmes en **-aya*, *i* a servi de consonne tampon pour l’ensemble des thèmes vocaliques, à l’exception du type digor en *-æ* (§ 10).

Il faut signaler que, malgré l’environnement caucasique, l’ossète ignore toute construction ergative; les critères de sélection du sujet sont ceux des langues classiques, latin ou grec; le double prétérit (§ 27) s’explique par les conditions pan-iraniennes de création d’un prétérit à partir du verbal en **-ta*; il

existe en outre un passif analytique avec l'auxiliaire *cæuyn* "aller" (GSO 44, DD 79; cf. ital. *ventre*); normalement l'agent n'est pas exprimé (GSO 44); on citera cependant (Dg: DD 79):

fændægtæ aræzt cæuncæ k'olxozti qauræi

"les routes sont construites par les forces des kolkhozes."

où l'influence du russe ne peut être exclue.

b) *Ablatif*:

L'ablatif ossète a les valeurs d'un ablatif (origine) et d'un instrumental; il peut exprimer également un état du prédicat (Vogt 1944, 22-23; GSO 19; DD 42-43; cf. instr. russe).

La désinence *-æi* vient de IC **-ahya* (Iir **-asya*): Grundr 44; Weber 1980, 130; phonétique: § 7.14.c (*kæi*). En IE, dans les athématiques, génitif et ablatif ont même désinence: **e/os*; en slave, il en est de même pour les thématiques: *-a* (de **ōd*) = génitif + ablatif IE.

En ossète, **-ahya* a dû connaître une double évolution: spécialisation dans le génitif-ablatif puis syncrétisme avec l'instrumental; une confusion entre **-ād* (abl.) et **ā* (instr.) peut être ancienne; de **ā* on attend oss. *-æ*, qui existe comme allomorphe de *-æi* (abl.) dans les thèmes vocaliques: *zærdæiæ* mais Dg *-æiæi* suggère plutôt une dissimilation de **-iæi* en iron.

c) *Inessif*:

L'inessif est un locatif (Vogt 1944, 26-9); V. Miller (Grundr 45-46) hésite entre une désinence d'origine pronominale (Dat.-gén. **ai*: pronom SI **mai* = Dg *mi* (in.-abl.), S2 **tai* = Dg *di*, etc.) et une désinence **-ya*.

Il semble préférable de partir du locatif thématique **-ai* (= skt *-e*); la diphtongue IC **ai* donne Dg *-e*, Ir *-i* (§ 6.5.a); les longues finales s'abrègent (§6.7.a pour **-ā*); si on admet le même traitement pour les longues issues de diphtongues, on attend Dg *-i* (brève de **e* dans les alternances: *ælyevun*: *ælyivd*, § 6.11) et Ir *-y* (brève de *i*).

En faveur d'un traitement *-i* (Dg) / *-y* (Ir) de **-ai* on pourrait citer le pseudo-génitif en *-y* qui accompagne les noms de nombres (SO § 28) et qui est un pluriel résiduel (§ 16).

13. Désinences de création ossète

Pour les désinences de nominatif et d'ablatif, on s'accorde pour poser un étymon ancien, respectivement Iir **-ah/am* et **-ahya*. Pour l'inessif, **ai* semble plausible. Les autres désinences font problème.

d) *Datif*:

Pour V. Miller (Grundr 44), oss. *-æ̃n* est issu d'une désinence pronominale **-ahmāi* (skt *-asmai*, av. *-ahmāi*); une telle explication se heurte à des difficultés phonétiques: le thème pronominal élargi Ilr **-asma-* est attesté en ossète, dans les inessifs de *a* "hic": *am* (Dg *ami*), Ilr **asmi*; de *uyi* "is, ille": *uym* (Dg *uomi*), Ilr **avasmi*; de *či* "qui": *kæm* (Dg *kæmi*) (§ 7.14.c), Ilr **kasmi* et indirectement dans le datif et l'ablatif: *amæ̃n*, *amæ̃i*; *uymæ̃n*, *uymæ̃i* (Dg *uomæ̃n*, *uomæ̃i*); *kæ̃mæ̃n*, *kæ̃mæ̃i* pour lesquels le thème est élargi en *-m-*.

Il est donc difficile d'admettre une variante **-æ̃n-* qui n'aurait survécu que dans le datif des substantifs; rien ne prouve que **-m* puisse passer à *-n* dans l'ensemble de l'ossète; le phénomène se produit en digor (§ 6.8.a) mais est inconnu de l'iron; l'exemple que donne V. Miller n'est pas pertinent: *dæ̃n* "je suis" contient peut-être **ahmi* "je suis" (ELO 74) mais la désinence *-n* (SI) est celle de tous les verbes et ne se laisse pas facilement ramener à **-mi* (§ 20.a).

Pour Weber (1980, 132), *-æ̃n* est une ancienne désinence d'instrumental (khot. *-na*; skt *-ena*: Tedesco 1926, 131; SakaGrSt 257-9) mais il paraît difficile de justifier l'utilisation de **-na* (instr.) pour le datif; R.E. Emmerick (SakaGrSt 258) voit dans khot. *-na* le résultat de la fusion entre thématiques et thèmes en **-n*; une explication semblable pourrait rendre compte de oss. *-æ̃n* (dat.).

Pour expliquer *-æ̃n*, il faut tenir compte du syncrétisme ancien entre datif et génitif en Ilr. Certains emplois du génitif ossète relèvent plutôt d'un ancien datif; c'est le cas pour le génitif des impersonnels *qæ̃uyn* "falloir", *uyrnyn* "croire", *fæ̃ndyn* "vouloir" (SO § 27): *mæ̃n fæ̃ndy kusyn* "je veux travailler", etc. Beitr (7-8) y voit des accusatifs mais signale qu'on rencontre parfois un datif dans cette fonction.

Dans les thèmes en **-n*, on attend une flexion: NSg **nāma(n)* oss. *nom* "nom"; GSg **nāman.as* oss. *nomæ̃n*; cette dernière forme existe mais avec la valeur de datif.

À un moment de l'histoire de l'ossète, on a eu des flexions distinctes, thématiques (*furt*, GSg *furt.i*), thèmes en **-r* (*fidæ*, GSg **fidæ̃l*), thèmes en **-n* (*nom*, GSg **nomæ̃n*); les thèmes en **-r* forment une unité sémantique ("famille") et morphologique (NSg en *-æ̃*); les thèmes en **-n* par contre se distinguent mal des thématiques; dès les premiers textes, on constate des interférences entre thèmes en *-a* et thèmes en *-n*; ainsi en sanskrit: NAcPINt *-āni* (véd. *-ā*, forme attendue); GPI *-ānām*. Il y avait donc deux désinences en concurrence pour un champ sémantique complexe (génitif-datif); par rapport à *furt/furt.i*, *nomæ̃n* va s'analyser en *nom* (= NSg) + *-æ̃n* (allomorphe de *-i*); ensuite, on a eu spécialisation des deux allomorphes, *-i* comme génitif, *-æ̃n* comme datif. De *-i* (dat.) il ne subsiste que des emplois périphériques (impersonnels: *supra*).

14. Postpositions devenues désinences

e) *Comitalif*:

Le comitatif n'existe qu'en iron (§ 11); la désinence est une ancienne postposition: Grundr 46 y voit le thème Iir **sama*, IC **hama*; V.I. Abaev (OlaF 101) rapproche *iumæ* "ensemble" qui ne peut être très ancien. On peut hésiter entre les deux explications; la seconde est en accord avec le caractère récent d'un cas absent en digor; pour la première il faudrait partir de **hamyā* "ensemble" donnant OC **aimā* et Ir *-imæ*.

f) *Adessif*:

L'adessif indique un contact avec un objet, dans son extension spatiale ou temporelle (Vogt 1944, 25-6); c'est un cas récent, à en juger par la divergence entre iron et digor; V.I. Abaev (OJaF 100) le rapproche du superessif géorgien: *-ze* (d'un ancien *-zeda*); l'iron a donc subi l'influence des langues CS sur ce point comme pour le système des préverbes où l'iron se distingue du digor par une adaptation plus complète du système CS (SO § 29).

Dg *-bæl* viendrait de **upari* (Grundr 46; ELO 31); l'absence de spirantisation de **b* intervocalique (§ 6.8.c) se retrouve ailleurs:

Dg *robas* "renard = Ir *ruvas*, IC **raupāsa*, skt *lopāśa* "chacal" (Izogl 26, 3; A II, 433).

Ir *-yl* est plus difficile; il existe une variante *-uyl* (OlaF 100); il doit s'agir d'une forme affaiblie en finale de **avari* "au-dessus" dont la forme pleine *uæla* existe comme adverbe (ELO 31); en composition on rencontre aussi *uæl-*: *uæl.zæxx* "sur terre" (GSO 101); un flottement entre *æ* et *y* n'est pas sans exemple en iron: *xuyzdær* pour **xuærzdær* (de *xorz* "bon": § 6.6.a).

15. Désinences d'origine incertaine

g) *Allatif*:

L'allatif est un directif mais, comme l'accusatif directif de l'IE, il sert aussi pour les arguments verbaux (§ 11). V. Miller (Grundr 45) est dubitatif; il penche pour une désinence pronominale, avec oss. *-m-* de **-sm-*, mais une telle analyse est incompatible avec celle qu'il propose pour *-æn* (datif): § 13.d.

S'il s'agit bien d'une désinence d'origine pronominale, il faut poser **-asmai* (datif, Weber 1980, 130) mais cela suppose que le datif ait concurrencé victorieusement l'accusatif comme directif tandis qu'il cédait ses

fonctions propres (attribution, personne concernée) au génitif (§ 13.d). Il est probable que la confusion entre nominatif et accusatif (= OC *-Ø) a rendu nécessaire un renouvellement du signifiant [DIRECTIF].

h) *Équatif*:

L'équatif a été reconnu tardivement comme cas; pour V. Miller c'est un suffixe adverbial (Grundr 92); ni Stackelberg ni Christensen ne le mentionnent; c'est Vogt (1944, 20) qui a montré qu'il s'agissait bien d'un cas (= "adverbial").

L'origine de la désinence *-au*, commune aux deux dialectes, serait un suffixe: H.W. Bailey (Asica 9) rapproche sogdien *-w/-'w'k* (suff. nominal), d'un prototype **-āvan* (Gershevitch 1954, 164). On aurait donc Iir **-van(t)* évoluant du sens de "pourvu de" à "qui ressemble à", comme IE **-went* en grec homérique.

i) *Génitif*:

L'identité de désinence entre génitif et inessif est probablement due à une convergence phonétique accidentelle; il n'est pas nécessaire de poser une désinence unique à date ancienne.

Pour l'inessif **-ai* est probable (§ 12.c) mais on manque de parallèle en raison de la rareté de OC **i* en finale; pour V. Miller (Grundr 43), gén. *-y* est issu du suffixe d'appartenance **-ya*. Df *furti* serait donc un ancien adjectif (= skt *putrīya*, déduira "fils").

On comprendrait qu'un tel adjectif se substitue au génitif adnominal; il est plus difficile d'expliquer ainsi le génitif accusatif, sauf à poser une autre désinence, de locatif (**-ai*) ou de datif (**-āi*), manifestation du syncrétisme Iir entre génitif et datif (§ 13; Izogl 76; SO n. 37a).

Il n'existe pas de désinence nominale **-ya*; il se pose deux questions: s'agit-il de **ya* ancêtre de l'ézâfé? Quel est le rapport de l'accusatif "define" (*-i/y*) avec l'article défini *i* du digor?

Si un syntagme Dg *furti nom* "le nom du fils" est issu de *puθra.ya nāma*, il se superpose, en inversant l'ordre des termes, à pers. *nām e pesar*, de **nāma ya puθra*; il ne s'agit plus alors d'un suffixe d'adjectif mais du thème de "relatif" indo-iranien, plus précisément d'un marqueur syntaxique de déterminant nominal. On étend alors à tous les génitifs l'explication proposée pour le "vocatif" en *-y* (§ 11).

Le digor a un article antéposé *i* (Asica 15-6); en iron, il a disparu mais l'accentuation en conserve le souvenir (GSO 12; SO η. 37a). Dans un syntagme *Adj + Nom*, l'article peut se placer en tête de syntagme:

i boræ nælfus “le bélier jaune”,

ou entre adjectif et nom:

ustur i Nartmæ “aux grands Nartes”.

H.W. Bailey (Asica 17) rapproche sogd. *yw* et av. *ya*.

On peut envisager deux niveaux diachroniques, un niveau ancien avec construction à ézafé (= marqueur de détermination nominale) inversé [Dét .i N] et un niveau plus récent, d'époque caucasienne, avec article défini: *i* N.

Selon la nature du déterminant nominal, l'élément *i* a été interprété comme désinence (Dét. = nom; *-i* = génitif) ou comme article (Dét. = adj.; *i* = article). Un article antéposé se retrouve en abkhaz et oubykh, sous la forme *a-*.

Rem. 35:

Il est possible que l'ossète ait connu un article postposé, soit **bæx i* “le cheval”, article qui serait à l'origine de la forme définie de l'objet, par identification secondaire de cet article avec une désinence de génitif.

On rencontre un article postposé au substantif sur une large zone: langues Scandinaves (dan. *hus* “maison”, *hus.et* “la maison”), langues balkaniques comme le roumaine (*om* “homme”, *omul* “l'homme”, lat. *homo ille*) ou le bulgare (*ezik* “langue”, *ezik.ăt* “la langue”), tcherkesse (*ħa* “chien”, *ħa.r* “le chien”).

Il ne peut être question de parenté génétique; par contre, ces langues ont été, à un moment de leur histoire, en contact avec le monde scythique ou occupent des territoires anciennement scythiques; il faut souligner que le roumain est, pour la place de l'article, isolé parmi les langues romanes, comme le bulgare à l'intérieur des langues slaves ou le Scandinave dans l'ensemble germanique.

Ceci rend plausible, dans l'histoire de l'ossète, une étape où l'article était postposé.

Il faut apporter deux précisions:

a) L'ossète a connu par la suite un article antéposé (sur le modèle abkhaz?): *i bæx*; la forme à article postposé a survécu dans un emploi périphérique, comme marque de l'objet défini, *-i* étant réinterprété comme une désinence, identifiée à celle du génitif.

b) S'il y a eu transfert de cet article sur l'adjectif dans les syntagmes *adj. + nom* (cf. bulgare *malko-to dete* “le petit enfant (*dete*)”), cette construction a permis le passage de l'article postposé à l'article antéposé (cf. *supra, ustur i Nartmæ*).

Pour terminer sur ce point, il faut rappeler que l'adjectif défini du vieux slave s'obtient par addition de **yo* au thème.

16. Suffixe de pluriel

L'iranien nord-oriental a développé un suffixe de pluriel **-tā*, à partir d'un abstrait/collectif (cf. skt *-tā: puruṣatā* “nature humaine”, *puruṣa* “homme”, etc.).

Ce pluriel est attesté en sogdien (Benveniste 1929,79; Gershevitch 1954, 179, 184) et en ossète.

Rem. 36:

L'ossète a une sourde non aspirée, notée *tt* ou *t* (cf. § 9), qui ne peut provenir de IC **t* (§ 6.2.d); peut-être faut-il partir de Ir **-tha*, thématization de **-tā*.

Le sogdien conserve quelques pluriels résiduels, sans *-t*, en particulier dans les adjectifs prédicats; en ossète, l'ancien pluriel (NP1 thématique **-ai* > OC *-i* en finale: § 12.c) pourrait survivre:

– dans le “génitif qui accompagne les noms de nombres (*ærtæ bæxy* “trois chevaux”, cf. SO § 28) et qui semble avoir un parallèle dans ce que Sims-Williams (1979, 340) nomme “numerative”, pluriel sans *t* après numéral: *'δw' kp'* “deux poissons” (= oss. *dyuuæ kæfy*);

– dans le prétérit intransitif (§ 23-24): au pluriel, *cydy-* est issu de **čyutai*.

Rem. 37:

On rapprochera les pluriels des neutres grecs: *onóma.ta* “noms” (NAcsg (*óno*)*ma* de **-m̄*) peut s'analyser en *thème* + *suffixe collectif*, l'extension du *t* à l'ensemble des cas obliques provient de la réinterprétation de *onómata* en *onomat-* (thème) + *-a* (dés. NAcPI).

Rem. 38:

Le digor conserve *e* (de IC **ai*) dans quelques formes (pronominales (cf. Bielmeier 1982, 60-2); il ne s'agit pas de *-ah* (Nom. sg athématique) mais du traitement intérieur de **ai*): *avd bæxei* ~ *bæxi* “sept chevaux” (Ir *avd bæxy*), *beretæ ni* “plusieurs parmi nous” (A I, 262) = Ir *biræ*.

Rem. 39:

Il existe des pluriels elliptiques (Gabaraev 1977,45): *Batradzitæ* “Batraz et les autres”.

II. FLEXION VERBALE

17. Organisation de la conjugaison

Comme les autres langues iraniennes, l'ossète a construit sa conjugaison autour de deux thèmes, présent et prétérit; le prétérit est construit sur l'adjectif verbal en **-ta*. L'accord est total entre digor et iron pour la grille verbale.

Sur le thème de présent se forment l'**indicatif présent**, le **futur**, le **subjunctif** et l'**impératif**.

Sur le thème de prétérit se forment le **prétérit** (transitif ou intransitif), les **optatifs présent et passé**.

On trouvera des tableaux complets de la flexion verbale: GSO 52-56 (iron); DD 75-8 (digor).

La terminologie employée pour les temps du verbe ossète est assez flottante pour les modes (cf. Grundr 71-4): les trois formes modales sont regroupées sous le titre "**subjunctif**" ("Conjunctiv": Grundr; "subjunctive": GSO; "soslagatel'noe naklonenie": DD); on a un futur ("buduščee": DD); un "présent-futur" ("nastojasčee-buduščee": DD) et un passé ("prošedšee": DD); une telle terminologie n'est guère maniable et il a paru préférable de classer les trois formes modales en **subjunctif** (thème de présent; morphème *-ā-), **optatif présent** (thème de présent; morphème -i- de *-ai-) et **optatif passé** (thème de prétérit; morphème -i- de *-ai-) ce faisant, on reprend le classement de V. Miller (Grundr 71), classement qui se fonde à la fois sur les données de la comparaison et sur la structure interne du verbe ossète; le terme de **futur** sera donc réservé à l'indicatif futur (morphème -dzæen-) alors que Sjögren (cité Grundr 71, 74) distinguait deux futurs, "definitus" (= **subjunctif** A.C.) et "indefinitus" (= **futur** A.C.), les futurs I et II de V. Miller.

18. Thèmes fondamentaux

Les thèmes de présent et prétérit sont indépendants; on ne peut établir une règle unique de dérivation; GSO 35-42 donne les différents schémas dérivationnels accompagnés de nombreux exemples; DD 74 se contente de quelques verbes. On trouvera plusieurs verbes cités dans la *Phonétique historique*:

<i>arazyn / aræzyn, aræzt-</i>	6.1.a
<i>ælqivyn, ælqivd-</i>	6.11
<i>ælvasyn, ælvæst-</i>	6.9c
<i>ælxæyn, ælxæd-</i>	6.11.c
<i>æryævyn, æryævd-</i>	6.11.b
<i>æryævsyn, æryæfst-</i>	6.11.b
<i>bættyn, bast-</i>	6.8.c, Rem. 11
<i>davyn, davd-</i>	6.8.c
<i>dymyn, dymd-</i>	6.2.c
<i>dymsyn, dymst-</i>	6.2.c
<i>dzuryyn, dzurd-</i>	6.10.d
<i>færsyn, farst-</i>	6.2.c, Rem. 2

<i>fycyn, fyxst-</i>	7.14
<i>kalyñ / kælyñ, kald-</i>	6.1.a
<i>lidzyn, lyyd-</i>	7.14.d
<i>maryñ / mælyñ, mard-</i>	6.1
<i>naiyn, nad-</i>	7.15.a, Rem. 30
<i>nyuazyn, nyuæst-/nozt-</i>	6.13.a
<i>sælyñ, sald-</i>	6.11.c. Rem. 19
<i>simyn, simd-</i>	6.8.a
<i>sudzyn, syyd-</i>	6.5.a
<i>tadzyn / tædzyn, tayd-</i>	6.1.a
<i>tavyn, tavid-</i>	6.2
<i>tæfsyn, tæfst-</i>	6.2
<i>uaryñ, ard-</i>	6.1.b
<i>xæryñ, xord-</i>	6.6.a
<i>xonyñ / xuyñyn, xuynd-</i>	6.1, Rem. 1
<i>xuyssyn, xuyst-</i>	6.15.c, Rem. 32
<i>zonyñ, zynd-</i>	6.6.b, Rem. 6

19. L'indicatif présent: les forms

Tous les présents, à l'exception de *uyn* (Dg *un*) "être" se fléchissent sur le même modèle; voici le présent du verbe "faire", Ir *kænyñ*, Dg *kænun* (§ 23):

Ir	Dg
<i>kænyñ</i>	<i>kænun</i>
<i>kænyš</i>	<i>kæniš</i>
<i>kæny</i>	<i>kænu</i>
<i>kæncæm</i>	<i>kæncæn</i>
<i>kænut</i>	<i>kænetæ</i>
<i>kænyñc</i>	<i>kænunncæ</i>

La flexion verbale est restée conforme au modèle indo-iranien; les désinences expriment globalement la personne et le nombre sans qu'on puisse dégager un morphème de pluriel; une telle flexion est très différente de celles des langues caucasiques environnantes; l'ossète ne connaît pas les indices personnels préfixés des langues CNO; rien ne correspond aux versions (orientation par rapport au sujet) des langues CS auxquelles l'iron a pourtant emprunté son système de préverbes (SO § 29); dans certaines langues CNE (avar, lezgi, etc.), le verbe n'a pas de désinences personnelles mais seulement, comme un adjectif, des indices de classe (+ nombre); l'ossète qui ignore genre et classe nominale ne peut rien avoir de comparable.

Il faut bien constater que le verbe iranien est resté imperméable à toute

influence extérieure; il en était de même pour les structures d'actance, avec l'absence de toute construction ergative (§ 12.a).

20. Préhistoire des désinences

a) Désinence S1

Partant du principe que oss. *-un* (S1) ne peut provenir que de Ilr **-ā-mi*, V. Miller (Grundr 70) suppose une réduction de **-mi* à *-n* en finale, un abrègement de **ā* comme pour PI *-æm* et une labialisation de **a* en *u*; tout ceci repose sur les bases fragiles d'un postulat qui impose **-mi* comme point de départ.

L'abrègement de **ā* dans P1 *-æm* (cf. § 20.d) ne peut justifier celui de **-āmi*; la labialisation d'un **a* en *u* existe pour **-afn-* (*fyn*: § 7.15, Rem. 32) mais jamais devant **m*, cf. *-æm* de **-ama* (ordinaux: § 6.3), etc. Enfin, le passage de *-m* à *-n* en finale est limité au digor (§ 6.8.a).

Il faut donc partir de **-n + ?*; **-n-* (S1) existe au subjonctif: av., véd. *-ā-ni*, qu'il s'agisse d'une désinence ou d'une particule recyclée en désinence (C. Watkins 1969, 133); Ilr **-āni* a un correspondant exact dans oss. *-on* (S1 subj.: § 26); la désinence *-n* a été étendue à partir du subjonctif, pour éviter une confusion entre S1 et P1.

On peut ajouter que **-ā* (lat., gr. *-ō*, etc.) donnerait OC **-a*, Dg *-æ*, Ir *-Ø*; on comprend qu'une telle désinence ait été renouvelée, avec la voyelle **u* de S3 et P3 (cf. *infra*) et la désinence de S1 subj. *-on*.

Rem. 40:

Le morphème d'infinitif est identique à la désinence S1: Ir *-yn*, Dg *-un*; on pose **-una*, où *-un-* est le suffixe de nom verbal IE **-wr/wn* (ELO 104-5).

b) Désinence S2

Ilr **a-si* donne IC **a-hi*; on attendrait OC **æi*, parallèle à *-ai* de **-ā-hi* (subj. S2) ou **i*, comme pour une diphtongue **-ai* (cf. § 12.c), selon la date de la chute de **h*.

Après **i*, **u* Ilr **s* devient **š*, oss. *s*; c'est le cas à l'optatif où l'on a *-is* (Dg *-isæ*) de **ai-ša* (?); il est donc probable que OC **-i* (S2) a été recaractérisée par l'adjonction de *-s* selon un processus comparable à celui du grec où S2 **-ei* (de **e-si*) a été refait en *-eis*.

c) Désinence S3/P3

À la troisième personne, on a **-u-* suivi des désinences attendues; **-u-nti* donne Dg *-uncæ*, Ir *-ync* (§ 6.3.c); **u-ti* donne régulièrement Dg *-ui* (OC **d' >*

Dg *i*: § 6.4.c, Rem. 3); en iron, on attend **y-dz*; il faut donc poser une forme à désinence -Ø (comme en grec: -*ei*, de *-*e-Ø-i*), soit OC *-*u-Ø* > Ir -*y*.

Si les langues IE connaissent des présents en *-*neu/nu-* et une désinence *-*u* (parfait S1 et S3?), nulle part un thème en **u* ne s'est substitué aux thématiques; c'est pourtant ce qu'il faut supposer en ossète; le verbe "faire" OC **kanu-* (Dg *kænu-*) pourrait avoir servi de modèle.

d) Désinence P1

Ir -*æm* et Dg -*æn* (-*n*: § 6.8.a) sont issus de *-*a-ma(s)* alors qu'on a IIr **ā-ma(s)* avec **ā* de IE **o*: skt -*ā-mas(i)*; av. -*ā-mahi*; pour P1 il y avait neutralisation entre indicatif (IE **o-mo(s)*) et subjonctif (IE **ō-mo(s)*).

En ossète, il faut supposer un abrègement à l'indicatif d'abord, par harmonisation interne du paradigme; cet abrègement s'est ensuite transmis au subjonctif (Ir -*æm*, Dg -*æn*), autre exemple d'interaction entre les deux modes (cf. S1 -*n*: § 20.a).

e) Désinence P2

C'est une désinence difficile car les deux dialectes sont en désaccord : Ir -*ut*, Dg -*etæ*. Il faut poser une longue finale *-*ā* (§ 6.7.a); -*t*- intervocalique suppose **ð* donc IIr **th* (skt -*tha*) ou **t* devant consonne.

Si on part de **th*, la diphtongue (Ir **au*, Dg **ai*) est héritée mais il faut alors supposer une tradition indépendante pour chaque dialecte; Dg -*etæ* ne peut provenir de *-*aya-ða* (Grundr 70) car un traitement **aya* > Dg *e* est sans exemple (§ 6.13.c); un degré plein **au* (P2) de **u* (S1, S3, P3) est peu probable. Expliquer, avec V. Miller, ces désinences par l'influence du verbe copule (Ir *stut*, Dg *aitæ*) ne fait que repousser le problème (§21).

Il paraît préférable de poser deux désinences *-*ðvā* et *-*ðyā*. La première pourrait être issue du croisement de *-*t(h)a* (act.) et *-*dhwa-* (moy.); elle aboutit à Ir -*ut* par métathèse de **w* et diphtongue secondaire **au* (Ir *u*): § 6.5.a, Rem. 5.

La seconde est isolée; pour parvenir à Dg *etæ* il faut admettre une métathèse de **ðy* et non sa réduction ancienne à *c* (*æcæg*: § 6.4.c); ceci plaide en faveur d'une réfection "récente" de *-*aða* attendu en *-*að-yā* mais le mécanisme de cette réfection nous échappe.

f) Conclusion

Voici les prototypes, plus ou moins plausibles, des désinences verbales ossètes:

S1: *-*u-n(a?)* S2: *-*a-hi* + *-*s* S3: *-*u-ti* / *-*u-Ø*

P1: **-a-ma(s)* P2: **-a-θwā / *-a-θyā* P3: **-u-nti*.

Il ne s'agit pas de reconstruire un paradigme synchronique; dans les siècles qui séparent l'IC des premiers textes ossètes, il y a eu de nombreux remaniements, interférences entre paradigmes, en particulier entre thématiques (S2, P1, P2?) et thèmes en **-u-* (S1, S3, P3), peut-être aussi entre désinences actives et moyennes, enfin entre indicatif et optatif (S2) ou subjonctif (S1?, P1). En l'absence de témoignages sur les étapes intermédiaires, on ne peut qu'entrevoir ces remaniements.

21. Le verbe “être”

Voici le paradigme:

Ir	Dg
<i>daen</i>	<i>daen</i>
<i>dæ</i>	<i>dæ</i>
<i>u, is, i</i>	<i>æs, ies</i>
<i>stæm</i>	<i>an</i>
<i>stut</i>	<i>aitæ</i>
<i>sty</i>	<i>æncæ</i>

a) S1 et S2

Les deux dialectes partagent une innovation, le thème **da-* de S1 et S2, d'origine incertaine: ELO 74 rejette **hada* de Grundr 75; thème pronominal possible, qu'il soit emprunté à une langue CNC (Axvlediani 1960, 155-9) ou d'origine iranienne (parallèles pamiriens: Weber 1983, 90).

b) S3 et P3

Ir *is*, Dg *ies* (S3), Dg *æncæ* (P3) proviennent de IC **asti* (S3), *hanti* (P3): ELO 75; cf. § 6.3.d; il faut partir de **asty-* avec métathèse de *y* et réduction de *-st* à *-s* comme dans *us* “femme” (pl. *ustytæ*: § 9).

Une origine pronominale pour *is* et *ies* (**aiša*: Weber 1983, 87) est moins plausible même si elle peut s'appuyer sur S3 *u*, forme pronominale en fonction de copule (cf. *ui* de **ava*: ELO 74-5). Il faut en effet renoncer à l'explication de V. Miller qui voit dans *u* une forme de **bava-* (Grundr 75).

Dg *æi* pourrait venir de **ha.ti*, analogique de **hanti* (ELO 76).

c) Pluriel

En iron, le pluriel est formé sur un thème *st-*.

On a proposé deux explications: l'une fait appel au supplétisme de la racine **stā*, prés. *hištā-* (GrW 162; Weber 1983,85).

Rem. 41:

Cette racine est présente en ossète:

(y)styn, (y)stad- (Dg *istun*, *istad*) “se tenir debout”,

*(hi)šīā: AIII, 158; GrW 162.

Il faut noter qu’un y prothétique peut apparaître en ossète, devant *st-*:

(y)styr (Dg *ustur*) “grand”,

IC *stūra, A III, 159, GrW 216.

La seconde explication suppose une réfection du pluriel sur le thème *ast- (Grundr 75, qui cite l’exemple du persan et du polonais; Weber 1983, 86); ce remaniement limité à l’iron pourrait avoir pris naissance dans des emplois enclitiques où certaines formes se réduisaient à une consonne (ainsi pour P1 *-m). Si *stæm* et *stut* ont reçu la désinence normale, P3 *sty* reste isolé; -y évoque le pluriel nominal et le supplétisme de *stā n’est d’aucun secours sur ce point.

Le digor a les formes attendues, thématiques (?): P1 *an* (*ah.ma ou *aha.ma?), P3 *æncæ* (cf. b); P2 *aitæ* pourrait venir de *aha-ðyā (§ 20.e).

22. Les deux prétérīts de l’ossète

Comme les autres langues iraniennes modernes l’ossète n’a conservé ni l’aoriste, ni le parfait; il s’est constitué un passé en utilisant le verbal en *-ta.

En associant verbal et copule on obtient le **prétérít intransítif** qui s’emploie pour les verbes à valence 1:

uasæg æmæ dalys æmæ sæg iumæ ba-cardy.sty (TO 24)

“Un coq, un agneau et une chèvre vivaient ensemble”

(cf. SO, p. 74; *cæryn*, *card-* “vivre”)

ou dans les verbes à valence 2, quand le second argument est un autre cas que l’”accusative” (-Ø/-i):

cæmæi tars.tæn uyi myl ær-cyd.i (A III, 273)

“ce que je craignais vient de m’arriver”

(*tærsyn*, *tarst-* “craindre”, + abl. *æi*; *ær-cæuyn*, *-cyd-* “arriver”, + adessif -yl)

æz. s-æmbæld.tæn mæ lymænyl uazdžyty æxsæn (TO 94)

“j’ai rencontré mon ami parmi les hôtes”

(*æmbælyn*, *æmbæld-* “rencontrer”, + adessif -yl).

Lorsque le verbe est de valence 2 ou 3 et le second argument à l'“accusatif”, on emploie le **prétérit transitif**:

qædmæ iæ a-last.oi (TO 24)

“ils l’emmenèrent dans la forêt”

(*lasyn, last-* “tirer, emmener”).

Dg mæ ragon p’ismotæ arti suy.ton (DD 78)

“j’ai brûlé mes vieilles lettres dans le feu”

(*sodzun, suyd-* “brûler” [trans.]: § 6.5.a).

23. Flexion des prétérits

PARFAIT INTRANSITIF

Ir	Dg
<i>cyd.tæn</i>	<i>cud.tæn</i>
<i>cyd.tæ</i>	<i>cud.tæ</i>
<i>cyd.(is)/.i</i>	<i>cud.æi</i>
<i>cydy.stæm</i>	<i>cud.an</i>
<i>cydy.stut</i>	<i>cud.aitæ</i>
<i>cydy.sty</i>	<i>cud.æncæ</i>

PARFAIT TRANSITIF

<i>kod.ton</i>	<i>kod.ton</i>
<i>kod.tai</i>	<i>kod.tai</i>
<i>kod.ta</i>	<i>kod.ta</i>
<i>kod.tam</i>	<i>kod.tan</i>
<i>kod.tat</i>	<i>kod.taitæ</i>
<i>kod.toi</i>	<i>kod.toncæ</i>

kæynyn, kod- (Dg *kænun, kod-*) “faire”, ppp *kond*:

**kana-*, *kanta*, de IC **kunu-/kana-*, *krta*: ELO 79-80.

cæuyn, cyd- (Dg *cæun, cud-*) “aller”:

OC **cawa-*, **cuta*, Ir **čyava, čyuta*: ELO 22-5.

Rem. 42:

La dentale sourde non aspirée (= *tt/dt*), issue de **t + d*, est notée *t* après spirante:

æer-yzdax.tæn (TO 30) “je suis revenue”, (*æz-daxyn, (æ)zdaxt-* “revenir”;

on attendrait **zdaxt.tæn*).

De même *tarstæn* pour *tarst.tæn, suyton* pour **suyd.ton*.

Devant la sourde non aspirée *tt/dt/dd*, un *n* s’amuit:

dættæ “rivières” (*don*), pour **dæn.ttæ* (abrègement de *o/a* dans un polysyllabe:

§ 6.3.b);

bættyn/bæddyn (Dg *bættun/bæddun*) “lier”,
IC **banda-*: A I, 243, § 6.8.c, Rem. 11.

24. Histoire des formes: prétérit intransitive

Dans le prétérit intransitif, on isole facilement verbal en **ta* (oss. *-d* ou *-t*) et copule (§ 21), en iron comme en digor et ce malgré les divergences dialectales pour la flexion de la copule.

Ir *cyd.is* vient donc de **čyuta(h) asti* “il est allé”, comme Dg *cud. æi* de **čyuta hati*; ceci prouve que la structure de ces formes est restée assez claire pour que chaque innovation dans la flexion de la copule ait été automatiquement transférée au prétérit intransitif.

Ce prétérit ossète a des correspondants exacts dans les autres langues iraniennes orientales, sogdien:

‘*γty sty* “il est venu”, de **a.gata.ka (a)sti*; ‘*sty* “il est” (Benveniste 1929, 48-53; Gershevitch 1954, 126-30);

ou khotanais:

bustämä “j’ai compris”, de **busta ahmi; imä* “je suis” (Gercenberg 1965, 109-11; SakaGrSt 220-8).

Il n’y a donc rien à ajouter à l’analyse de V. Miller pour ce qu’il appelle *Imperfectum medii* (Grundr 72).

25. Prétérit transitif

La situation est beaucoup plus complexe pour le prétérit transitif: V. Miller considère ce thème à dentale géminée comme une formation récente et se contente de relever l’identité des désinences avec celles du subjonctif (Grundr 73).

V.I. Abaev (OJaF 562-4) voit dans *mard.ton* “j’ai tué” un plus ancien **mard.uon*, où *uon* serait le subjonctif de *uyn* “être”; une telle explication, si elle ne se heurte à aucun obstacle phonétique décisif (cf. *idædz* “veuf”, de **vid(a)va-*: § 6.4.c, Rem. 4), laisse de côté le problème sémantique: comment est-on passé d’un subjonctif (mode du futur) à un passé transitif?

Plusieurs langues IE forment un imparfait en *-ā-* (italique, slave). Lat. **ā* sert pour le subjonctif présent (*capi.ā.mus*) et l’imparfait (*er.ā.s, -b.ā-*): Benveniste (1951; cf. aussi Jasanoff 1983, 77-83) a montré que l’on passe fréquemment d’un optatif à un passé et il cite, entre autres langues, un exemple digor (p. 17):

æz dær in cid zæyinae

“moi aussi j’avais coutume de lui dire”

zæyinae: S1 opt. prés, de *zæyun, zayd-* “dire”: GrW 155.

En outre, selon Jasanoff (1983, 80), lat. *-ā-* serait d'origine IE (morphème **h₂* d'aoriste). Il paraît cependant difficile de supposer, pour le scythique, un morphème **ā* de prétérit, inconnu des autres langues Ilr et limité à l'auxiliaire dans le prétérit transitif; le subjonctif ossète au contraire a des parallèles indiens et iraniens (§ 26). D'autre part, dans l'hypothèse d'Abaev, il s'agit de subjonctif et non d'optatif.

26. Le subjonctif

Le subjonctif (Grundr: *Futurum I*, GSO: Future subjunctive) se forme sur le thème de présent (infinitif) et est ainsi conjugué:

Ir	Dg
<i>kæn.on</i>	<i>kæn.on</i>
<i>kæn.ai</i>	<i>kæn.ai</i>
<i>kæn.a</i>	<i>kæn.a</i>
<i>kæn.æm</i>	<i>kæn. æn</i>
<i>kæn.at</i>	<i>kæn.aitæ</i>
<i>kæn.oi</i>	<i>kæn.oncæ</i>

Comme on peut le constater il y a accord entre les deux dialectes, pour employer un suffixe *-a-* (*-o-* devant nasale: § 6.6.b, Rem. 6) à l'exception de P1 où la brève est issue de l'indicatif (§ 20.d). On posera donc:

S1: *-on* de **-ā-n*; Ilr **-āni*: § 20.a;

S2: *-ai* de **-ā-hi*; Ilr **-ās(i)*;

S3: *-a* de Ilr **-ā-t*,

P1: Ir *-æm* au lieu de **-am* (Ilr **-ā-ma*),

Dg: *-æn*, avec *-n* selon § 6.8.a;

P2: Ir *-at* de IC **-ā-θa*,

Dg: *-aitæ* de **-ā-θya* (?): § 20.e;

P3: Dg *-oncæ* de Ilr **-ā-nti*,

Ir *-oi*, inexpliqué (Grundr 70).

La désinence *-oi* peut représenter **āi*, soit le degré long de **ai* (= *-y* dans *sty* "ils sont"? § 21); de telles désinences sont isolées dans l'ensemble Ilr (skt *-e*, de **ai* est un singulier, S3 moyen) et sans lien ni avec l'indicatif (P3 *-ync*, Dg *-uncæ*) ni avec le subjonctif digor (*-oncæ*); il est vrai que cette dernière forme pourrait avoir été refaite sur le modèle de *-uncæ*.

Peut-être faut-il poser **-nyā*; Ir *-oi* répond parfois à Dg *-oinæ* (OJaF 374) ainsi:

æncoi (Dg *æncoinæ*) "repos, paix", **ham-čan.yā*,

IC **čyā* "être en paix" (IE **k^wyeh₁*): Asica 5, A 1,152

cf. *æncon* (Dg =) "facile", de **ham-cyana*.

Si **-ā.n* peut se justifier à partir de **-nt* (P3 sec), il faut admettre, comme pour Dg P2 *-itæ* (§ 20.e), un élément final **-yā*. En posant **-ā-nyā*, on explique Ir *-oi*. De **-ān* on attend OC **-on*, qui se confondait avec S1; chaque dialecte a éliminé cette ambiguïté, le digor par alignement sur l'indicatif, l'iron par adjonction d'un élément d'origine inconnue.

27. Verbal en **-ta* et prétérit

Si les langues iraniennes font aussi appel au verbal en **-ta* pour construire le prétérit transitif, on ne retrouve pas l'accord rencontré pour le prétérit intransitif (Weber 1982, 166); certaines langues, comme le pashto, restent fidèles à une construction "passive", avec agent à l'ergatif (oblique); ailleurs, comme en persan, le pronom enclitique (= agent) a été identifié aux désinences personnelles du présent, *kard.am* (de **kartam mai* "factum mihi") à même structure morphologique et syntaxique que (*mi-*)*kon.am* "je fais" (-m de **mi*).

Le sogdien a choisi une troisième voie, comparable à celle du latin tardif (cf. fr. *j'ai donné de donatum habeo*): *δβ'rt δ'rt* "il adonné", **ati-barta dāрати*.

Le khotanais fait difficulté; comme en ossète, le parfait transitif n'entre dans aucun des schémas morphologiques évoqués précédemment.

Le pluriel est élargi en *-āndä-* (P1 *dätāndä mā* "nous avons vu", etc.); on a voulu y voir un suffixe, par exemple **-tavant*, mais la phonétique fait difficulté (SakaGrSt 220-1), ou le participe de *as* "être" (Weber 1982, 168). Une autre explication semble possible: pour P3, on attend **ditā hanti* "ils sont ayant vu", soit khot. *dätāndä*; par rapport à S3, où la copule est absente: *dāte* "il a vu" (**dīta*), *-andä* peut s'analyser, non comme une désinence personnelle (P3) mais comme une marque de pluriel et s'étendre ensuite à P1 et P2, par simple adjonction de la copule, ce qui introduit une symétrie entre singulier et pluriel: copule absente à la troisième personne.

Le singulier ne pose pas de problème, on a **-ta ahmi* (fém. **-tā ahmi*) pour S1, qui donne régulièrement *dätaimä* "j'ai vu" (*īmā* "je suis"), fém. *dätāmä*, etc.

Le problème du khotanais ne semble donc pas morphologique mais sémantique: il faut admettre que l'ancêtre du khotanais n'a pas connu, ou plutôt n'a pas retenu la diathèse passive du verbal (Weber 1982, 170); celui-ci a le statut de **-lo* en slave qui fournit, associé à "être", tous les parfaits, transitifs comme intransitifs: serbe *stig.li smo* "nous sommes arrivés", *da.li smo* "nous avons donné", etc.

L'ossète pourrait avoir connu un statut comparable pour le verbal en **-ta*; mais poser **kanta* "ayant fait" n'explique ni la géminée, ni l'identité des désinences avec celles du subjonctif.

Il est donc préférable de poser un prototype *-ta + auxiliaire, comme en sogdien; mais il ne s'agit plus de IC *dar "tenir, avoir", connu en ossète (*daryn*, *dard-* "tenir, porter (vêtement), devoir") mais de *dā (IE *dheh₁) "placer".

En iranien, cette racine se confond avec *dā "donner" (IE *deh₃) et disparaît après l'iranien ancien.

En balto-slave, comme en latin, *dheh₁ a pris le sens de "faire" (vx sl. *děti*, lat. *faciō*).

Cette même racine intervient dans le prétérit gotique, pour les verbes faibles; quelle que soit la préhistoire de la forme, got. *nasidedum* "nous avons sauvé" s'analyse comme thème verbal + parfait à redoublement; une analogie entre gotique et ossète s'explique aisément par une longue période de symbiose (SO § 17).

La racine IC *dā a une longue radicale, formellement identique au suffixe de subjonctif; la géminée s'explique facilement si on part de *kanta (*da*)dā-; un tel prélérit serait d'un modèle bien connu, attesté en sogdien et en roman.

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie donnée ici ne contient que les ouvrages cités dans cette introduction; pour une bibliographie plus détaillée, on renvoie à Gabaraev 1977, 166-72; GrW 342-63; SO iii-xiii.

A) OUVRAGES DÉSIGNÉS PAR UNE ABRÉVIATION

A I, II, ... = V.I. ABAEV, *Istoriko-etimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka*, Moscou-Leningrad, I (1958), II (1973), III (1979), IV (1989) (Dictionnaire historique et étymologique de la langue ossète).

Asica = H.W. BAILEY, "Asica", *TPS* (1945), 1-38.

Beitr = R. von STACKELBERG, *Beiträge zur Syntax des Ossetischen*, Strasbourg 1886.

DD = M.I. ISAEV, *Digorskij dialekt osetinskogo jazyka*, Moscou, Nauka, 1966.

ELO = E. BENVENISTE, *Études sur la langue ossète*, Paris, Klincksieck, 1959.

Grundr = V. MILLER, *Die Sprache der Osseten, Grundriss der iranischen Philologie*, Band I (Anhang), Strasbourg, 1903.

GrW = R. BIELMEIER, *Historische Untersuchung zur Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz*, Francfort-Beme-Las Vegas, Peter Lang, 1977.

GSO = V.I. ABAEV, *A Grammatical Sketch of Ossetic*, Bloomington, Indiana U. – La Haye, Mouton & Co., 1964. (Traduction anglaise d'une grammaire publiée en russe en annexe à *Osetinsko-russkij slovar'*, Ordžonikidze, 1963).

- IA = *Iron Aryæuttæ*, Ordžonikidze, Ir, 1983. (Contes ossètes).
- Izogl = V.I. ABAEV, *Skifo-evropejskije izoglossy*, Moscou, Nauka, 1965. (Isoglosses scytho-européennes).
- OJaF = V.I. ABAEV, *Osetinskij jazyk i folklor*, Moscou-Leningrad, Ak. Nauk, 1949. (Langue et folklore ossètes; reprend plusieurs articles publiés antérieurement).
- SakaGrSt = R.F. EMMERICK, *Saka Grammatical Studies, London Oriental Studies n° 20*, Oxford U. Press, 1968.
- SO = A. CHRISTOL, *Des Scythes aux Ossètes*, UA 390-Rouenlac, 1986. (Document distribué aux participants a la Session CLELIA 1986).
- TO = A. CHRISTENSEN, *Textes ossètes*, Copenhague, 1921.

B) OUVRAGES DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE L'AUTEUR

- ABAEV, V.I., 1960, "Osetinsko-vejnaxskie lexičeskie paralely", *Izvestija Čeč.-Inguskogo I-ta Ist. Jaz. Lit.*, I, 2. (Parallèle lexicale entre ossète et langues CNC).
- 1969, "Vyraženiya tipa 'ce fripon de valet' v osetinskom", *Folia Linguistica* 5, 178-81. (Les expressions du type 'ce fripon de valet' en ossète).
- 1973, "Nekotorye osetino-gruzinskije semantičeskie paralely", *Iberijsko-Kavkazskoe Jazykoznanie* 18, 27-34. (Quelques parallèles sémantiques entre l'ossète et le géorgien).
- ABAEV, I.V., V. BELARDI, M. MINISSI, *Profilo grammaticale dell' osseto letterario moderno*, I, Rome, 1965.
- AXVLEDIANI, G.S., 1960, *Sbornik izbrannyx rabot po osetinskomu jazyku*, I, Tbilissi. (Sélection de travaux sur l'ossète; articles publiés depuis 1923).
- BENVENISTE, E., 1929, *Essai de grammaire sogdienne*, Paris, P. Geulhner.
- 1951, "Prétérit et optatif en indo-européen", *BSL* 58, 41 -57.
- BIELMEIER, R., 1982, "Zur Entwicklung der ossetischen Deklination", *IF* 87, 58-69.
- COMRIE, B., 1981, *The Languages of the Soviet Union*, Cambridge U. Press.
- CREISSELS, B., 1977, *Les Langues d'U.R.S.S.*, Paris, Institut d'Études Slaves.
- GABARAEV, N. Ja., 1977, *Morfologičeskaja struktura slova i slovoobrazovanija v sovremennom osetinskom jazyke*, Tbilissi, Mecniereba. (Structure morphologique du mot et de la composition en ossète contemporain).
- GERCENBERG, L.G., 1965, *Xotano-sakskij jazyk*, Moscou, Nauka. (La langue des Sakas de Khotan).
- GERSHEVITCH, I., 1954, *A Grammar of Manichean Sogdian*, Oxford.
- ISAEV, I.M., 1963, "K voprosu o količestvennoj xarakteristike osetinskix glasnyx", *Iranskaja Filologija, Kratkie Soobščeniya I-ta Narodov Azii* 67, 16-21. (Sur la question de la quantité des voyelles ossètes).
- JASANOFF, J.H., 1983, "The IE. 'a-Preterite' and Related Forms", *IF* 88, 54-83.
- MUSAEV, K.M., 1984, *Leksikologija tjurkskix jazykov*, Moscou. (Lexicologie des langues turques).

- ORANSKIJ, I.M., 1963 = *Iranskije jazyki*, Moscou. (Traduction française de J. BLAU, *Les Langues iraniennes*, Paris, 1977).
- PERPILLOU, J.-L., 1984, "Frères de sang ou frères de culte?", *SMEA* XXV, 206-220.
- SIMS-WILLIAMS, N., 1979, "On the Plural and Dual in Sogdian", *BSOAS* 42, 2, 337-346.
- SKJAERVØ, P.O., 1983, "*Farnah*: mot mède en vieux perse?", *BSL* 78, 241-59.
- SOKOLOVA, S.V., 1953, *Očerki po fonetike iranskix jazykov*: II, 1. *Osetinskij jazyk*, Moscou-Leningrad. (Esquisse de phonétique des langues iraniennes).
- TEDESCO, P., 1926, "Ostiranische Nominalflexion", *ZII* 4, 94-146.
- VOGT, H., 1944, "Le système des cas en ossète", *Acta Linguistica* IV, 1, 17-41.
- WATKINS, C., 1969, *Geschichte der indogermanischen Verbalflexion*, *Indogermanische Grammatik* Hrsg J. Kurylowicz, III, 1, Heidelberg, C. Winter.
- WEBER, W., 1980, "Beiträge zur historischen Grammatik des Ossetischen, I. Der osset. Dativ auf *än*, 2. Die reflexiven formen des Personalpronomens", *IF* 85, 126-37.
- 1982, "Das Perfekt transitiver Verben im Khotansakischen", *Die Sprache* 28, 165-70.
- 1983, "Beiträge ... 3. Das Präsens des Verbuns für 'sein'", *IF* 88, 84-91.

LES ALPHABETS OSSÈTES

L'ossète a connu plusieurs essais de notation avant l'adoption de l'alphabet officiel actuel, dérivé du cyrillique. On citera pour mémoire l'emploi de l'alphabet grec dans l'inscription du Zelenčuk (SO § 50). En fait, l'ossète n'est écrit que depuis le XIX^e siècle; malheureusement, chaque savant a son propre système, le modèle étant le cyrillique, le latin ou même le géorgien (cf. Abaev-Belardi-Minissi 55-6); il est donc indispensable de donner une table de référence:

- 1 transcription utilisée dans le présent ouvrage
- 2 alphabet cyrillique officiel
- 3 cyrillique ancien (Sjögren, Miller)
- 4 latin (Miller, Grundr)
- 5 Christensen (TO)
- 6 Benveniste (ELO)
- 7 Dumézil
- 8 Abaev (A I, II, etc.).

	1	2	3	4	5	6	7	8
	a	А	А	a	a	a	a	a
	æ	Æ	Æ	æ	æ	æ	æ	æ
	b	В	В	b	b	b	b	b
	c	Ц	Ц	c	c	c	c	c
	c'	ЦЪ	Ц	c'	c'	c'	c'	c'
	č	Ч	Ч	č	č	č	č	k'
	č'	ЧЪ	Ч	č'	č'	č'	č'	k''
	d	Д	Д	d	d	d	d	d
	dz	ДЗ	ДЗ	j	j	dz	з	з
	dž	ДЖ	ДЖ	j	j	j	j	g'
	e	Е	Е	e	e	e	e	e
	f	Ф	Ф	f	f	f	f	f
	g	Г	Г	g	g	g	g	g
	γ	ГЪ	5	γ	ğ	γ	ğ	ğ
i {	[i]	И	И	i	i	i	i	i
	[y]	И	Ј	y	j	y	j	j
	y	Ы	Ы	i	i	i	y	y
	k	К	К	k	k	k	k	k
	k'	КЪ	Қ	k'	k'	k'	k'	k'
	l	Л	Л	l	l	l	l	l

1	2	3	4	5	6	7	8
m	М	М	m	m	m	m	m
n	Н	Н	n	n	n	n	n
o	О	О	o	o	o	o	o
p	П	П	p	p	p	p	p
p'	ПЪ	П,	p'	p'	p'	p'	p'
q	ХЪ	q	q	q	q	q	q
r	Р	Р	r	r	r	r	r
s	С	С	s	s	s	s	s
(š)	Ш	} seulement dans les emprunts russes					
(šč)	Щ						
t	Т	Т	t	t	t	t	t
t'	ТЪ	Т,	t'	t'	t'	t'	t'
u {	[u]	У	u	u	u	u	u
	[w]	У	v	w	v	w	w
v	В	В	w	v	v	v	v
x	Х	Х	x	x	x	x	x
z	З	З	z	z	z	z	z
(ž)	Ж	} seulement dans les emprunts russes					
(ja)	Я						
(ju)	Ю						

INDEX PHONÉTIQUE

A) VOYELLES ET DIPHTONGUES

IC	OC	Dg/Ir	§§
*a {	*a	æ	6.1.a, 6.8.d
*ā {	*ā	a	6.3.b
	(+n)	a	6.1.a
*ai	*ai	o	6.6.b, Rem. 6
*au	*au	{ e (Dg)	6.5.a, 12c
		{ i (Ir)	
*r	*ar	{ o (Dg)	6.5.a
		{ u (Ir)	
*i	*i	{ ær	6.13.b
		{ ar-	
*u	*u	{ i (Dg)	6.5.a
		{ y (Ir)	
*wi-	*i-	{ u (Dg)	6.8.d, 6.9.d
		{ y (Ir)	
*wā	*wā	{ i- (Dg)	6.8.c, Rem.13
		{ ø- (Ir)	
*awa	*awa	{ ua (Dg)	6.6.b
		{ o (Ir)	
		{ æuæ (Dg)	6.6.b, Rem.7
		{ o (Ir)	

B) CONSONNES

IC	OC	Dg/Ir	§§
*k {	*k	k	kæryn (§ 23)
	(-k-)	g	6.4.d
	(+i)	*kʔ	{ k (Dg)
		{ č (Ir)	
*č {	*c	c	7.14.c
	(-č-)	*ʒ	dz

	IC	OC	Dg/Ir	§§
	*g {	*γ	{ γ (Dg)	6.10.d
	(+i)		{ q- (Ir)	6.10.d, Rem. 16
		*g'	{ g (Dg)	6.10.d, Rem. 17
			{ dz (Ir)	
	*j	*ǰ	ǰz	6.10.d
	(x-)	*x	x	<i>xærcæg</i> "âne"
	*x {	*x	x	7.14.d
	(=*k+C)	*γd	γd	6.2.d, 7.14.d
	(+t)	*t	t	6.2.d
	(t-)	*d	d	6.2.d
	*t {	*d'	{ i (Dg)	6.4.c
	(-t-)		{ dz (Ir)	
	(+y)	*ci-	{ ci- (Dg)	6.4.c
	(ti-)		{ cy- (Ir)	
	*d	*d	d	<i>davyn</i> (6.8.c)
	(-ð-)	*t	t	6.2.d
	*ð {	*c	c	6.4.c
	(+y)	*n	n	7.15.a
	(+n)	*f	f	6.2.a
	(p-)	*v	v	6.8.c
	*p {	*r	r	6.12.a
	(-p-)	*b	b	6.8.c, Rem.11;14.f
	(+r)	*v	v	
	*b {	*vd	vd	6.2.a, 6.3
	(b-)	*f	f	7.15.c
	(-b-)	*m	m	6.1
	*f {	*m	n (Dg)	6.8.a
	(+t)	*n	n	<i>næuæg</i> (Rem. 7)
	(=x')	*ñ	{ in- (Dg)	26
	*m {		{ i- (Ir)	
	(-m)	*n	{ n- (Dg)	Rem.15, Rem.27;9
	(n-/-n-)		{ ø- (Ir)	
	*n {			
	(+y)			
	(+s/z/x/tt)			
	*y {	*y	-i(-ø)	6.13.c, Rem. 26
	(+a)	*yi	i	<i>igær</i> (6.4.d)
	*w	w	u	6.8.c, Rem. 11
	(-r-)	*r	r	<i>maryn</i> (1)
	*r {	*rC	rC	6.9.c
	(C+r)	*l	l	6.1.b, 6.11.c
	(+y)	*l	l	Rem. 20
	(+v)			

	IC	OC	Dg/Ir	§§
	*š (IE *k)	*s	s	6.8.b
	*s (IE *s)	cf. <i>h</i> , š		
	{ (+n)	*n	n	7.15.a
	{ (+t)	*st	s(t)	21.b, 21.c, Rem.41
	*s (IE *t/d)	*s	s	<i>fistæg</i> (6.4.c)
	*s (IE *sk)	*s	s	6.2.c
	*š (IE *s)	*s	s	6.8.b, 20b
	*ž (IE *g(h))	*z	z	6.8.b, 13.a
	{ (+n)	*nz	{ nz- (Dg)	6.9, Rem. 15
	{ (+w)	*wz	z- (Ir)	
			vz	6.9, Rem. 15
	*z (IE *s)	*z	z	6.13.a, Rem. 23
	*h {	*ø	*ø	6.3.d
	{ (+i/u)	*x	z	
+xw	(IE *sw)	{ *xw	{ xu- (Dg)	6.6.a
		{	x- (Ir)	
		*f	f	7.15.c

C) PROBLÈMES DIVERS

č/dž (Ir)	6.10.d, Rem. 17
finale	6.3.c (-am), 6.6.c (-r), 6.7.a (-ā), 6.8.a (-m), 13.c, Rem. 26
infection	6.9.b, 7.14.b
l	6.11.c
métathèse	6.8e, 6.9c, 6.11.a
q (Ir)	6.10.d, Rem. 16
voyelle prothétique	6.9, Rem. 14

NOM DES CAS EN OSSÈTE

ABAEV	GSO	Grundr	Beitr	TO	VOGT 1944	A. C.
Imenitel'nyj	Nominative	Nominativ	Nominativ	Nominatif	Nominatif	Nom(inatif)
Roditel'nyj	Genitive	Genetiv	Genetiv	Génitif	Génitif	Gen(itif)
Datel'nyj	Dative	Dativ	Dativ	Datif	Datif	Dat(if)
Napravitel'nyj	Allative	Locativus exte- rior	Locativus exte- rior	Locatif extérieur	Locatif extérieur	All(atif)
Otložitel'nyj	Ablative	Ablativ	Ablativ	Ablatif	Ablatif	Abl(atif)
Mestnyj vnutrennij	Inessive	Locativus inte- rior	Locativus inte- rior	Locatif intérieur	Locatif intérieur	In(essif)
Mestnyj vnešnij	Adessive	Adessivus / Superessivus	Elativ	Adessif/ Superessif	Superessif	Ad(essif)
Upodobitel'nyj	Equative	(-au = suff.)	—	—	Adverbial	Eq(uatif)
Sovmestnyj	Comitative	Sociativus	Sociativ	Sociatif	Comitativ	Com(itatif)

Alain CHRISTOL

SCYTHICA (1, 2, 3)

1. Une glose scythique d'Hésychius

1.1. *Un nom de la lune*

Dans la masse hétérogène de gloses rassemblées par le moine byzantin Hésychius figurent quelques mots explicitement attribués aux Scythes; l'une de ces gloses a la forme:

μέσπλη · ή σελήνη, παρὰ Σκύθας ·

Le mot *mésplē* ne semble pas avoir retenu l'attention des spécialistes¹, sans doute parce qu'il n'a pas d'explication iranienne évidente.

Le nom IE de la lune **mēns* est représenté, en iranien, par av. *māh-* (NSg, *mā̄*, GSg *mā̄hō*), vx p. *māhyā* (GSg?) "au mois de..."; oss. *mæi* (Dg *mæiæ*) suppose un thème en *-*yā* sur un radical bref.

La glose d'Hésychius n'est pas datée mais il est exclu qu'il s'agisse de données fournies par une enquête contemporaine (V^e siècle ap. J.-C.); Hésychius travaillait de seconde main, utilisant des recueils antérieurs. La source de cette glose doit donc être recherchée chez quelque auteur de *Scythica* dont l'œuvre s'est perdue.

En grec impérial, les graphies AI et E commutent facilement, *me-* pourrait donc théoriquement représenter **mai-*, qu'il serait possible de rapprocher de *mai-* "lune" (BENVENISTE, *Titres*, p. 105), dans les anthroponymes comme *Maiphamos* (Olbia: ZGUSTA 1955, p. 113), *Maipharnès* (Asie Mineure) etc.

Il subsiste un problème: la forme iranienne devait être dissyllabique: **mahi-*, soit grec **maī-* qui ne pouvait être noté *me-* que par une substitution mécanique. Même ainsi, il resterait à expliquer la seconde partie du mot; un groupe *spl* (*spr*) paraît peu probable en iranien, ancien ou moyen.

1.2. "Scythique" = caucasique?

Si, renonçant à l'iranien, on cherche du côté caucasien, la glose devient claire: dans le caucasique du Nord-Ouest (= CNO), le nom de la lune est issu de *mäza (CHRISTOL 1985, pp. 50-51): abx. *mza* (abaza *mz*) oub. *mza*, tch. *maze*.

L'accord des trois langues prouve que le mot est ancien; d'une telle forme grec *mes-* serait une approximation satisfaisante, surtout devant la sourde *p*.

Pour le second terme, on a le choix entre deux homophones CNO:

(a) **plä* "rouge"

Le nom de l'astre sert aussi pour le cycle lunaire, le mois: certaines langues ont levé l'ambiguïté: l'astre sera défini par une épithète évoquant son éclat (GAMKRELIDZE/IVANOV. pp. 684-685); ainsi en indien; *mās* "lune, mois", *candra.mās* "*mās* brillant" (= astre lunaire) puis *candra* "lune", par intégration sémantique; un processus comparable doit être à l'origine de lat. *lūna* "lune" (dial. *losna*, de **louksnā* "brillante"), gr. *selēnē* (**selas.nā*, *sélas* "éclat").

En CNO (ŠAGIROV n°158) on a oub. *plə*, tch. occ. *plə.ž'*, or. *plə.ž* "rouge": abx. *pš'* "roux", *q'a.pš'* "rouge" (cf. CHRLSTOL 1986, p. 12 et n. 23).

L'équivalence: abx. *š'* (*š*) = tch., oub. *λ* ou *λ'* est régulière (KUMAXOV, p. 212):

— "regarder", cf. *infra*,

— "sang": abx. *š'a* = oub. *λα*, tch. *λə*, etc.

Le choix de la couleur rouge pour l'éclat de la lune peut surprendre mais l'objection ne paraît pas décisive: certaines langues turques utilisent l'adjectif "rouge" (*qyzyl*) pour l'or, dont l'éclat peut évoquer celui des astres; en tcherkesse, *pl* signifie "to blaze, get hot" (KUIPERS n°63), ainsi pour le fer qui rougit: PARIS 1976, p. 260 (n°143); il s'agit probablement de l'adjectif "rouge" en fonction verbale; par la notion d'incandescence on rejoint l'éclat lumineux des astres.

(b) **plä* "regarder"

Le proto-CNO avait une racine **pl(a)* "regarder" (ŠAGIROV n°236): tch. *pl(e)*, oub. *pla*, abx. *a.pš.ra* "regarder".

L'alternance **a* (tch. *e*)/ \emptyset est ancienne en CNO; elle reste vivante en tcherkesse (G. DUMEZIL, *V.O.* p. 30, où *pl(e)* est cité).

Si cette racine est présente dans le second terme du mol *mesplē*, le composé, selon la diathèse de **plä*, pourra signifier:

— "mäza visible" = astre, par opposition à la notion plus abstraite de "mois",

— "mäza qui regarde": les astres sont les yeux de certains dieux: c'est bien connu pour le soleil dans le monde indo-européen (BADER 1985, pp. 18-22).

Cette dernière interprétation paraît préférable car elle peut s'appuyer sur des parallèles dans la phraséologie de peuples voisins. En CNO même, le nom de la lumière est un composé dont le premier terme est celui de l'œil: tch. occ. *nef* (*ne* "œil"), or. *neh*^o; abx. (*a*).*la.ša.ra* (*la* "œil") "lumière" (anciennement "soleil"?: CHRISTOL 1985, pp. 48-49, n. 5)².

Que les astres "regardent" serait donc conforme à ce que nous savons de la phraséologie indo-européenne et comme les langues CNO ont vécu plusieurs millénaires au contact de peuples de langues indo-européennes, de tels parallèles ne sauraient surprendre.

Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre base **ρλä*, la latérale du proto-CNO ne pouvait être rendue en grec que par λ.

1.3. *Les langues du monde scythique.*

Si la glose d'Hésychius étudiée ici conserve un composé proto-CNO signifiant "lune/mois qui regarde", désignation de l'astre, par opposition à la durée du cycle, il faut admettre que l'étiquette "scythique" se fondait sur des critères géographiques ou ethnologiques plutôt que linguistiques.

Ceci confirme l'impression qui naît des quelques étymologies scythiques d'Hérodote, de l'anthroponymie scythique des siècles classiques ou du dossier "scythique" d'Hésychius: si l'élément iranien est présent, il semble impossible de rendre compte par l'iranien de l'ensemble des formes conservées³.

La première vague iranienne⁴ pourrait avoir été superficielle, les langues parlées antérieurement se conservant, au moins sur une partie du territoire occupé.

Parmi ces populations pourraient figurer les Taures qu'Hérodote (4,99; 103) présente explicitement comme différents des Scythes; il devait en être de même pour plusieurs peuples de la vallée du Kouban, à proximité des régions occupées, récemment encore, par les Tcherkesses⁵.

Les peuples CNO semblent installés depuis fort longtemps sur les deux versants du Caucase occidental et leurs ancêtres doivent être recherchés chez les *Kerketai*, *Akhaioi*, *Zugoi*, *Heniochoi* mentionnés par Strabon (11,2,12; 14) ou chez les nombreux peuples mentionnés comme sujets des rois du Bosphore Cimmérien dans les inscriptions grecques ou chez Strabon (cf. § 3.1).

Certains de ces noms ont été transmis par un intermédiaire iranien: pluriels en *-ta* (=oss. *-tæ*, cf. § 3.2).

La situation des Scythes iraniens devait être comparable à celle des Arya du Mitanni: une aristocratie indo-iranienne a pris le pouvoir sans éliminer la langue des populations conquises, le hurrite dans le cas du Mitanni, des langues inconnues pour les Scythes. Il en a été de même en Gaule, au moment des invasions germaniques: le latin n'a pas été supplanté partout par la langue des conquérants.

La glose d'Hésychius apporterait la preuve de la présence, à une date antérieure au V^e siècle après J.-C. mais qu'il n'est pas possible de préciser davantage, d'une composante CNO dans les populations "scythiques"; l'iranisation s'est probablement accentuée avec l'arrivée des Sarmates puis des Alains: aux premiers siècles de l'ère chrétienne, les anthroponymes étrangers des cités grecques sont essentiellement iraniens, comme le montre l'étude de ZGUSTA (1955).

C'est une incitation à reprendre le dossier, malheureusement peu fourni, des données scythiques.

2. Des sauterelles et des hommes

2.1. *Broũkhoi*

Parmi les populations des rivages caucasiens de la Mer Noire, Procope (VIII, 4, 1) cite les *Broũkhoi*, voisins immédiats des *Abasgoi*.

Dans le *Périple Anonyme* du Manuscrit de Londres (VI^e siècle ap. J.-C?) sont mentionnés (§ 15) les fleuves *Abaskos* (à rapprocher des *Abaskoi*: *Périple d'Arrien* § 15) et *Broukhont-*; pour ce dernier l'auteur donne le nom contemporain: *Mizugos*⁶.

On a voulu voir dans les *Broũkhoi* les ancêtres des Oubykhs, comme les *Abask/goi* sont ceux des Abaza et les *Apsilai* (Procope 8,2,33) ceux des Abkhaz (*a-ps.wa*) mais le nom actuel des Oubykhs est *t°ax* et il subsiste quelques difficultés phonétiques⁷.

En grec, *broũkhos*, dont la prononciation, à l'époque de Procope, devain être plus proche de [*vruxos*] que de [*bruk^hos*], prononciation classique, signifie "sauterelle" (LXX Lev 11,22, dans une liste d'animaux comestibles); il existe une variante sans aspirée *broũkos* chez Théophraste⁸.

Une telle dénomination peut être

— la traduction grecque d'un nom indigène, éventuellement donné par des voisins malveillants;

— l'adaptation phonétique d'un nom indigène, dans une intention ironique;

— la désignation, par métaphore expressive, de montagnards pillards redoutés des cités côtières et dont la mobilité et les incursions dévastatrices évoquaient celles des sauterelles.

Quelle que soit l'hypothèse retenue, il faut renoncer à un rapprochement phonétique direct entre *Broukho-* et *t°ax*.

2.2. *adigor*

Parmi les gloses "scythiques" recueillies par Hésychius on trouve:

ἄδιγόρ· τροξάλλις, ὑπὸ Σκυθῶν.

La forme *troxallis* doit être une variante de *trōxallis* "sauterelle"⁹.

Le mot *adigor* serait donc un nom "scythique" de la sauterelle, dont il faudrait chercher les descendants soit en iranien, soit dans une langue caucasique.

Dans un champ sémantique aux limites floues et susceptible de se diviser en multiples sous-catégories au hasard des contextes écologiques, l'enquête n'es pas facile.

L'ossète a, au moins, deux mots: *mætyx*=r. "*saranča*" et *c'ysc'ysag*=r. "*kuznečik, sverčok*". Le premier mot est iranien (cf. E. BENVENISTE, *E.L.O.* pp. 17-18), le second, onomatopéique, a des correspondants en CNE et CS¹⁰.

La forme oubykh *mac'a* "sauterelle" est considérée comme un emprunt au tcherkesse *mac'e* par G. DUMEZIL (*B. K.* 1974, p. 41) qui cite aussi abx. *mac'a* (*a-mac'*: *J. As.* 1971, p. 150: sans analyse possible comme composé); les formes CNO pourraient être apparentées (empruntées?) à *mætyx* mais on ne peut exclure un rapprochement avec CS **mk'al* (KLIMOV, p. 135: vx géorg. *mk'al.sa* (NT *Marc* 1,6) = gr. *akridas*, oss. *mætyxtæ*); or les formes géorgienne et iranienne sont irréductibles; il faudra donc choisir.

En l'absence de données qui rendraient plausible l'existence d'un mot *adigor* "sauterelle" dans une langue du domaine scythique, il faut peut-être explorer une autre voie, celle des noms de peuples. La glose d'Hésychius pourrait conserver le nom de l'un des peuples que les habitants des cités hellénisées nommaient "sauterelles", en supposant:

adigor = *troxallis* = *broŭkhos*.

Il s'agit bien entendu d'une hypothèse de travail mais qui peut s'appuyer sur le souvenir, conservé dans l'épopée des Narles, d'une population ennemie vaincue, les *Agur*, dont les survivants furent transformés en sauterelles: G. DUMEZIL, *L.N.*, p. 134; *Romans*, p. 356.

Le nom des Agur est peut-être turc (forme bulgare de *oguz*, nom de tribu?) mais le choix d'un nom turc pourrait avoir été facilité par l'assonance *Agur/Adigor*.

2.3. *Adyge*?

On pourrait penser au nom que se donnent les Tcherkesses: *adəǵe* (C. PARIS 1974, p. 14; régulièrement, besney: *adəye*), en faisant de *-(o)r* l'article défini postposé¹¹.

Cette désignation des Tcherkesses, absente des données antiques, semble tardive et pourrait dater de l'occupation turque. On l'a expliquée en effet par le nom turc de l'ours: vx turc *adyγ*, balkar *ayıw*, avec évolution régulière de [d] à [y] comme en turc de Turquie: *ayığ*, tatar *ayu* etc.¹².

Une telle étymologie a été proposée par K.M. MUSAEV (1984, p. 154) mais sans justification sémantique; il faudrait prouver que l'ours jouait un rôle important chez certains ancêtres des Tcherkesses; c'est à la fois plausible et impossible à prouver.

A moins de recourir à l'étymologie populaire: un nom de peuple peut être réinterprété comme contenant le nom de l'ours, quelle que soit l'étymologie historique de ce nom. Le Caucase du Nord a connu les Massagètes, peuple iranien venu de l'est et confondu ensuite avec les Alains¹³.

L'élément *massa-* est phonétiquement proche du nom de l'ours dans les langues CNO:

tch. *məs°a*, oub. *məs°a*, abx. *ms°* (ŠAGIROV n°92).

L'unité tribale des Massagètes n'était pas nécessairement homogène du point de vue linguistique et a pu intégrer des populations de langue CNO; le nom aurait survécu à la disparition de la langue iranienne des conquérants, réinterprété comme "fils (-ge → -q°'e ?) de l'ours (*məs°a-*)", ce que les Turcs traduiront par **Adəǵ*, la domination turque faisant de cette traduction le nom officiel de l'ensemble tcherkesse.

2.4. *Digor*?

Les Ossètes occidentaux s'appellent *Digor* (= iron *dygur*); dans la *Géographie* de Moïse de Khorène (VII^e siècle), sont mentionnés les *Astikor* "Asses Digor", distincts des Alains.

Leur nom a été rapproché de celui des Tcherkesses (*Adəǵe*)¹⁴, mais la présence de *As-* (= vx géorg. *ovs-* "ossète") suggère plutôt un nom de tribu iranienne.

Iron *u* et digor *o* peuvent provenir d'un ancien **au*, dont la monophthongaison se rencontre, dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, dans l'onomastique scythique des cités grecques du Pont Euxin (ZGUSTA 1955, pp. 214-215). *Adigor* chez Hésychius pourrait donc recouvrir un plus ancien **adigaura* mais une telle forme paraît inexplicable en iranien. Si le sens en est bien "sauterelle" on connaîtrait la signification ancienne de *digor*, mais non la langue d'origine; la position des *Broïkhoi*, s'il s'agit bien de la traduction grecque de **adigor*, inciterait à la chercher dans le domaine caucasique¹⁵.

3. Le nom des Oubkykhs

3.1 *Toretai*

Si la forme *broïkhoi* n'est plus l'ancêtre probable de *t°ax* "oubykh", on peut reprendre l'enquête étymologique sur ce mot.

A l'intérieur de l'oubykh, on peut proposer une analyse: *t°-* + *-(a)x*, soit *t°ə* (*a-t°*) "père" + *x* "appartenir à"; *t°ax* serait donc un adjectif "qui appartient au(x) père(s)/aux ancêtres", délimitant ce qui appartient à la tradition familiale et tribale.

Il est difficile de savoir s'il s'agit de l'étymologie du nom ou d'une réinterprétation postérieure.

Les inscriptions officielles des Rois du Bosphore Cimmérien (Leukôn, son fils Pairisadês (IV^e siècle av. J.-C); plus tard Aspourgos) mentionnent un grand nombre de peuples qui habitaient soit en Crimée, soit dans la basse vallée du Kouban.

Leur nombre et leurs noms varient d'une inscription à l'autre; les *Sindoi* y figurent assez régulièrement (18 ex. dans *C.I.R.B.*); ils étaient peut-être connus d'Hérodote (4,28: *Indoi* codd).

Aux Sindes sont associés les *Maitai* (13 ex.), les *Toretai* (8. ex.), les *Dandarioi* (5 ex.), les *Thateis* (4 ex.), les *Tarpeites* (2 ex.), les *Psês(s)oi* (6 ex.) et les *Doskhoi* (1 ex.).

Le pouvoir d'Aspourgos (roi en 8 ap. J.-C.) s'établissait à trois niveaux: *archonte* de la cité de Théodosia, roi (*basileús*) des *Sindoi*, *Maitai*, *Tarpeites*, *Toretai* et *Psêsoi*, "ayant soumis" (gr. *upo.tássanta*) les Scythes et les Taures (*C.I.R.B.* n°40).

Strabon (11,2,11) énumère quelques-uns des peuples qui font partie des *Maiôtai*; on y trouve les *Sindoi*, *Dandarioi*, *Toretai*, *Tarpêtes*, *Doskhoi* et 4 autres, inconnus des inscriptions; il ajoute les *Aspourgianoi* qui doivent désigner les sujets de son contemporain *Aspourgos* et non un peuple particulier.

3.2. Des Toretai aux T°ax

On ne dispose d'aucune information sur les langues parlées dans le Royaume du Bosphore; l'onomastique royale manifeste une triple influence, thrace, grecque et iranienne.

Cette dernière, assez tardive, rend compte du nom *Aspourgos* (de **aspa-ugra* "aux chevaux puissants", ZGUSTA 1955, p. 75); elle ne se manifestera vraiment qu'aux siècles des Sarmates et des Alains, dans l'onomastique des habitants des cités grecques.

Le nom des *Toretai* semble contenir le suffixe de pluriel scythique *-*ta* (oss. -*tæ*), comme celui des *Saudaratai* de l'inscription de Protogènes (III/II^e siècles av. J.-C.) "porteurs (*dar*) de (vêtements) noirs (*sau*)".

Comme *o* peut représenter un ancien **au*, il est tentant de voir dans *Tore-* une forme iranisée de *Tauro-*, nom des Taures; Les *Toretai* seraient alors une branche orientale des Taures, occupant un territoire proche de celui qu'occupaient les Oubykhs jusqu'en 1864. Les deux hypothèses, *Tore-* = *Tauro-* et *Tor-* > *t°(a)x* sont indépendantes.

En l'absence de documents anciens, on ne peut reconstituer la préhistoire des phonèmes CNO mais la richesse en phonèmes consonantiques pourrait s'expliquer par la superposition, sur un même phonème, de traits phonétiques primitivement répartis sur la syllabe (consonne(s) + voyelle)¹⁶; dans cette hypothèse, **taur/tor* pourrait donner naissance à *t°*.

Un exemple, plausible, ne saurait constituer une loi phonétique et il est improbable que l'on puisse rassembler suffisamment de données pour constituer un faisceau convergent, fondement de toute grammaire historique.

NOTES

¹ VASMER (1971, p. 142) cite la glose avec le simple commentaire: "kaum iranisch"; LATYSHEV, dans son recueil de textes antiques relatifs aux Scythes et au Caucase, dont la traduction russe est parue dans le *Vestnik Drevnej Istorii* (Izvestija drevnix pisatelej o Skifii i Kavkaze, *V.D.I.* 1947-1948), donne la glose (*V.D.I.* 1948, 4 p. 269) sans commentaire.

² Abx. *a-laša.ra* est un nom verbal (infinitif) qui pourrait être issu de **laša* "soleil" (en fonction verbale "il fait soleil"), soit "lumière" = "le (*a-*) fait de (*-ra*) faire soleil".

³ On n'obtient un modèle iranien que par des corrections peut-être excessives, ainsi pour *oiorpata* "tueuses d'hommes (gr. *andro-któnoi*)", nom des Amazones (Hdt 4.110): ABAEV (*O.Ja.F.*, p. 188), après correction en **oiro-marta*, reconstitue un composé iranien [*vīra-mār.ta*]; il est vrai qu'il peut s'appuyer sur une glose d'Hésychius (empruntée à Hérodote?): ὀρμάται- υἱ ἄνδρὸκτόνοι, Σκῦθαι qui fournit un *m* inconnu de la tradition manuscrite

d'Hérodote. L'initiale *orm-* (Hésychius) s'explique bien par une erreur de lecture: *oior-* a été analysé en *hoi* (article) + *or-* (cf. K. LATTE en note à son édition d'Hésychius).

Le premier terme *Oior-* pourrait être un mot caucasique (taure?), ancêtre de abx. *w(a)y*^o "homme" (pl. *wā* "gens"); abaza *ε^oə* montre que la forme abkhaz est un composé à premier terme *w(a)-*.

⁴ La seconde, si on admet que les Cimmériens étaient iraniens (cf. DJAKONOFF 1981) mais la rareté des données rend toute affirmation fragile. Les liens matrimoniaux entre Scythes et Thraces et surtout le maintien d'une composante thrace dans l'onomastique royale du Bosphore plaide plutôt pour une parenté entre les Cimmériens et les Thraces.

⁵ C. PARIS 1974, pp. 14-19.

⁶ ἀπὸ δὲ Ἀβάσκου ποταμοῦ εἰς Βρούχοντα ποταμὸν
{τὸν νῦν λεγόμενον Μίζυγον} στάδιοι ρκ'.

"Du fleuve Abaskos jusqu'au fleuve Broukhôn (aujourd'hui appelé Mizugos): 120 stades (= 23 km)".

Il peut s'agir du *Mzymta*, sur l'ancien territoire des Oubykhs, ce qui expliquerait *Broukhôn*. Ce territoire s'étendait peut-être, au sud, jusqu'au Bzyb, aujourd'hui en Abkhazie mais dont le nom pourrait être oubykh: *bzə.bə* "eau grise".

Miz(u)- est proche de l'un des noms CNO de l'eau et de la rivière: oub. *bzə*, abx. *zə*. ŠAGIROV (n°72) rapproche oub. *bzə* de tch. *psə*, avec des correspondants dans la toponymie d'Abkhazie et dans abx. *a-ps.ta* "gorge (=lieu (-*ta*) de rivière)".

Il semble préférable de poser deux étymons distincts: **ps* et **bz*; ce dernier est représenté en oubykh (*bzə*) et en abkhaz (*a-zə*); **miz* pourrait représenter la forme ancienne.

⁷ G. DUMÉZIL, *D.A.* III, p. 16.

⁸ Flottements phonétiques dans la forme de ce nom d'insecte: P. CHANTRAINE (*D.E.L.G.* p. 198), qui cite plusieurs gloses d'Hésychius.

⁹ De *trōgō* "ronger, manger": *D.E.L.G.*, p. 1142; *o* bref sous l'influence de *trókhos* "course".

¹⁰ ABAEV I, p. 340; BOKAREV 1981, p. 28: dargi *c'erc'*, lezg. *c'ic'* etc. Les formes ossète et CNO (**c'erc'*?) ont une structure phonétique comparable à celle de l'ethnonyme *Kerketai* (entre *Sindoi* et *Toretæ*: *Périples de Scylax* § 73; plus au sud (par erreur?) chez Strabon (XI,2,14) qui su Artémidore), ancêtres possibles des Tcherkesses. Les *Kerketai* (Hésychius: *Κερκέται* · ἔθνος Ἰνδικόν; à corriger: **Σινδικόν*?) pourraient avoir été des "sauterelles", si on part d'une autre glose d'Hésychius, transmise dans indication d'origine:

κέρκα · ἄκρις ("sauterelle").

Pour *mætyx*, ABAEV (II, p. 108) évoque le nom de tribu scythique *Matuketai* (Hécatee, ca 500 av. J.-C.) compris comme "sauterelles" (**matuka*, cf. *O.Ja.F.*, p. 173).

¹¹ Cet article postposé *-r* n'existe qu'en tcherkesse; oubykh et abkhaz ont un article préposé *a-*; il est difficile, dans ces conditions, de reconstituer la situation en proto-CNO.

¹² BAZIN, L., Les noms turcs et mongols de l'ours, *Hommages à P. N. Boratav*, Paris, 1978, pp. 83-93.

¹³ Ammien Marcellin (31,2,12): *Halanos ... veteres Massagetas...*

A l'époque d'Hérodote, ils sont encore au delà de l'Araxe (1,201), assez puissants pour avoir vaincu Cyrus (1,205).

Plutôt que **massa*- "poisson", V. I. ABAEV (*O.Ja.F.*, p. 179; III, p. 15) voit dans ce nom **manu-sāka* "homme cerf".

¹⁴ ABAEV I, p. 380.

¹⁵ Pour la finale, on pense au suffixe d'adjectif CS *-uri*, cf. *Didouroi* (Ptolémée), peuple dont le nom s'est conservé dans celui des *Dido* (CNE).

Il existe une base (IE?) **digh* "chèvre" (germ. *tiga*); il faudrait admettre une désignation métaphorique de la sauterelle comme chevre(tte), tout aussi plausible que fr. *crevette* (de *kevrette* "petite chèvre", cf. *bouc* et *bouquet*).

¹⁶ En russe, [t'] est issue de *ti*, avec superposition des traits *occlusive dentale* ([t]) et *palatale* [i] sur un même phonème ([t']).

En sanskrit, IE **k*^w a deux traitements, *k* et *c*; *c* a intégré le trait *palatal* de la voyelle **e* (**a*) dont le timbre s'est ensuite confondu avec celui **o* (**a*).

BIBLIOGRAPHIE

ABAEV I, II...: ABAEV, V.I., *Istoriko-etimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka* (Dictionnaire historique et étymologie de la langue ossète), Moscou/Leningrad, I (1958), II (1973), III (1979).

O.Ja.F.: —, *Osetinskij jazyk i folklór* (Langue et folklore des Ossètes), Moscou/Leningrad, 1949.

BADER 1985: BADER, F., Introduction à l'étude des mythes indo-européens de la vision: les Cyclopes, *Studi Indoeuropei*, E. CAMPANILE ed., Pisa, 1985, pp. 9-50.

BENVENISTE, *Titres*: BENVENISTE, E., *Titres et noms propres en iranien ancien*, Paris, Klincksieck, 1966.

BOKAREV 1981: BOKAREV, E. A., *Sravitel'no-istoričeskaja fonetika vostočno-kavkazskix jazykov* (Phonétique historico-comparative des langues caucasiques orientales), Moscou, Nauka, 1981.

CHANTRAINE *D.E.L.G.*: CHANTRAINE, P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, I-IV, Paris, Klincksieck, 1968-1980.

CHRISTOL 1985: CHRISTOL, A., "Note abkhaz 2: jour, soleil et lune", *R.E.G.C.* 1, 1985, pp. 47-70, Paris.

1986: —, "Note abkhaz 3: pomme et étoile", *R.E.G.C.* 2, 1986, pp. 1-20, Paris.

C.I.R.B.: *Korpus Bosporskix Nadpisej/Corpus Inscriptionum Regni Bosporani*, Moscou, Nauka, 1965.

DIAKONOFF 1981: DIAKONOFF, I.M., The Cimmerians, *Monumentum Georg Morgenstierne*, Leyde, E.J. Brill, pp. 103-140.

- DUMEZIL B. K. 1974: DUMEZIL, G., Notes d'étymologie et de vocabulaire sur le caucasique du nord-ouest, 11. Emprunts de l'oubykh au tcherkesse, *B. K.* XXXII, 1974, pp. 37-47, Paris.
- D.A.* III: —, *Documents anatoliens sur les langues et traditions du Caucase* III, Paris, Institut d'Ethnologie, 1965.
- J.As.* 1971: —, Basque et caucasique du Nord-Ouest. Examen de rapprochements lexicaux récemment proposés, *Journal Asiatique* CCLIX, 1971, pp. 139-161, Paris.
- L.N.*: —, *Légendes sur les Nartes*, Paris, H. Champion, 1930.
- Romans*: —, *Romans de Scythie et d'alentour*, Paris, Payot, 1978.
- V.O.*: —, *Le verbe oubykh*, Paris, Klincksieck, 1975.
- GAMKRELIDZE/IVANOV: GAMKRELIDZE, T./IVANOV, V.V., *Indoeuropejskij jazyk i Indoeuropejcy* (La langue indo-européenne et les Indo-Européens), Tbilisi, 1984.
- GEORGIEV 1977: GEORGIEV, V., *Trakite i texnijat ezik* (Les Thraces et leur langue), Sofia, 1977.
- GRENET 1983: GRENET, F., L'onomastique iranienne à Ai Khanoum, *BCH* 107, 1983, pp. 373-381.
- KLIMOV: KLIMOV, G. A., *Etimologičeskij slovar' kartvel'skix jazykov* (Dictionnaire étymologique des langues kartvèles), Moscou, 1964.
- KUIPERS: KUIPERS, A.H., *A dictionary of Proto-circassian roots*, Lisse, P. de Ridder Press, 1975.
- KUMAXOV: KUMAXOV, M.A., *Sravnitel'no-istoričeskaja fonetika adygskix (čerkesskix) jazykov* (Phonétique comparée et historique des langues adyghé (tcherkesses), Moscou, Nauka, 1981.
- LATYSHEV: LATYSHEV, B., *Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae*, St Petersburg, I² (1917), II (1890), IV: *Addenda* (1901).
- MUSAEV 1984: MUSAEV, K.M., *Leksikologia tjurkskix jazykov* (Lexicologie des langues turques), Moscou, Nauka, 1984.
- PARIS 1974: PARIS, C., *Système phonologique et phénomènes phonétiques dans le parler besney de Zennun Köyü*, Paris, Klincksieck, 1974.
- 1976: —, Conte populaire en dialecte besney (Tcherkesse oriental), *B.K.* XXXIV, 1976, pp. 24-32; 255-309, Paris.
- ŠAGIROV: ŠAGIROV, A.K., *Materialnye i strukturnye obščnosti leksiki abxazo-adygskix jazykov* (Traits communs matériels et structurels du lexique des langues abkhaz-adyghé), Moscou, Nauka, 1982.
- TREŠČEVA 1977: TREŠČEVA, JU. N., *Prosopografija dolžnostnyx lic Ol'vii I-III vv. n. è.* (Prosopographie des notables d'Olbia aux trois premiers siècles de notre ère), *V.D.I.*, 1977, 4, pp. 156-182.
- VASMER 1971: VASMER, M., *Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde*, Hrsg. H. Bräuer, Berlin/Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1971.
- VOGT: VOGT, H., *Dictionnaire de la langue oubykh*, Oslo, 1963.
- ZGUSTA 1955: ZGUSTA, L., *Die Personennamen griechischer Städte der nordlichen Schwarzmeerküste*, Prague, 1955.

Alain CHRISTOL

SCYTHICA (5) *

5. Ossète *us* “femme”

Le mot ossète *us* (digor *uosæ*) “femme” est habituellement rattaché à la racine **vad* (IE **wedh*) “mener”; cette étymologie se heurte à des difficultés phonétiques. Il est donc préférable de poser une base **astw* représentée, outre l’ossète, en tchéchéne, peut-être en abkhaz, probablement en hourrite.

5.1. Les formes ossètes

Oss. *us*, pl. *ustytæ* (dig. *uosæ*, pl. *uostitæ/uostæltæ*) signifie “femme”, aussi bien comme humain de sexe féminin (rus. *ženščina*, géorg. *kali*) que comme élément féminin du couple (rus. *žena*, géorg. *coli*). Dans les deux cas, il s’oppose à *læg* “homme” (rus. *mužčina*) et “mari” (rus. *muž*); comme en fr., le terme marqué [+masculin] sert aussi de terme non marqué: “être humain” (rus. *čelovek*), à côté de *adæimag*, singulatif de *adæm* “gens” (rus. *ljudi*).

En dig., au sg. comme au pl., *uosæ* est intégré aux noms de parenté: *fidæ*, pl. *fidæltæ*, etc. On ne peut donc poser un thème en *-*ā* ancien à partir de la seule forme *uosæ*.

Le thème du pl. *u(o)st-* diffère de celui du sg. *u(o)s-*; une telle chute de *-t-* est sans exemple dans la morphologie nominale de l’oss. et ne peut s’expliquer que par une réinterprétation morphologique (§ 5.6).

* Scythica 1-3: *R.E.G.C.* 3, 1987, pp. 215-225; Scythica 4: *abi*: “*upo*” (Hésychius) devrait paraître dans une revue ossète.

Les langues citées dans cet article sont les suivantes: ab. = abaza, abx. = abkhaz, av. = avestique, čeč. = tchéchéne, fr. = français, géorg. = géorgien, gr. = grec, hitt. = hittite, hourr. = hourrite, I.E. = indo-européen, I.I. = indo-iranien, lat. = latin, O.C. = ossète commun, oss. = ossète, (dig. = digor; ir. = iron), oub. = oubykh, pol. = polonais, rus. = russe, skt = sanskrit, sogd. = sogdien, sv. = svane, tch. = tcherkesse, véd. = védique.

La polysémie de *us* a un parallèle en abx., où *ph°as* “épouse/femme” s’oppose à *xac’a* “mari/home”. Il faut également signaler que l’abx. a *læg-* dans *a-læg.az°* “vieillard” (*az°* “vieux”) et l’ab. *læg* “esclave”¹.

5.2. Etymologie

Pour *læg*, on hésite entre un emprunt caucasien (“substrat caucasique”; ABAEV II, p. 20) et divers prototypes iraniens (bilan critique: *GrW.*, pp. 184-185)². Pour *us*, au contraire, seule une origine iranienne est envisagée mais les spécialistes hésitent entre deux bases, **vad-* (I.I. **wadh*, I.E. **wedh*) “conduire, emmener” et **yauš-* “jeune fille/femme” (§ 5.7).

La première a pour elle la phraséologie de l’I.E.: le mari “emmène” la jeune mariée (lat. *uxorem ducere*)³; av. *vadū*, skt *vadhū* “fiancée, jeune mariée” donne un exemple de dérivé nominal.

Il reste à trouver un dérivé de **wad* qui puisse donner oss. *u(o)st-*: **wasti* (*GrW.*, p. 233) se heurte à des difficultés phonétiques (**va-* > *u(o)-*; **-st-* > *-s*) et morphologiques (valeur de **-ti*).

On a voulu retrouver l’ancêtre de *u(o)st-* dans un anthroponyme “scythique” de la cité grecque de Tanais (cf. ZGUSTA 1955, p. 199): *Osmarakos*, analysé comme le “tueur (oss. *mar.yn* “tuer”) de femmes”; le premier terme serait **os* “femme”. Outre l’incertitude inhérente aux anthroponymes, ni la forme ni la signification ne sont satisfaisantes, d’où le scepticisme de L. ZGUSTA. En particulier, il faut expliquer l’absence de *-t*.

5.3. Suffixe **-ti*

Le suffixe **-ti* se retrouverait dans les féminins *idædz* (dig. =) “veuve”, de **vidva.ti* (ABAEV I, p. 539; *GrW.*, p. 234) et *čyndz* (dig. *kindzæ*) “fiancée, bru”, de **kanti* (ABAEV I, p. 607).

Pour *idædz*, la forme dig. exclut **ti*, sauf à y voir un emprunt à l’ir. En effet O.C. **-ti-* et **-ty-* donnent dig. *-i-*:

— **kuti* “chien”: ir. *kuydz*, dig. *kui* (ABAEV I, p. 605; *GrW.*, p. 170).

— **vinsati* “vingt”: ir. *ssædz*, dig. *insæi* (*GrW.*, p. 214).

Dig. *dz* est le traitement de **č*, avec sonorisation intervocalique:

— **šauč-* “brûler”: ir. *sudzyn*, dig. *sodzun* (*GrW.*, p. 217).

Il faut donc poser **vidvači*, comme le faisait E. BENVENISTE (*E.L.O.*, p. 32); **-či* est bien représenté en ossète; aux exemples cités par E. BENVENISTE, s’ajoute peut-être:

— **taru.ači* (skt *taru* “arbre?”): O.C. **taurdz*, ir. *tuldz*, dig. *toldzæ* “chêne”⁴.

Les emprunts hongrois distinguent **ty* (*kutya* “chien”) et **c* (*özvegy* “veuf”, *tölgy* “chêne”).

Ce suffixe résiduel **-ači* est sans contenu sémantique en synchronie ossète. S’il est apparenté à skt *-ānc-/-ac-* “en direction de, -ward” (*ud.ānc-* “upward”; *pra.a āc-* “for-ward”), il y a eu démotivation sémantique en simple suffixe d’adjectif⁵. Il faut rappeler que *idædz* fonctionne aussi comme adj.: *i. læg* “veuf”; *i. us* “veuve”.

Pour *čyndz*, le vocalisme radical s’explique mal à partir de **kanti*; dig. *dz* est le traitement de **ti* et **či* après nasale; un autre prototype, **kany.ači*, laisse attendre une diphtongue radicale après métathèse de **y* (O.C. **ai*: dig. *e*, ir. *i*). Une métathèse vocalique est possible, donnant **kinači*, mais elle reste pure hypothèse.

Comme les féminins en **-ti* sont mal attestés en I.I. (cf. n. 10), **wasti* ne reçoit guère de soutien ni à l’intérieur de l’ossète ni en iranien.

A défaut d’un nom en **-ti*, on pourrait penser à un verbal en **-ta*, puisque oss. *-t* représente **-ti* et **-ta*⁶. Il resterait le problème de l’initiale.

5.4. Phonétique

a) **va-*

Normalement **va-* > *uæ* - et **vā-* > **ua-*:

— **vaz* “peser”: ir. *uæz* “poids”, *uæzzau* “lourd” (*GrW.*, p. 229).

— **vatsa* (skt =) “veau”: dig. *uæss* (*E.L.O.*, p. 41).

— **varu.ka* “large”: ir. *uærcæx* (*GrW.*, p. 231); degré zéro **uru*: dig. *urux*

— **vāta* “vent”: ir. *uad*, dig. *uadæ* (*GrW.*, p. 228).

— **vār-* “pleuvoir” (I.I. **vār* “eau”): ir. *uaryn*, dig. *uarun* (*GrW.*, p. 229).

En ir., un groupe *-æuæ-* se réduit à *-o-*:

— **nava.ka* “nouveau”: dig. *næuæg*, ir. *nog* (*GrW.*, p. 201); la même réduction se rencontre pour *uæ-*: *uæng/ong* “member”. Pour ir. *uæmyn/omyn*, le flottement initial peut être ancien: **vām-* (*E.L.O.*, p. 32; ABAEV IV, p. 85).

Aucun de ces traitements ne permet d’expliquer **wasti* > *u(o)st-*.

b) **ava-*

Les voyelles faibles *y* (ir.) et *æ* (ir. et dig.) tendent à s’amuir à l’initiale devant consonne; le traitement de **ava-* se confond avec celui de **va-*⁷:

— **avadā* “ainsi” (cf. av. *avaθa*): ir. *uæd* (dig. =).

— **avari*: ir. *uæl-* (dig. =) “au-dessus” (*E.L.O.*, p. 32; *GrW.*, p. 230; **upari* selon ABAEV IV, p. 72).

On a un traitement différent pour le préverbe résiduel **ava* (*E.L.O.*, p. 95):

— **ava-rām* “calmer”: ir. *u.romyn*, dig. *uo.ramun* (BIELMEIER 1981, p. 29; ABAEV IV, p. 18).

— **ava-zarya*: ir. *uzælyn* “soigner, choyer” (ABAEV IV, p. 23).

Il a existé un préverbe **au* en I.E.: lat. *au-ferre*, *au-fugere*, etc. Même en partant de **ava*, la chute régulière de **-a* en finale (**aiva* > ir. *iu*, dig. *ieu* “un”) pourrait expliquer ir. *u-*, dig. *uo-*; jusqu’à l’univerbation un préverbe a le traitement d’un lexème autonome.

5.5. c) ir. *u-*/dig. *uo-*

Si **(a)va-* ne peut justifier *u(o)-*, il faut inverser la question et rechercher le(s) prototype(s) de ir. *u-*, dig. *uo-*. A dig. *uo-* (articulation diphtonguée de *o* initial) correspond ir. *uy-* et *u-*.

La première correspondance se rencontre dans le thème de *uyi* ‘is, ille’:

— dig. *uomi* “là” (ir. *uym*), de **avahmi*; *uordæmæ* (ir. *uyrdæm*) “eo, illuc”, etc.

où une réfection interne est probable: ir. *a-* “hic”/*am* “hic” (adv.) = *uy/x*, avec $x=uy$; dans ces conditions, dig. *o* peut être le traitement de **ā* devant nasale (**avāmi* > *uomi*), généralisé aux autres formes.

L’équivalence dig. *uo-* = ir. *u-* est mieux représentée; outre les verbes préverbes par **ava* (§ 5.4), on a:

— ir. *urs*, dig. *uors* “blanc”, O.C. **aurš-* (cf. ethnique *Aorsoi*: Strabon 11,5,8), I.I. **aruša* “couleur de feu” (skt *aruṣa* “rouge”) (*GrW.*, p. 233; ABAEV IV, p. 19).

— ir. *ud*, dig. *uod* “âme”, = **“souffle”* (cf. **wat-* “souffler”) (*GrW.*, p. 231; ABAEV IV, p. 6).

— ir. *udyn*, dig. *uodun* “s’efforcer de”, dérivé de *ud*, I.I. **yau*d ou **av*? (ABAEV IV, p. 11).

— ir. *ulæn*, dig. *olæn*, **walana* (mot “européen”: ABAEV IV, p. 15).

— ir. *usong*, dig. *osongæ* “hutte, tente”, **auš* “brûler”? (ABAEV IV, p. 21).

— ir. *uzyn*, dig. *ozun* “bercer”, **yauz* “mettre en mouvement” (ABAEV IV, p. 24).

U(o)rs est un exemple de diphtongue secondaire née d’une métathèse de **w⁸*. Pour les autres mots, le prototype I.I. est incertain: *u(o)d* peut représenter **au-* (I.E. **HeuH*, gr. *aúra* “brise”), variante apophonique de **vā-* (I.E. **HweH*; ir. *uad*: § 5.4) “souffler (vent)”.

Pour *usong*, qu’il s’agisse de **auš* “brûler” ou de **auš* “gîter” (I.E. **Hew.s*; hitt. *hweš* “vivre”; gr. *iaúō*, aor. *á(w)esa* “passer la nuit”), on a une

diphthongue héritée **au-*; il reste deux exemples possibles de **yau-*, avec chute de **y-* (cf. § 5.7).

On ne trouve dans ces mots aucune confirmation sérieuse d'un traitement **was-* > *u(o)s-*.

5.6. **-st-*

Un groupe **-st-* se maintient en oss., qu'il provienne de **s + *t*:

— **asta.ka* “os”: ir. (*æ*)*stæg*, dig. *æstæg* (*GrW.*, p. 215).

ou de dentale + **t*:

— **basta* “lié” (I.I. **ba(n)dh-* “lier”): ir. *bast* (dig. =) (ABAEV I, p. 243).

Fait exception le présent du verbe *uyn* “être”:

— ir. *is*, dig. *ies* “il est”, de **asti* (*E.L.O.*, p. 75; ISAEV 1987, p. 622).

Le présent de *uyn* est hétérogène, associant formes héritées (dig. *æncæ* “ils sont”, de **hanti*), thèmes pronominaux (ir. *u* “il est”: *E.L.O.*, p. 74) et éléments d'origine inconnue (*dæn* “je suis”).

Pour S3, on a plusieurs formes en concurrence: dig. *æi* vient de **hati*, sg. refait sur P3 **hanti* (*E.L.O.*, p. 76); ir. *i* pourrait être une réduction de *is* (*E.L.O.*, p. 75). L'initiale de dig. *ies*, ir. *is* suggère une diphthongue **ai* héritée ou secondaire (métathèse de **y*); le *i* de **asti* ne peut justifier à lui seul la diphthongue **ai*⁹.

Il est possible que dig. *ies*, ir. *is* soient issus d'un emploi en fonction verbale de dig. *ies*, ir. *is* “bien, propriété” (**aiša*, cf. av. *aesā* “possession”, *E.L.O.*, p. 10) comme le suggère ABAEV I (p. 550); c'est d'autant plus probable que *is* fonctionne plutôt comme verbe d'existence/possession et *u* comme copule.

En tout état de cause, la fréquence de *i(e)s* suffirait à justifier une usure phonétique anormale; c'est ce qu'on allègue pour la chute de *-s* dans ir. *i*.

5.7. Indo-iranien ou caucasique?

Pour reconstituer la préhistoire de *u(o)st-* “femme”, il faut partir de O.C. **aust-*, issu de **aust-* (diphthongue héritée) ou **astw-* (diphthongue secondaire). Aucun de ces thèmes ne permet d'expliquer phonétiquement le nominatif *u(o)s(æ)*, sans dentale.

Une explication morphologique est possible: le pl. ancien (I.I. **ai*) était O.C. **austi* “femmes”; quand se développe le pl. “scythique” en **-tā* (ir., dig. *-tæ*), la langue hésite entre deux attitudes:

— ajouter **-tā* au pl. **austi*, comme pour les autres substantifs; on obtient l'ancêtre de *uostitæ/ustytæ*.

— analyser **austi* en *aus-*+ *t-* (pl.) et créer un sg. **aus*, d'où est issu ir. *us* et, avec alignement sur les noms de parenté, dig. *uosæ*.

1) **aust-* et véd. *yoṣit*

Depuis V. MILLER, on rapproche oss. *us* de véd. *yoṣā*, *yoṣit* “jeune fille” (*GrW.*, p. 234; ABAEV IV, p. 20, sans mention de **wasti*).

La sémantique n'est pas entièrement satisfaisante car *us* désigne la “femme mariée” et *yoṣā* plutôt la “femme non mariée”, celle qu'on courtise (“épouse”?: *A.V.* 12,3,29); pour la phonétique, il faut supposer la chute de **y-*; il est vrai que le traitement de **y-* n'est pas clair:

— **yakr-* “foie”: ir. *igær* (dig. =) (ABAEV I, p. 539).

— **yava* “cereal”: ir. *ioeu* “millet” (dig. =) (ABAEV I, p. 564).

— **yāva*: ir. *au*, dig. *iau(æ)* “force, énergie” (*E.L.O.*, p. 49; ABAEV I, p. 85).

— **yauđ* et **yauz*: cf. § 5.5.

Si **y-* se conserve, au moins partiellement, devant **-ava*, on est moins bien informé pour **yau-* antéconsonantique: **yauđ* “mettre en mouvement” n'est qu'une racine possible pour *udyn*, sans grande pertinence sémantique.

Il reste **uzyn* “bercer, troubler”, où **yauz* est vraisemblable (av. *yaoz-* “troubler, agiter (flots)"); le prétérit ir. *uyz-*, dig. *uzt-* confirme qu'il s'agit d'une racine alternante **-au-/-u-*.

On ne peut donc exclure **yaušā* “jeune fille” > dig. *uosæ-* “femme”, avec chute de **y* initial; il resterait à expliquer oss. *-t-* car véd. *yos*□*t* peut difficilement fournir un modèle¹⁰.

Cette étymologie ne s'impose pas au point de renoncer à explorer l'autre voie, celle d'un prototype **astw-*.

5.8. 2) **astw-*

a) abx. *a-ph^oas*

Si l'abx. *a ləg-* “homme” (§ 5.1), on peut s'attendre à rencontrer l'équivalent de *us*; abx. *ph^oas* “femme” (ab. *ph^oas*, pl. *ah^ossa*)¹¹ n'est pas sans analogie phonétique avec *u(o)s*.

Comme le montre le pl., *ph^oas* est un composé à premier terme *p-*; de même, abx. *pha* “fille” (ab. =) s'analyse en *p-* “fils” (abx., ab. *pa*) + *ha*; si le second terme n'est pas attesté à l'état libre, il devait signifier “femme” et servir à créer un féminin par composition¹².

L'oub. a *p^xa* “fille (rus. doč’)", *p^xa.s^o* “femme, épouse”, *p^xa.dək^o* “jeune fille”¹³. La symétrie de l'abx. entre “fils” et “fille” n'existe pas en oub., qui a *q^oa* “fils”.

En tch., on a *px^oə* “fille (doč)” et *qq^oe* (šapsug) “fils”; la situation est celle de l’oub. et *px^oə* reste inanalysable. ŠAGIROV (1982, p. 63), reprenant une idée de MARR, voit dans *p-* un nom de l’enfant (= abx. *pa* “fils”), perdu comme lexème autonome en oub. et en tch.; une telle explication est préférable à celle qui fait de *p-* un indice de classe figé (sur ces indices: CHRISTOL 1985, p. 64).

A l’intérieur de l’abx., *-ha* et *-h^oəs* sont irréductibles à un étymon commun; c’est *pha* qui, selon toute vraisemblance¹⁴, répond à oub. *pxá*, tch. *px^oə*. Le pl. montre que *p-* est récent dans *ph^oəs*, qu’il s’agisse de **p-* “enfant” ou d’une normalisation dans le microsystème lexical composé de *pha* “fille” (*D.A. V*, p. 45, n^o 1), *ph^oəs* “femme” (*D.A. V*, p. 79, n^o 32 “épouse”; p. 127, n^o 144: “femme”) et *ph^oəzba* (*D.A. V*, p. 79, n^o 16), ab. *ph^oəspa* “jeune fille”¹⁵.

Tout dépend de la fonction de *-s* dans *ph^oəs*: s’il est partie intégrante du mot, le rapprochement avec oss. *u(o)st-* est plausible; s’il est séparable, la comparaison perd sa pertinence.

Ayah^oš’a “sœur” semble plaider pour la seconde solution s’il s’analyse en *ayaš’a* (*ayš’a*: *D.A. V*, p. 102, n^o 90; ab. *aš’a*) “frère” + *h^o-* “femme”; on aurait ainsi une attestation de *h^o* “femme”, sans *-s*. La forme *phəs.sa* “en état de femme” (*D.A. V*, p. 63, n^o 48) comme le pl. *h^oəssa* (*cf.* n. 11) semblent indiquer que *-s* se maintient devant sifflante.

On remarquera toutefois que le composé est de structure bizarre si on part de *ay(a)š’a* analysé comme “de même (*ay* réciproque) sang (*š’a*)”. En outre, il existe des variantes sans *h^o* pour “sœur”: *ax’š’a* “sœur” (*D.A. V*, p. 99, n^o 20; p. 124, n^o 53), à rapprocher de l’ab. *ax’š’a* (STARREVELD 1985, p. 84, n^o 43). La situation est donc confuse et rien n’interdit de voir dans abx. *ayah^oš’a* une réfection, motivée par *ph^oəs*, de *ax’š’a* dont l’ancienneté est garantie par l’accord de l’abaza (*tapanta* et *ašxar*) et de l’abkhaz d’Anatolie¹⁶.

5.9. b) čeč. *stē*

Sur l’autre frontière du monde ossète, à l’est, le čeč. a un nom de la “femme” phonétiquement proche de *u(o)st-*: *stē* (gén. sg. *stēčun*; pl. *steš*) “épouse, femelle”.

A côté de *stēču-*, où *-ču* est identique au suffixe des adjectifs, on a un autre thème *stēn*, dans le nom des femelles de divers animaux:

— *stēn ca* “ourse” (*ca* “ours”).

— *stēn borz* “louve” (*borz* “loup”).

Le bac (*c’ova-tušur*) a un nom, certainement apparenté: *pst’u* “épouse (géorg. *coli*)”, pl. *pst’ey/pst’ī*; *pst’un.ĩ* “(homme) marié” (rus. *žena.tyj*). Le thème oblique est *pst’un.čō*, avec le même suffixe qu’en čeč. et DESERIEV

(1953, p. 76) cite un nominatif *pst'uin* (*pst'uinō* “femme mariée, épouse”, dans le dictionnaire de KADAGIŽE).

Fait problème l'initiale *p-* qui, curieusement, se retrouve dans l'homonyme *pst'u* “taureau (géorg. *xari*)”, = *čeč. stu* (gén. sg. *steran*; pl. *sterčiy*); dans ce dernier mot, *p-* pourrait être l'allophone de *b*, indice de la classe à laquelle appartient le taureau en bac. Une telle explication ne vaudrait pour *pst'u* “femme” que si le mot avait d'abord désigné la femelle des animaux¹⁷.

Il existe, en *čeč.*, un autre nom, de plus grande extension, *zuda* (gén. sg. *zudčun*; pl. *zudariy*) “femme (rus. *žena* et *ženščina*)”, cf. n. 3. On ne peut en séparer *zud* (gén. sg. *zūdan*; pl. *zaddarčiy*) “chienne”, en composition *zud-borz* “louve”¹⁸.

Le *u* de bac *pst'u* se retrouve peut-être dans *čeč. stu* (gén. sg. *stūnan*; pl. *stūnas*) “princesse”; ce qui impliquerait le dédoublement lexical d'un paradigme alternant et la spécialisation sémantique d'un des doublets, “femme” > “princesse”, comme pour l'anglais *queen* “reine”, en face de got. *qino* “femme”.

On posera donc, pour le proto-C.N.C, un thème alternant **stē/stu-*. La flexion actuelle sur thème *steču-* peut-être celle d'un ancien adjectif: “féminin”.

On peut ajouter que le *čeč. a lay* (gén. sg. *lēn*; pl. *leš*) “esclave”, considéré comme un emprunt à l'ossète (ABAEV II, p. 20, qui donne d'autres exemples pour oss. *g* = *čeč. y*).

5.10. c) hourr. *ašte* “femme”

Il est possible de remonter plus haut; en hourr., “femme” se dit *ašte/i*, avec un adj. dérivé *aštuhhi* “féminine”, qui s'oppose à *turuhhi* “masculine”¹⁹. Ce n'est peut-être pas un hasard si le nom et l'adjectif ont des thèmes identiques à ceux qu'on suppose pour le proto-C.N.-C, à condition d'admettre qu'un **a-* s'est amui. D'autre part, l'adjectif hourr. correspond à l'un des prototypes de l'oss. (**astw-*; § 5.5), avec présence de **a-*.

Le problème posé par un tel rapprochement dépasse les limites d'un simple article; on ne peut exclure *a priori* tout lien génétique entre hourr. et langues caucasiques; il est plus difficile de préciser ces liens, malgré des tentatives comme celles de D'JAKONOV 1978 et de DIAKONOFF/STAROSTIN 1986 pour les langues C.N.-E.. Dans cette dernière étude (p. 39), hourr. *ašti* est rapproché de *čeč. stē*, en considérant *a-* comme “prothétique”. Dans l'article de 1978, le rapprochement était donné comme incertain et l'auteur ajoutait un collectif ingouche *isti* “femmes”.

Il est trop tôt pour faire le partage entre emprunt et héritage; les probabilités varient avec les champs sémantiques concernés; un emprunt est plus

plausible pour “pomme” (CHRISTOL 1986, p. 4) que pour “femme”, mais la présence de *u(o)st-* en oss. implique un emprunt, quel qu’en soit le sens; le problème est le même pour “homme”.

Se poserait également la question des rapports entre hourr. et langues C.N.-O.²⁰ si on fait intervenir abx. *ph^oas*.

Il faudra attendre que la connaissance du vocabulaire hourr. progresse pour qu’une réponse claire puisse être donnée à ces questions; on se contentera ici de proposer une hypothèse historique: un nom de la femme, connu en hourr. (*ašte/i*, adj. *aštubhi*), se retrouve dans plusieurs langues du Caucase, čeč. *stē/stu*, bac *pst’u*, oss. *u(o)st-*, peut-être abx. *-h^oas*.

L’absence d’homogénéité dans les langues concernées est plutôt favorable à un emprunt.

NOTES

¹ Le nom d’un peuple voisin peut désigner les esclaves, indépendamment de leur origine réelle (*GrW.*, p. 182); le fr. *esclave* est l’ancien nom des Slaves.

Abx. *læg* “stupide” peut être dérivé de *læg* “esclave” (ABAEV 1949, p. 315); dans le nom du “vieillard” *læg-* pourrait signifier “faible” (*D.A.* V, p. 63, n. 1.2), à rapprocher de fr. “un pauvre vieux”.

Pour les formes čeč., § 5.8.

² A partir de **viryaka* on attend effectivement dig. **ilæg* (*GrW.*, p. 184) mais cette forme pouvait s’analyser en *i* (article défini) + *læg*; de même pour ir. **y læg*; la création de *læg*, par fausse coupe, expliquerait aussi l’anomalie accentuelle de l’ir. (ABAEV II, p. 21).

³ BENVENISTE 1969, I, p. 240; MOUSSY 1980, pp. 341-345.

L’oss. dit *us (ær)xæssyn*, avec *xæssyn* “emmener” (ABAEV IV, p. 188), le čeč. *zuda y.ālō* (*-ālō* “amener”).

Pour une autre formule, *us (ra)kuryn* “se marier” (*kuryn* “demander”) = géorg. *colis txova*, cf. ABAEV 1973, p. 29.

⁴ Comme skt *taru* est isolé en I.I., V.I. ABAEV (III, p. 316) préfère partir de **teu* “être fort”. Avec raison, il juge peu probable l’infection (“épenthèse”) de **a* en **au*, au lieu de **u* ailleurs (n. 8); il s’agit en fait d’une métathèse, soit **tarva-* > **taura-*, d’où ir. *u/dig. o*.

Pour GAMKRELIDZE/IVANOV (II, p. 617), oss. *tuldz* n’a pas d’étymologie claire; la disparition ou la déformation du nom hérité pourraient s’expliquer par un tabou.

⁵ WACKERNAGEL/DEBRUNNER II, 2, pp. 152-155; on a l’amorce d’une démotivation dans des dérivés comme *gh₄ta.añc* (*R.V.*) “(cuillère) à beurre fondu”, *nīla.añc* (*A.V.*) “bleuâtre” (cf. fr. “tirant sur le bleu”); av. *zairiči* (nom propre) en face de *zari-* “jaune” (skt *hari*).

Le sogd. manichéen a les féminins *stryč* “femme” (cf. n. 10), *knč-* “jeune fille” mais sogd. *č* peut provenir de **č*, **ik* ou **ti* (GERSHEVITCH 1954, p. 152); pour l’usuel *-čh*, fém. de *k*,

on pose **-ikā* à cause du masc.; pour *stryč* ou *knč*, on peut hésiter: **-kā*, **-či* ou même **-ti*; le sogd. ne peut donc éclairer l'oss.

Dans les langues du Pamir, on a des exemples de suffixes "récents" **-ti* ou **-či* (EDELMAN 1980, pp. 296-297):

— shughni *mêst* "lune", de **mās.ti*.

— *xitêrʒ* "étoile", de **stara.či*; *vêrʒ* "jument", de **bāra.či* (*vōrʒ* "cheval", de **bāra.ka*, EDELMAN 1980, p. 291).

En particulier, **-či* sert à former le parfait féminin:

— rushani *yā sic* "elle est allée" (**čyuta.či*; masc. *suc*); *tu.t xev/xevʒ* "tu (masc./fém.) as dormi".

⁶ On a, en oss., confusion formelle entre abstrait et p.p.p.: *bast* "lié" et "lien"; *card* "vie" est identique au thème de prétérit *card.tæn* "j'ai vécu".

⁷ **a-wastā* "non emmenée = non épousée" peut difficilement donner un nom de la femme/ épouse. Le cas de lat. *sponsa* "promise" > fr. *épouse* est différent, l'engagement impliquant la réalisation; on attendrait parallèlement un verbal **vadyā* "à épouser". Au contraire, **a-vastā* focalise la non-réalisation.

⁸ A distinguer de l'infection de *a* par **u* (E.L.O., p. 9): *fʏs* (dig. *fus*) "mouton", de **posu*; cf. n. 4.

⁹ Diphtongue héritée: *ix* (dig. *iex*) "glace", de **aixa*, av. *aexa* (E.L.O., p. 10; ABAEV I, p. 560).

L'infection par **i* est mal attestée; le seul exemple que cite PAXALINA (1977, p. 91): *mid-* (dig. *med-*, ABAEV II, p. 113) "dans" de **madya* "milieu" relève plutôt de la métathèse de **y*, comme *fistæg* (dig. *festæg*, ABAEV I, p. 476) "piéton" = O.C. **paistag*, de **pastyaka*.

¹⁰ L. RENOUE (E.V.P., 8, p. 79): "*yošit*, hapax, possiblement influencé par *harit* du vers précédent"; *yošit* est attesté après le R.V. (A.V. 6,101,1; Š.B. III 2 1 40; etc.) mais un emprunt au R.V. reste possible.

I.E. **-t* a de multiples fonctions, difficiles à ramener à une matrice dérivationnelle unique: noms d'action, de personnes, neutres, adjectifs (BRUGMANN, *Grundriss* II,1 (1906), p. 422 sqq.; WACKERNAGEL/DEBRUNNER, II, 2, p. 321; REICHLER-BEGUELIN 1986, pp. 129-179).

Un autre nom de la "femme", véd. *strī*, av. *strī* est représenté par oss. *syl* (dig. *silæ*, ABAEV III, p. 193) "femelle, femme".

Lat. *uxor* est probablement un composé à second terme **sor* "femme"; le premier pourrait être **ugh*, de **wegh* "mener en char" (cf. MOUSSY 1980, avec analyse critique des diverses étymologies); pour rapprocher oss. *u(o)s-*, il faudrait que *uxor* ne soit pas un composé de **sor* et que **ouks-* ait signifié "femme" (cf. BENVENISTE 1969, I, p. 248); il resterait à expliquer oss. *-t*.

¹¹ En ab. (ašxar), *y°ə-hssa* "deux femmes" (STARREVELD 1983, p. 78, n° 8); *a-h°ssa.k°a* "les femmes" (1985, p. 83, n° 6).

¹² Comparer, à l'ordre des mots près, géorg. *kali-švili* "fille (= femme-enfant)"; sv. *dina-gezal* "fille (= femme-enfant)". De tels composés sont inutiles dans les langues à indice de classe, comme avar *w.as* "fils" (cl. I), *y.as* "fille" (cl. II); čech. *v.o* "fils", *y.o* "fille", etc.

Pour les animaux (classe III, sans distinction de sexe), la composition est la seule solution: čech. *stěn-* (§ 5.8); avar *ebela.b ci* "ourse", *ebela.b bac* "louve" (*ebel* "mere").

Composition aussi en oss.: *syl biræy* "louve", *næl xuy* "verrat", etc.

¹³ L'oub. fournirait un parallèle typologique pour expliquer gr. *parthénos* "jeune fille" par la racine **then* "tuer" (/phon, I.E. **gh^wen*).

¹⁴ Oub. *x'*=abx. *h* dans oub. *x'ə*, abx. *ah* "prince". Tch. *x^o* = abx. *h* dans tch. occ. *šx^oəm* (kab. *šx^oəh*), abx. *šham* (mais ab. *šh^oəm*) "poison, venin".

Oub. *šx^oax* "magie" est emprunté au tch. (DUMEZIL 1974, p. 44); qu'il s'agisse d'un mot hérité ou d'un emprunt, on ne peut en séparer oub. *šx^oa* "herbe".

¹⁵ Assimilation régressive en abx., progressive en ab. Le suffixe *-ba* est soit la racine *ba* "voir"; "qui a l'aspect d'une femme (sans l'être pleinement)", soit *b(a)* "âgé, vieux" dans *ayha.bə* (D.A. V, p. 122, n° 13) "plus vieux"/*ayc'.bə* (D.A. V, p. 123, n° 39) "moins âgé, cadet".

Pour "gars", à côté de *rpəs*, il existe une forme en *-ba*: *a-rpəzba.c^oa-y a-ph^oəzba.c^oa-y* "les (*a ... c^oa*) gars et (*-y ... -y*) les filles". Il peut s'agir d'une dérivation parallèle (*-s- + ba-*) comme d'une Reimwortbildung, avec harmonisation secondaire des finales.

Le lien morphologique entre *pa* "fils" et *rpəs* "gars" n'est pas clair. S'il s'agit d'un suffixe *-s*, il faut supposer le même pour *ph^oəs*.

¹⁶ Dans l'abx. décrit par G. HEWITT (1979, p. 274), l'élément *ay-* disparaît après préfixe possessif: *s-aš'a* "mon frère"; il peut se maintenir ailleurs: *s-ayš'a* (D.A. V, p. 102, n° 115); *ay-* est absent en ab.: *aš'a* "frère", *ax'š'a* "sœur".

Le dictionnaire de ŠAKRYL/KONZARIJA (I, pp. 283-284) donne *vaš'a* "frère", *yah^oš'a* "sœur"; avec article: *a-yaš'a*, *a-yah^oš'a*.

¹⁷ Le pol. *kobieta* "femme" en face de rus. *kobyła* "jument", prouve que la frontière entre humains et animaux n'est pas infranchissable pour le lexique. Čech. *stěn* "femelle" en apporte la preuve à l'intérieur des langues C.N.-C.

¹⁸ DESERIEV 1953 rapproche bac *pst'u* soit de čech. *zuda* (p. 312) soit de *stu* (p. 46) et considère que proto-C.N.-C. **p* s'est amui en čech. et en ingouche (p. 46).

La glottalisation de *t* en bac est liée à la présence de *s*; à l'initiale, le bac a seulement *st'*.

¹⁹ La base *tur* pourrait se retrouver dans IE. **tauro* "taureau". Faut-il ajouter čech. *to* (pl. *tōrciy*) et oub. *t^oa* "belier"?

²⁰ Sans affirmer l'existence d'une parenté génétique, on signalera:

— indices personnels C.N.-O.: *s-* (S1) et *w-* (S2): hourr. *šu-* "ego", *we-* "tu".

— abx. *ma* "être à" (possession): hourr. *man* "exister".

— oub. *fa-* (prév.) "au bout de", *fala* "visage", tch. *pe* "nez": hourr. *pahi* "tête".

BIBLIOGRAPHIE

- ABAEV I,II...: ABAEV, V.I., *Istoriko-ètimologièeskij slovar' osetinskogo jazyka* [Dictionnaire historique et étymologique de la langue ossète], Moskva/Leningrad, I, 1958; II, 1973; III, 1979; IV, 1989. 1949: —, *Osetinskij jazyk i fol'klor* [Langue et folklore des Ossètes], Moskva/Leningrad, 1949. 1973: —, Nekotorye osetino-gruzinskie semantièeskie paralleli [Quelques parallèles sémantiques osséto-géorgiens], *Iberijsko-Kavkazskoe Jazykoznanie* XVIII, 1973, pp. 27-34.
- BENVENISTE, E.L.O.: BENVENISTE, E., *Études sur la langue ossète*, Paris, Klincksieck, 1959. 1969: —, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, I-II, Paris, Editions de Minuit, 1969.
- BIELMEIER, GrW.: BIELMEIER, R., *Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz*, Frankfurt/Berne/Las Vegas, P. Lang, 1977. 1981: Präverbien im Ossetischen, *Monumentum Georg Morgenstierne* I, Leyde, E.J. Brill, 1981, pp. 27-46.
- CHRISTOL 1985: CHRISTOL A., Notes abkhaz 2: jour, soleil et lune, *R.E.G.C.* 1, 1985, pp. 47-70, Paris. 1986: —, Notes abkhaz 3: pomme et étoile, *R.E.G.C.* 2, 1986, pp. 1-20, Paris.
- D.A. V: DUMEZIL, G., *Documents Anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase*, V. *Études Abkhaz*, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1967.
- DESERIEV 1953: DESERIEV, JU., *Bachijskij Jazyk* [La langue bac], Moskva, Izd. Akad. Nauk, 1953.
- D'JAKONOV 1978: D'JAKONOV I.M., Xurrito-urartskij i vostoèno-kavkazkie jazyki [Hourrito-urartéen et langues C.N.-E.], *Drevnij Vostok* 3, 1978, pp. 25-38, Erevan.
- DIAKONOFF/STAROSTIN: DIAKONOFF, I.M./STAROSTIN, S.A., *Hurro-Urartien as an Eastern Caucasian Language*, Munchen, R. Kitzinger, 1986.
- DUMEZIL 1974: DUMEZIL, G., Notes d'étymologie et de vocabulaire sur le caucasique du Nord-Ouest, 11. Emprunts de l'oubykh au tcherkesse, *B.K.* XXXII, 1974, pp. 37-47, Paris.
- EDELMAN 1980: EDELMAN, D.I., History of the consonant systems of the North-Pamir languages, *Indo-Iranian Journal*, 22,4, 1980, pp. 287-310, Dordrecht/Boston.
- E.L.O.: cf. BENVENISTE.
- GAMKRELIDZE/IVANOV: GAMKRELIDZE, T.V./IVANOV V.V., *Indoeuropejskij jazyk i indoeuropejcy* [La langue indo-européenne et les Indo-Européens], Tbilisi, 1984.
- GERSHEVITCH 1954: GERSHEVITCH, L., *A Grammar of Manichean Sogdian*, Oxford, B. Blackwell, 1954.
- GrW.: cf. BIELMEIER.
- HEWITT 1979: HEWITT, G., *Abkhaz*, Amsterdam, North Holland Publ. C° 1979.

- ISAEV 1987: ISAEV, M.I., *Osetinskij* [L'ossète], *Osnovy iranskogo jazykoznanija: Novoiranskije jazyki* II, ed. V.S. RASTORGUEVA, Moskva, Nauka, 1987, pp. 537-643.
- KADAGIŽE: KADAGIŽE D./KADAGIŽE N., *c'ova-tušur-kartul-rusuli leksik'oni* [Dictionnaire bac-géorgien-russe], Tbilissi, mecnieba, 1984.
- KUMAXOV 1981: KUMAXOV M.A., *Sravnitel'no-istoričeskaja fonetika adygskix (čerkeskix) jazykov* [Phonétique comparée et historique des langues adyghês (tcherkesses)], Moskva, Nauka, 1981.
- LAROCHE 1977: LAROCHE, E., *Glossaire de la langue hourrite*, = *R.H.A.* XXXIV, 1976 + *R.H.A.* XXXV, 1977, Klincksieck, Paris.
- MOUSSY 1980: MOUSSY, C., Une étymologie de lat. *uxor*, *B.S.L.* LXXV 1980, pp. 325-346, Paris.
- PAXALINA 1977: PAXALINA, T.N., O roli *i*-umlauta v istorii razvitija vokalizma iranskix jazykov [Le rôle de l'infection par *i* dans le développement du vocalisme des langues iraniennes], *V.Jaz.* 1977, 4, pp. 89-96, Moskva.
- 1983: —, *Issledovanie po sravnitel'no-istoričeskoj fonetike pamirskix jazykov* [Recherches sur la phonétique historique et comparative des langues du Pamir], Moskva, Nauka, 1983.
- REICHLER-BEGUELIN 1986: REICHLER-BEGUELIN, M.-J., *Les noms latins du type mēns*, Bruxelles, Latomus, 1986.
- RENOU, E.V.P.: RENOU, L., *Études Védiques et Pâninéennes* I-XVII, Paris, Editions de Boccard, 1955-1969.
- ŠAGIROV 1982: ŠAGIROV, A.K., *Materialnye i struktumye obščnosti leksiki abxazoadygskix jazykov* [Traits communs matériels et structurels du lexique des langues abkhaz-adyghê], Moskva, Nauka, 1982.
- ŠAKRYL/KONDZARIJA : ŠAKRYL, K.S./KONDZARUA, V.S., *Apswa bəzʰa azʰar* [Dictionnaire de la langue abkhaz], I (A-O), Suxumi, Alašara, 1986.
- STARREVELD 1983: STARREVELD, A., Ashkhar texts L, *Studia Caucasica* 5, 1983, pp. 76-97.
- 1985: —, Ashkhar texts IL, *Studia Caucasica* 6, 1985, pp. 82-100.
- WACKERNAGEL/DEBRUNNER: WACKERNAGEL, J./DEBRUNNER, A., *Altindische Grammatik*, 11,2. *Die Nominalsuffixe*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1954.
- ZGUSTA 1955: ZGUSTA, L., *Die Personennamen griechischer Städte der nordlichen Schwarzmeerküste*, Prague, 1955.

Ю. А. ДЗИЦЦОЙТЫ

К ЭТИМОЛОГИИ ТЕОНИМА «КУЫРДАЛАЕГОН»

Значительное место в осетинской мифологии принадлежит образу небесного кузнеца Курдалагона (осет. *Куырдалаегон*). В знаменитом эпосе о героях-нартах (осет. *нарты кадджытæ*) Курдалагон играет столь важную роль, что сегодня невозможно представить себе жизнь нартов без этого мудрого советчика и заботливого покровителя. Знают этот образ и другие жанры осетинского фольклора. Неудивительно, что происхождению теонима *Куырдалаегон* уделили внимание как осетиноведы, так и индоевропеисты. Все исследователи сходятся в том, что в первой части рассматриваемого теонима скрывается осетинское слово *куырд* 'кузнец'. Но что касается происхождения второй части (*-алаегон*), то тут единодушия среди исследователей нет.

Начнем с того, что в рамках современной осетинской морфологии форма *алаегон* разлагается на корень *-алаг-* и суффикс *-он-*. Учитывая одно из значений суффикса *-он-*, сложение *-алагон* можно переводить как «происходящий из рода / фамилии Алаговых». Именно так понимал анализируемый теоним выдающийся французский ученый Ж. Дюмезиль [Дюмезиль 1976: 173; Дюмезиль 1990: 112]. Действительно, согласно большинству сказаний, нарты делились на тр и р а: д Алагатаæ, Ахсæртаггатаæ и Борæтаæ. Анализ теонима *Куырдалаегон* мог бы свидетельствовать о том, что в прошлом небесный кузнец считался представителем рода Алагатаæ. Этот род, согласно теории самого же Ж. Дюмезиля, характеризуется мудростью, а в нартовском обществе занимает то же место, что и брахманы в Древней Индии [Дюмезиль 1976: 11]. Кузнецы же в архаической традиции действительно рассматриваются как мудрецы, как носители неких сакральных знаний. Достаточно вспомнить о русском *блехчий* 'кузнец', возводимом к чагатайскому *bilgüçi* 'знаток, мудрец' [ФАСМЕР, I: 174]. К тому же в картвельской (сванской) версии нартовского эпоса кузнец Деветил считается представителем рода Аликовых, а

сванское «Алик» – это всего лишь искаженное осетинское *Алæг* [ГАГЛОЙТИ 1989: 14; см. также: ГАГЛОЙТИ 1998: 90-91]. Исходя из чисто фонетических соображений этимологию Ж. Дюмезиля принял и Дж. Чёнг [2008: 210].

Казалось бы и лингвистические, и мифологические реалии однозначно свидетельствуют в пользу «народной» этимологии рассматриваемого теонима. Однако против такой интерпретации можно привести ряд возражений. Во-первых, в осетинских сказаниях о нартах кузнец Курдалагон причислен и к роду Борæтæ [ПНТО, II: 42; ИАС, I: 307], и к роду Æхсæртæггатаæ [Н, I: 352; НК, III: 234, 239; НК, V: 423], но ни разу – к роду Алæгатаæ. К тому же квартал «земных» кузнецов, согласно осетинской нартиаде, располагался в селении рода Æхсæртæггатаæ [ПНТО, I: 86]. Во-вторых, в карачаево-балкарской версии нартовского эпоса кузнец Алауган также принадлежит к роду Схуртуковых [НГЭБК: 172, 432]. Матерью Алаугана считается вешая Сатанай [Там же: 455], а отцом – герой Сосрук [Там же: 390]. Карачаево-балкарское «Схуртук» – это искаженное осетинское Æхсæртæг [АБАЕВ 1989: 229], а герои Сатанай и Сосрук принадлежат именно к роду Æхсæртæггатаæ.

Таким образом, родовая принадлежность Курдалагона представляется достаточно неопределенной и вряд ли вообще имеет какую-либо ценность для этимологии названия этого божества.

Но есть еще один важный аргумент, мимо которого нельзя пройти. В. И. Абаев указал в свое время на то, что в дигорской версии нартовского эпоса имя небесного кузнеца встречается как в форме *Курдалагон*, так и – *Курд-Алæ-Уæргон* [ПНТО, II: 10]. В. И. Абаев резонно предположил, что вторая из этих форм является наиболее архаичной, а первая представляет собой ее стяженный вариант. Стяжение произошло через ступень *Курд-Алæугон*, которая также зафиксирована в нартовских текстах [ПНТО, II: 19, 42], см. [АБАЕВ 1949: 593].

Как же быть с этими аргументами? Ж. Дюмезиль попросту исключил форму *Курд-Алæ-Уæргон* из обсуждения, назвав ее «неопределенной» [ДЮМЕЗИЛЬ 1976: 173]. Однако такое решение не может нас удовлетворить. Конечно, нас не может не настораживать факт единичной фиксации формы *Курд-Алæ-Уæргон*, но ведь форма *Алæугон*, которая также противоречит этимологии Ж. Дюмезиля, встречается дважды в осетинской нартиаде, а также в карачаево-балкарской версии нартиады, где сына кузнеца Дебета зовут *Алауган* [НГЭБК: 394-396, 399-435]. На карачаево-балкарской почве встречается также форма *Улауган* [Там же: 360], появившаяся, очевидно, в результате тюркского сингармонизма из формы *Алауган*. Кроме того, в этой же версии нартиады встречается патроним

Алауганлары [Там же: 151], букв. «Алаугановы». Форма *Алауган* || *Алавган* встречается и в картвельской версии нартиады [Дзидзигури 1986: 4, 64, 66, 86].

В свете приведенных данных становится ясно, что этимологии теонима *Куырдалагон* должно предшествовать выяснение вопроса о первичности одной из этих форм. Учитывая, что форма *Алаугон* || *Алауган* является осетинско-карачаево-балкарско-картвельской изоглоссой, а форма *Алагон* – исключительно осетинской, именно последняя форма и должна быть признана инновационной. Об этом же говорит историческая фонетика осетинского языка. В осетинском языке прослеживается выпадение *ў* в позиции перед согласной, тогда как эпентеза *ў* не наблюдается. Следовательно, форма *Алаугон* первична по отношению к форме *Алагон*. А это значит, что ассоциация этой формы с родовым названием *Алагатаэ* возникла вторично, уже после упрощения *Алаугон* > *Алагон*.

Сказанное хотя и опровергает этимологию Ж. Дюмезиля, но не дает ответа на вопрос о происхождении рассматриваемого теонима и в частности на соотношение форм *Алаугон* – *Ала-Уаргон*. Действительно ли первая форма является стяженным вариантом второй? Если исходить из возможностей исторической фонетики осетинского языка, то в таком предположении не окажется ничего необычного.

Осетинский дифтонгоид *æўæ*, восходящий к др.-иран. сочетанию **awa*, оказавшись в конечной позиции слова, обычно стягивается в *o*. Ср. *науаг* > *ног* ‘новый’, *рауад* > *род* ‘теленок’, *цауат* > *цот* ‘потомство’ и т.п. Но в случае, если за дифтонгоидом *æуæ* следует еще один слог, он может подвергнуться синкопе *æуæ* > *æу*. Ср. *науаг* ‘новый’ > *науджытæ* (из **наугытæ*) ‘новые’, *цауаг* ‘идуший’ > *цауджытæ* ‘идушие’ и т.п. Сравните также осетинское название города Владикавказа – *Дзауаджыхъæу*, букв. «селение Дзавага», в современном произношении – *Дзауджыхъæу*.

Таким образом, из формы *Алауаргон* вполне могла получиться синкопированная форма **Алаургон*, которая впоследствии упростилась в *Алаугон* > *Алагон*. Осетинский язык плохо мирится со скоплением трех согласных в одном слове и обычно упрощает трехсогласное сочетание в двусогласное. Ср., например, осет. *уырғ* ‘почка’ из др.-иран. **w(ə)rtka-* [АБАЕВ 1989: 123; ЧЁНГ 2008: 345].

Как видим, фонетическая эволюция от формы *Курд-Ала-Уаргон* к *Куырдалагон* не вызывает сомнений. Что касается этимологии исходной формы *Курд-Ала-Уаргон*, то В. И. Абаев производит ее от др.-иран. сочетания «кузнец аланский (арийский) Варгон», где *Ала* восходит к др.-иран. **arya-* ‘арийский’, а *Уаргон* – к др.-иран. **v(a)rka-* ‘волк’ + суфф. *-ān-*, и

означает «сын волка». Точно так же, по мнению осетинского ученого, имя римского бога-кузнеца *Vulcānus* восходит к незасвидетельствованному латинскому **vulc-* || **volc-* ‘волк’ + суфф. *-ān-* [АБАЕВ 1938: 317 сл.; АБАЕВ 1949: 28, 71, 592-594; АБАЕВ 1958: 610; АБАЕВ 1960: 7-8; АБАЕВ 1965: 28-29, 38, 92-97; АБАЕВ 1989: 93-94].

Специалисты по-разному отреагировали на этимологию В. И. Абаева. Одни безоговорочно ее приняли [ТРУБАЧЕВ 1986: 338; ТРУБАЧЕВ 1998: 508; ГУСАЛОВ 1987: 77; КНОВЛОСН 1991: 37, 63-64; ИВАНОВ 1992: 22; КАЛОЕВ 1992а: 29; ИСАЕВ 2000: 84, 85], а другие, напротив, отвергли [БЕНВЕНИСТ 1965: 139; DUMEZIL 1986: 74-76]. Третья группа ученых попыталась выработать альтернативные этимологии, имеющие, как нам кажется, один общий изъян – недостаточно строгий учет исторической фонетики осетинского языка. Но прежде чем вернуться к этимологии В. И. Абаева, попытаемся хотя бы вкратце остановиться на альтернативных этимологиях.

Б. А. Алборов возводил теоним *Куырдалаггон* к сочетанию *курд* + *har* + *æг* + *он*, что в переводе, по мнению данного исследователя, должно означать «кузнец горный» [АЛБОРОВ 1968: 145]. Несостоятельность данной этимологии очевидна: «гора» в древнеиранском языке-основе – **gari*, а не *har*. Из этимона **gari* же в осетинском языке ожидали бы рефлекс **хъæл* || **гъæл*, но не *алаæ*.

Следующая по времени этимология принадлежит Г. В. Бейли, возводящему компонент *Алаæ* к др.-иран. **āθra-* ‘огонь’, т. е. к названию наиболее важной стихии в ремесле кузнеца. При этом связь с антропонимом *Алагатаæ* английский иранист считает сомнительной, а для формы *Уаргон* не исключает другое происхождение [BAILEY 1980: 254]. В ряде иранских языков сочетание *rt* (*rd*) действительно переходит в *l*, но осетинский язык не относится к их числу, поэтому этимологию Г. В. Бейли следует признать неудачной.

Совершенно другую этимологию предложил французский славист Ф. Корнильо. Исходя из гипотетического древнеосетинского **Wāragan*, тождественного общеиранскому названию демона «Вэрэтрагна», Ф. Корнильо предложил для *Курд Алаæ Уаргон* этимон **Hukrt Arija Wāragan*, что в переводе должно означать нечто вроде «Благодетельный арийский сын дракона» [CORNILLOT 1994: 176 ff.; CORNILLOT 2008: 165]. Но из формы **Wāragan* в современном осетинском языке следовало ожидать рефлекс **Уарæгæн*. Этимология Ф. Корнильо предполагает, во-первых, неоправданную в данной ситуации синкопу срединной гласной, а во-вторых, метатезу долгой и краткой гласной. Все это крайне сомнительно. Реконструкция *krt-* для осетинского *куырд* «кузнец» также неоправданна, т. к. остается необъясненным умлаут в осетинском слове.

Сказанное позволяет нам вернуться к этимологии В. И. Абаева как самой надежной. Отметим, что существует еще одна, четвертая, группа исследователей, которая пыталась усовершенствовать отдельные ее стороны.

Так, известный индоевропеист В. Мейд, не возражая против сопоставления осетинского *Уæргон* с латинским *Volcānus*, высказал сомнения в наличии в их основе индоевропейского слова *wl-q^w-o-s* ‘волк’. По мнению этого ученого, праиндоевропейский этимон обоих названий небесного кузнеца может быть связан с древнеиндийским *ulkā́* ‘зарев; огненное сияние’ [MEID 1961: 125-131].

Как и в случае с этимологией В. И. Абаева, одни ученые приняли интерпретацию В. Мейда [PUHVEL 1987: 150]¹, а другие ее отвергли [BAILEY 1980: 254]. Немецкий индоевропеист И. Кноблох же попытался примирить этимологию В. И. Абаева с этимологией В. Мейда.

По мнению И. Кноблоха, как древнеиндийское *ulkā́* (< и.-е. **wl-q^w-ā*) ‘огненная стихия’, так и и.-е. **wl-q^w-o-s* ‘волк’ могут означать «рвущая; рвущий» и принадлежать к тому же корню, что и литовское *val-gù-s* ‘прожорливый’, *válgyti* ‘есть’, «с другим гуттуральным расширителем»². *Volcanus* и *Уæргон* предполагают и.-е. этимон **wlq^w-āno-s*, где носовой элемент соответствует известному индоевропейскому носовому аффиксу для названий владельцев (ср. лат. *dominus*: *domus*) или повелителей (ср. лат. *Neptunus*: **neptus* ‘влажная стихия’) и богов-покровителей (ср. лат. *Fortuna* ‘богиня рождения’, позднее ‘богиня счастья’: готское *ga-baurps* ‘рождение’). К и.-е. **wlq^w-āno-s* восходит и название скандинавского божества *Loki*, который, таким образом, тождествен с латинским *Volcanus* и осетинским *Уæргон* и в то же время является отцом волка Фенриса [КНОБЛОХ 1974: 136-137].

Убедительные аргументы в поддержку этимологии В. И. Абаева и в частности связи «волк» – «кузнец» привел Вяч. Вс. Иванов. Российский индоевропеист указал на то, что, согласно древнегерманской традиции, кузнецы ставили на мече знак волка. С другой стороны, в древнеисландской традиции мечи называли *vargr* или *ulfr*, что означает ‘волк’. Кроме того, в немецкой традиции куски железного шлака назывались «волками» [ИВАНОВ 1977: 157].

¹ Очевидно, к числу этих ученых следует отнести и А. Р. Чочиева, для которого в имени *Куырдалагон* заключено значение «разгорающегося огня» [ЧОЧИЕВ 1985: 204]. Ср. [Там же: 210].

² Ср.: «...первичное индоевропейское значение ‘волка’ – это, следовательно, ‘раздирающее (добычу) животное’, ‘зверь-убийца’» [ГАМКРЕЛИДЗЕ, ИВАНОВ 1984, II: 492].

Таким образом, связь осетинского кузнеца *Уæргон* с волком не вызывает никаких сомнений. Осетинский материал, не привлеченный В. И. Абаевым, убедительно свидетельствует в пользу родства небесного кузнеца Курдалагона как со стихией огня, так и с волком. Образ 'обожевленного кузнеца' – бога огня и кузнечного дела прослеживается и в общеиндоевропейской традиции [ГАМКРЕЛИДЗЕ, ИВАНОВ 1984, II: 715]. Рассмотрим связь Курдалагона с огнем и волком. Начнем с очевидной связи «кузнец» – «огонь».

Богом огня и домашнего очага в осетинской мифологии является Сафа [ППК, III: 129 прим.; АЛБОРОВ 1979: 117]. Как справедливо отметил В. И. Абаев, «в некоторых сказаниях и обрядах он (Сафа – Ю. Д.) выступает как бог-кузнец и как бы дублирует Курдалагона» [АБАЕВ 1979: 9]. К такому же приблизительно выводу пришли и осетинские этнографы [КАЛОЕВ 1971: 104; ЧОЧИЕВ 1985: 201].

Действительно, в некоторых фольклорных текстах Сафа прямо назван «искусным небесным кузнецом» [ПНТО, I: 9], «небесным кузнецом» [ССКГ, V: 18] и *дæсны куырд* 'искусным кузнецом' [Н: 298]. У Сафы своя кузница (Сафайы куырдадз) [Брытъиаты, II: 233] и соответственно двенадцать кузнечных мехов (дыууадæс куынцы) [ХИФ: 157]. Любопытно отметить, что у Сафа еще и эпитет *милгуыбын* [ИАС, 1:31], т. е. «(тот, у кого) живот вымазан в саже».

Согласно большинству фольклорных текстов, Курдалагон накладывает медные заплаты на разбитые головы героев [НК, II: 146; ИАА, II: 354], но эту же миссию иногда выполняет Сафа [ИАС, I: 320]. В большинстве нартовских текстов Курдалагон кует чудесные стрелы для героев, но в одном тексте эту роль выполняет «небесный Сафа» (*уæларвы Сафа*) [Н, I: 384]. В одном и том же нартовском тексте герой Тæпсыхъо назван то сыном небесного кузнеца Курдалагона [НК, I: 152], то сыном Сафа [Там же: 153].

Существуют тексты, в которых Сафа и Курдалагон отождествляются. Так, в одном из нартовских текстов читаем: *Уæдта'й равардта уæларв Курдалагонмæ, Сафамæ исæрунмæ* «И уложил его для закалки у небесного кузнеца Курдалагона, (у) Сафы» [НК, II: 16]. Комментируя данный пассаж, собиратель сказаний Г. Дзагуров пишет со ссылкой на сказителей: «По представлению Сабæ и Баззе — Сафа и Курдалагон — одно лицо» [Там же].

В одном сказании небесный кузнец носит двойное название – *Сафа-Куырдалагон* [Арх: 17], а в другом – *Куырдалагон-Сафа* [Арх: 25]. По другим сведениям «Курдалагон – первый из осетин ученик Сафа, <...> который научил его кузнечеству» [ППК, III: 129]. Говорят также, что Кур-

далагон «раньше был нарт и поднялся до божества благодаря своему искусству в кузнечном деле» [КЪУБАЛТЫ 1978: 174].

Таким образом, Сафа является двойником Курдалагона, однако теоним *Куырдалагон* чаще встречается в языке осетинского эпоса, а теоним Сафа – в обрядовой практике осетин. Следовательно, Курдалагон, как и Сафа, мыслился не только кузнецом, но и богом огня.

Не меньше интереса представляет связь Курдалагона (и вообще кузнеца) с волком. В. И. Абаев в цитированных выше работах приводит такой любопытный факт. Курдалагон закаливает героев либо в огне своей кузницы, либо в волчьем молоке. К этому следует добавить мифологические сведения, сохранившиеся у основоположника осетинской драматургии Бырытъяаты Елбыздыхъо (1881-1923)¹.

Покровителем волков в осетинской мифологии является божество Тутыр [Миллер 1881: 127; Миллер 1882: 243; АБАЕВ 1979: 322-323; КАЛОЕВ 1971: 248; КАЛОЕВ 1992b: 534]. В известных нам фольклорных текстах Тутыр не обнаруживает связей с кузнечным ремеслом. Но в одном из произведений Е. Бырытъяаты у Тутыра – своя кузница, носящая название *Тутыры куырдадз*. Этой кузницей пользовались драконы (*кафхъуындартæ*) для пополнения своего «штата» охранников. Поймав простых людей (*хуымаэтæджы адам*), драконы помещали их в кузницу Тутыра и, сильно накалив, бросали в море, после чего люди превращались в железномордых волков [БРЫТЪЯАТЫ, II: 46].

Цитированный текст позволяет высказать предположение, что в ходе эволюции образа кузнеца-волка на осетинской почве функция благого кузнеца отошла к Курдалагону, тогда как Тутыр принял на себя функцию кузнеца-демона, действующего во вред людям. Именно по этой причине образ кузнеца-волка со временем и мог быть предан забвению.

Показательно также, что в недавнем прошлом на третий день Великого поста, в среду, в день Тутыра, осетинские кузнецы «раскаляли самые мелкие прутики железа и потом, когда они остывали, кусочки из них зашивали в ладанки вместе с шелковым лоскутом, ватой и воробьиным пометом. Эти ладанки-амулеты носились детьми на шее» [АЛБОРОВ 1979: 116, 117].

В осетинской обрядности сохранилась еще одна показательная деталь, подтверждающая причастие Тутыра к ремеслу кузнецов. Тутыр, как и Курдалагон, обнаруживает особую связь с огнем. Из этнографической литературы известно, что в дни празднования Тутыра «нашивают у всех

¹ В одной из своих работ мы пытались показать ценность мифологических сведений, содержащихся в произведениях данного автора, см. [DZITTSOITY 2002: 91-92].

детей на правом плече едва приметный крестик» [ППК, I: 78]. Согласно одному фольклорному тексту, особые знаки, нашиваемые на тыльной стороне шеи мальчика, называются *Тутыры конд артытае* [ИАС, I: 390], т. е. «огни, нанесенные (букв, сделанные) в (дни) Тутыра».

Таким образом, Тутыр имеет связь как с волком, так и с кузнечным ремеслом и огнем.

Однако дело этим не ограничивается. Неожиданное подтверждение связи «волк» – «кузнец» обнаружено нами в украинской народной сказке «Волк и святой Юрий» [УНС: 232-235]. Содержание сказки вкратце таково.

Однажды святой Юрий – покровитель волков и животных – собрал своих подопечных и попросил рассказать о делах, совершенных ими в течение дня. Каждый из них поведал о своих «подвигах». Когда очередь рассказывать дошла до волка, то он сообщил хозяину о том, как стащил хлеб у нищего мужика. Это сильно расстроило святого Юрия, и он решил наказать волка – в течение трех лет волку предстояло прислуживать мужику. Волк обернулся добрым молодцем и пошел на службу к мужику. Где-то в поле он нашел три ржавых гвоздя и выковал из них три ножа. Жена мужика продала ножи и купила хлеба и кусок железа. Парень-волк выковал из железа еще больше ножей, на которые жена мужика купила для него еще больше железа. Тогда парень-волк построил кузницу и стал ковать сельскохозяйственные инструменты. Вскоре волк-кузнец достиг такого уровня мастерства, что стал перековывать в своей кузнице стариков в молодых людей. А затем обучил своему ремеслу мужика, но не научил, как перековывать стариков в молодых. Мужик разбогател. А к тому времени вышел срок службы у парня-кузнеца. Перед тем, как вернуться к прежней жизни, парень-волк наказал мужику никогда не браться за перековывание стариков. Но мужик не удержался и взялся перековать старого отца своего пана в молодого мужчину. Естественно, мужик не справился с этой работой – старый пан заживо сгорел в кузнице. Мужика осудили на смерть через повешение. Узнав об этом, парень-волк спас мужика.

Волк-кузнец украинской сказки приходится родным братом Вулкану, Варгону и Локи. Украинский материал ставит окончательную точку в вопросе о происхождении как латинского, так и осетинского теонима.

Возникает вопрос. Почему образ осетинского волка-кузнеца стоит изолированно на иранской почве? Ответ на данный вопрос содержится в цитированных работах В. И. Абаева – речь должна идти о скифо-европейской изоглоссе.

Показательно, что изоглосса, связывающая современную Осетию с Европой, охватывает и территорию Украины. Такой же изоглоссой явля-

ется осет. *уа́йыг* ‘великан’ – украинское *Вий*, дальнейшие связи которой ведут, с одной стороны, к балтийской мифологии, а с другой – к итальянской [АБАЕВ 1995: 390-393, 433]. Эти наблюдения, недавно убедительно подтвержденные в исследовании [ВАСИЛЬКОВ, РАЗАУСКАС 2003], вместе с отмеченной нами украинско-осетинско-латинской изоглоссой могут указывать на территорию современной Украины как на один из возможных очагов возникновения скифо-европейских изоглосс.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Абаев 1938 – *Абаев В. И.* Опыт сравнительного анализа легенд о происхождении нартов и римлян // Памяти академика Н. Я. Марра. М.; Л.

Абаев 1949 – *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР.

Абаев 1958 – *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л.: «Наука».

Абаев 1960 – *Абаев В. И.* Дохристианская религия алан // Труды XXV Международного конгресса востоковедов. М.

Абаев 1965 – *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. М.: «Наука».

Абаев 1979 – *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. III. Л.: «Наука».

Абаев 1989 – *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. IV. Л.: «Наука».

Абаев 1995 – *Абаев В. И.* Избранные труды. Т. II. Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ: «Ир».

Алборов 1968 – *Алборов Б. А.* Легендарное колесо нартских сказаний // Известия СОНИИ. Языкознание. Вып. XXVII. Орджоникидзе.

Алборов 1979 – *Алборов Б. А.* Некоторые вопросы осетинской филологии. Орджоникидзе: «Ир».

Арх. – *Архив* Северо-осетинского Института гуманитарных и социальных исследований. Фонд «Фольклор». Оп. 1, д. 350.

Бенвенист 1965 – *Бенвенист Э.* Очерки по осетинскому языку / Пер. с франц. К. Гагкаева. М.

Брытѣаты (II) – *Брытѣаты Е.* Уацмыстæ. Т. II. Орджоникидзе: «Ир», 1982.

Васильков, Разаускас 2003 – *Васильков Я. В., Разаускас Д.* Балтийский ключ к проблеме Вия-Вайю // *Scripta Gregoriana*: Сборник в честь семидесятилетия академика Г. М. Бонгард-Левина. М.: Вост. лит.

Гаглойти 1989 – *Гаглойти Ю. С.* Трехфункциональное деление в этнической культуре осетин // Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе.

Гаглойти 1998 – *Гаглойти Ю. С.* О происхождении фамильного имени Алагата // *Studia Iranica et Alanica. Festschrift for Prof. Vasilij Ivanovič Abaev on the Occasion of His 95th Birthday.* Rome. P. 85-103.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 – *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. II. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета.

Гусалов 1987 – *Гусалов В. М.* Вербальное табуирование в осетинском // *Проблемы осетинского языкознания.* Вып. 2. Орджоникидзе. С. 64-82.

Дзидзигури 1986 – *Дзидзигури Ш. Б.* Грузинские варианты нартовского эпоса. Тбилиси.

Дюмезиль 1976 – *Дюмезиль Ж.* Осетинский эпос и мифология / Пер. с франц. А. З. Алмазовой. М.: «Наука».

Дюмезиль 1990 – *Дюмезиль Ж.* Скифы и нарты / Сокр. пер. с франц. А. З. Алмазовой. М.: «Наука».

ИАА (II) – *Ирон адæмон аргъæуттæ.* Т. II. Сталинир, 1960.

ИАС (1) – *Ирон адæмы сфæлдыстад.* Дзæуджыхъæу. Т. I (1961).

Иванов 1977 – *Иванов В. В.* К балкано-балто-славяно-кавказским параллелям // *Балканский лингвистический сборник.* М.

Иванов 1992 – *Иванов В. В.* Кузнец // *Мифы народов мира. Энциклопедия.* Т. II. М.: «Советская энциклопедия». С. 21-22.

Исаев 2000 – *Исаев М. И. Василий Иванович Абаев.* М.: «Наука».

Калоев 1971 – *Калоев Б. А.* Осетины. Историко-этнографическое исследование. М.: «Наука».

Калоев 1992а – *Калоев Б. А.* Курдалагон // *Мифы народов мира. Энциклопедия.* Т. II. М.: «Советская энциклопедия».

Калоев 1992б – *Калоев Б. А.* Тутыр // *Мифы народов мира. Энциклопедия.* Т. II. М.: «Советская энциклопедия».

Кноблех 1974 – *Кноблех И.* Kurd-Alægön и Volcānus // «*Этимология-1972*». М.: «Наука», 1974. С. 136-137 (Пер. с нем.).

Къубалты 1978 – *Къубалты А.* Уацмыстæ. Орджоникидзе: «Ир».

Миллер 1881 – *Миллер В. Ф.* Осетинские этюды. Т. I. М.

Миллер 1882 – *Миллер В. Ф.* Осетинские этюды. Т. II. М.

Н – *Нартæ.* Цхинвал, 1975.

Н (I) – *Нарты.* Осетинский героический эпос. Кн. 1. М.: «Наука», 1990 (На осет. и русск. яз.).

НГЭБК – *Нарты.* Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М.: «Наука», 1994 (На балк., карач. и русск. яз.).

НК (I, II, III, V) – *Нарты кадджытæ.* Ирон адæмы эпос. Дзæуджыхъæу: «Ирыстон». Т. I (2003), Т. II (2004), Т. III (2005), Т. V (2010).

ПНТО (I, II) – *Памятники народного творчества осетин*. Владикавказ. Т. I (1925), Т. II (1927).

ППК (I, III) – *Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах*. Цхинвал: «Ирыстон». Т. I (1981), Т. III (1987).

ССКГ (V) – *Сборник сведений о кавказских горцах*. Вып. V. Тифлис, 1871.

Трубачёв 1986 – *Трубачёв О. Н.* (Дополнения к кн.) Фасмер, I.

Трубачёв 1998 – *Трубачёв О. Н.* Василий Иванович Абаев и этимология // *Studia Iranica et Alanica*. Rome. P. 499-510.

УНС – *Украинские народные сказки* / Пер. с укр. М., 1965.

Фасмер, I – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. Т. I. М.: «Прогресс», 1986.

ХИФ – *Хуссар Ирыстоны фольклор*. Сталинир, 1936.

Чёнг 2008 – *Чёнг Дж.* Очерки исторического развития осетинского вокализма / Пер. с англ. Т. К. Салбиева. Владикавказ – Цхинвал.

Чочиев 1985 – *Чочиев А. Р.* Очерки истории социальной культуры осетин. Цхинвал: «Ирыстон».

Bailey 1980 – *Bailey H. W.* Ossetic (Narta) // *Traditions of Heroic and Epic Poetry*. London.

Cornillot 1994 – *Cornillot F.* L'aube scythique du monde slave // *Slovo. Revue du CERES*, № 14.

Cornillot 2008 – *Cornillot F.* Le Testament du Roi Rasparagan: du Feu des Slaves au Nom des Roxolans // *Nartamongæ*. Vol. V, № 1-2.

Dumézil 1986 – *Dumézil G.* Fêtes romaines d'été et d'automne. Gallimard.

Dzittoity 2002 – *Dzittoity Yu.* Ossetic *fydaz* and OPrs. *dužiyāra-* // *Nartamongas*. Vol. I, № 1.

Knobloch 1991 – *Knobloch Johann.* Homerische Helden und christliche Heilige in der kaukasischen Narteneplik. Heidelberg.

Meid 1961 – *Meid W.* Lat. *Volcānus* – osset. *Wærgon* // *Indogermanische Forschungen*. LXVI, Hft 2. Strassburg, Berlin, Leipzig. S. 125-131.

Puhvel 1987 – *Puhvel J.* *Comparative Mythology*. Baltimore; London.

В. А. КУЗНЕЦОВ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДОЛЬМЕНООБРАЗНЫЕ СКЛЕПЫ ВЕРХНЕГО ПРИКУБАНЬЯ¹

*(Краткие сообщения Института археологии.
Академия наук СССР. Вып. 85. 1961 г.)*

На территории Верхнего Прикубанья сохранились остатки интересных памятников эпохи средневековья, до сих пор почти не изученных. Это монументальные дольменообразные наземные склепы, нередко украшенные различными изображениями или орнаментом.

Большая часть известных нам дольменообразных склепов находится на вершине невысокого водораздельного кряжа, отделяющего долину р. Кяфар от балки р. Кривой, в 16–17 км южнее станицы Сторожевой. Расположенный здесь обширный могильник состоит из склепов и наземных каменных гробниц VIII–XII вв. Могильник обследовался археологической экспедицией Пятигорского педагогического института в 1952 и 1953 гг.², а в 1954–1957 гг. неоднократно осматривался автором. Всего обследовано 11 дольменообразных склепов. Среди них особенно выделяется массивный склеп, покрытый рельефными изображениями. Этот выдающийся по величине и многообразию изображений памятник привлек к себе внимание еще в XIX в.³, но тогда опубликованы были лишь две его плиты⁴.

Склеп (№ 1) ныне сильно разрушен – плиты стен лежат на земле, крыша не сохранилась, камера завалена камнями и землей. Однако в результате предпринятых расчисток оказалось, что основные части склепа уцелели и дают возможность представить более или менее полно его конструкцию и первоначальный вид.

Устройство склепа рисуется в следующем виде. На плоской площадке на восточном склоне кряжа был вырыт котлован, забутованный битым камнем на всю его глубину, достигающую до 0,8 м. Сверху, вдоль направления стен, положены толстые постельные плиты, плотно пригнанные одна к другой, образующие в плане четырёхугольник. Эти плиты должны были равномерно распределять нагрузку по площади фундамен-

та. Сверху на них были уложены массивные тесаные плиты, образующие цоколь. Они уже постельных и ставились так, чтобы внутренние края тех и других совпадали и создавали стенку, а внешние края образовывали ступеньки. Часть такой ступеньки прослежена с южной стороны; ширина ее—15 см. В кавказских «корочках» А. А. Спицына хранится рисунок передней стены исследованного нами склепа, где ясно видна образованная выступающим цоколем ступенька⁵.

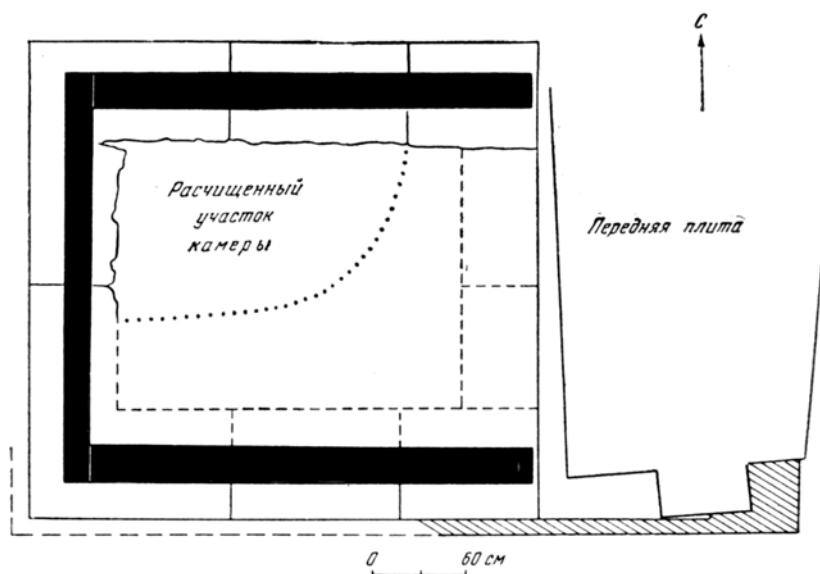


Рис. 1. Дольменообразный склеп № 1. План.

Конструкция стен, возведенных на этом фундаменте, несложна. Три стены — северная, южная и западная — составлены из тесаных песчаниковых плит, причем северная и южная — из трех, а западная стена — из двух плит (рис. 1). Толщина их различна — от 16 до 26 см. Нижние плиты всех трех стен были поставлены торцом на цоколь, но так, чтобы с внутренней стороны остался карниз шириной до 20–25 см. Нижние плиты боковых стен концами упирались в нижнюю плиту задней стены и входили в пазы передней плиты; средние, одним концом упиравшиеся в плечи передней плиты, другим концом входили в паз, образованный вырезами в задней стене. Верхние плиты, подобно нижним, упирались в заднюю стену и входили в верхний паз передней плиты, особенно массивной. Она сделана из огромного куска песчаника толщиной 0,26 м и весит не менее 2 тонн. С двух сторон ее вырублены симметрично выступающие плечи размером

0,55x0,3 м. В целом получалась оригинальная система двойного связывания плит, составлявших склеп. Эта связь осуществлялась при помощи пазов в задней стене и плеч передней, причем они взаимно дополняли друг друга. Никакой иной связи плит не было. Очевидно, для увеличения прочности склеп сверху слегка суживался.

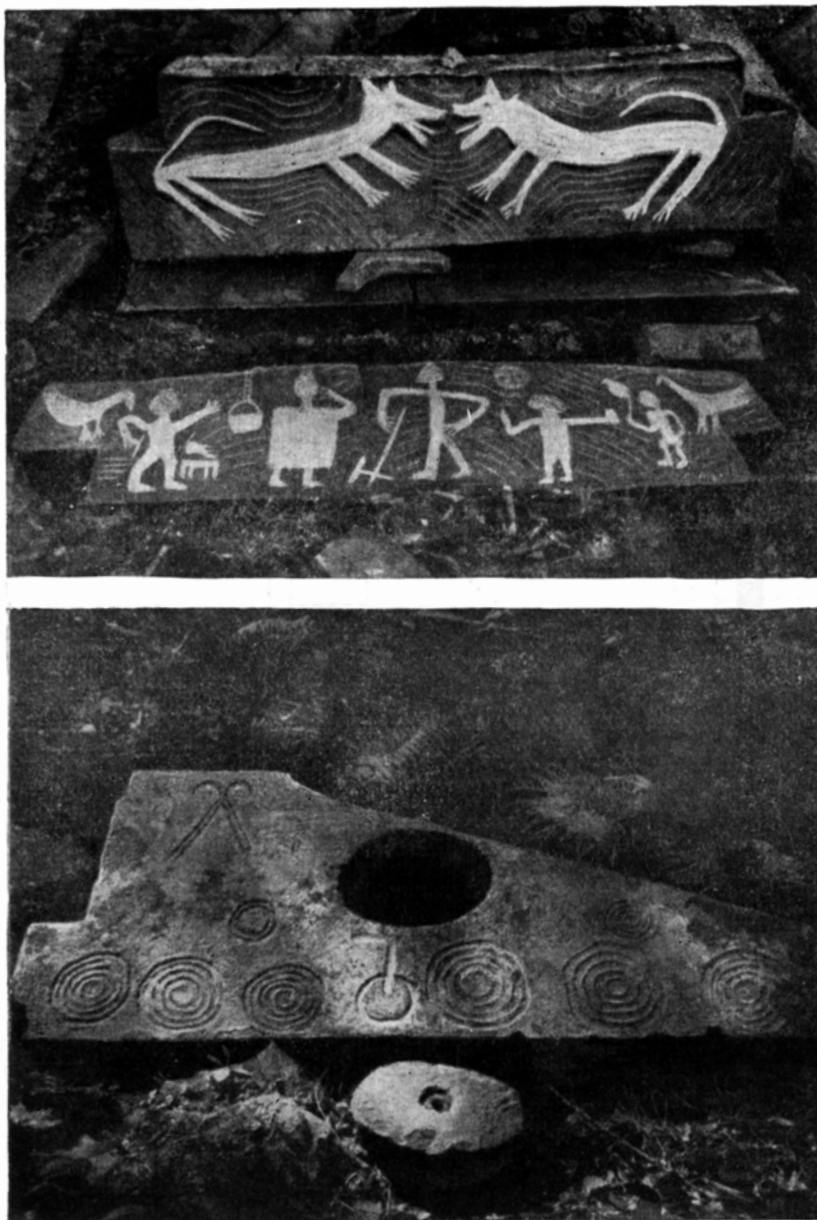
В передней плите, на расстоянии 0,8 м от нижнего края, сделано круглое отверстие диаметром 0,48 м. Среди камней, лежавших вокруг, найдена втулка, точно соответствующая отверстию. Внутренняя ее часть плоская, внешняя – слегка выпуклая. Толщина втулки – 15 см. Интересно, что крыша склепа была двускатной, о чем свидетельствуют слегка сходящие на конус передняя плита и верхняя плита задней стены (рис. 2–1). Крыша, по-видимому, состояла из двух цельных плит во всю длину склепа; никаких приспособлений для ее крепления на стенах не сохранилось. Более определенно можно представить устройство пола. Как отмечалось выше, в камере оставался карниз шириной до 20–25 см. Он служил опорой для пола, выложенного из каменных плит, плотно пригнанных одна к другой и, вероятно лежавших по ширине склепа.

Расчисткой 1956 г. установлено, что постельные и цокольные плиты с восточной стороны выступают далеко вперед, образуя у передней стены нечто вроде площадки, длиной до 1,8 м; ширина осталась неопределенной, так как почти вся площадка занята рухнувшей передней стеной.

Такова конструкция дольменообразного склепа № 1 (рис. 3–1). Длина его составляет 3,05 м, ширина – 2,7 м, высота – 1,85–1,9 м. Размеры камеры: длина – 2,65 м, ширина – 2,2 м. Все плиты, составлявшие стены, покрыты рельефными изображениями людей, животных, птиц, несомненно, составлявшими какие-то сюжетные сцены. Изображения почти все плоские; стремление к объемной передаче фигур чувствуется лишь на передней плите, отделанной наиболее тщательно (рис. 3–2).

По богатству и разнообразию изображений склеп № 1 можно считать уникальным. Интерпретация этих интереснейших изображений требует специального исследования. Сейчас можно лишь отметить, что на нижней плите северной стены мы видим военную сцену (рис. 4–3), на верхней плита южной стены – пиршество и танец и т. д. (рис. 4–4). Рельефы передней плиты наводят на мысль о символическом значении ее изображений. Воин с секирой и собака охраняют вход, а две фигуры по бокам, возможно, олицетворяют скорбь по усопшим. Значение апотропея могут иметь и 3 креста, высеченные вокруг отверстия (рис. 3–2).

Всего христианских крестов – семь; они есть на каждой стене. Сочетание креста с языческими изображениями свидетельствует о синкретизме религиозных представлений людей, соорудивших склеп.



*Рис. 2. Плиты из дольменообразных склепов.
1 – плиты задней стены склепа № 1; 2 – передняя плита одного
из разрушенных склепов и втулка от нее.*

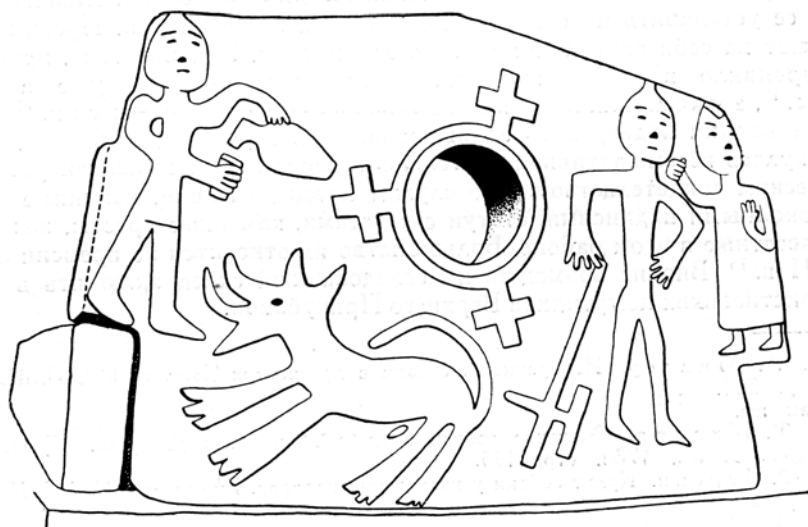
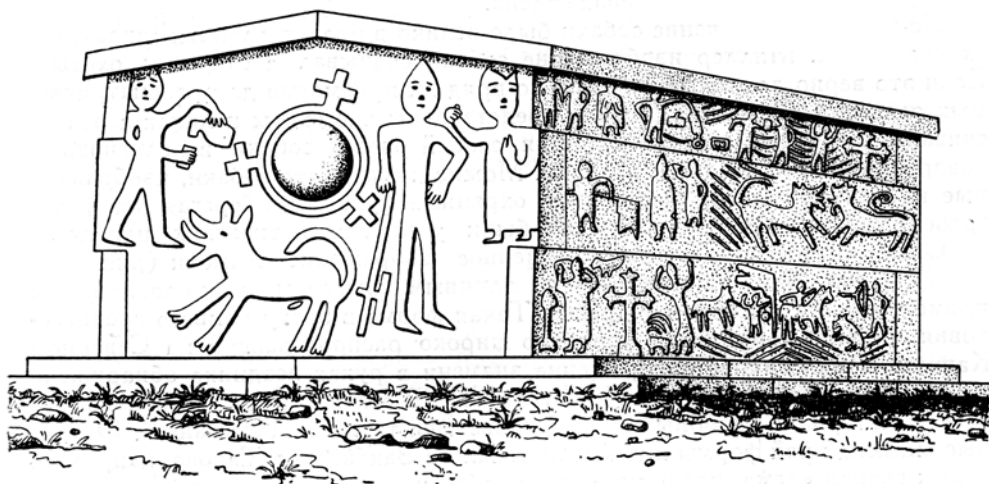


Рис. 3. Реконструкция дольменообразного склепа № 1 (1) и передняя плита (2) этого склепа (по МАК, вып. IX; прорисовка).

Следует обратить внимание на изображения собак (рис. 2–1). Их пять, причем все они трактованы одинаково: вытянутые вперед ноги, открытые лающие пасти с длинными языками, торчащие уши и завернутые вверх хвосты. Эта трактовка на Северном Кавказе традиционна и известна еще в эпоху Кобани⁶. Изображения собак на стенах склепа свидетель-

ствуют о глубокой местной кавказской основе, с которой связаны изображения и на кобанской бронзе, и на стенах склепа.

По-видимому, значение собаки было велико в представлениях создателей склепа. А. А. Миллер изображение собаки связывал с сюжетом охоты⁷. Если это верно для эпохи Кобани, то вряд ли приемлемо для рассматриваемых рельефов. Здесь все 5 собак представлены вне охоты и никак с ней не связаны. Вероятно, это объясняется особой ролью собаки в религиозных воззрениях более позднего времени. Можно думать, что собаки, изображенные на плитах склепа, выполняют охранные функции, оберегая покой погребенных⁸. Такие представления были у многих кавказских народов⁹.

Очень интересно дважды помещенное изображение знамени (рис. 4–2, 3). Оба они одинаковы – с длинным вырезом в полотнище и прямоугольным выступом у древка. Такая форма в эпоху раннего средневековья, по-видимому, была довольно широко распространена на Северном Кавказе. Аналогичное изображение знамени в руках всадника обнаружено на скалах у селения Капчугай в Дагестане¹⁰. В северокавказском этнографическом материале подобные знамена известны также в Дагестане¹¹. Фигурные знамена иной формы недавно бытовали в Закавказье. Таково, например, знамя сванов «лем», представляющее собой полулю фигуру льва¹².

Расчистка камеры склепа не дала никаких археологических материалов, которые могли бы быть использованы для датировки. Можно попытаться ее установить на основании описанных изображений. Прежде всего обращают на себя внимание христианские кресты. Как известно, христианство проникло в центральную часть Северного Кавказа уже в VII–VIII вв.¹³, а у адыгских племен оно появилось еще раньше – с VI в.¹⁴ В X в. христианизации подверглись аланы, жившие в верховьях Кубани¹⁵. Здесь развернулась весьма активная деятельность византийских миссионеров, археологическим свидетельством чего служат храмы, часовни, каменные плиты с заупокойными надписями, статуи с крестами, каменные кресты, во множестве известные в этом районе. Большинство их относится ко времени с X в. по XIII в.¹⁶ Вполне возможно и исследованный склеп включить в число этих христианских памятников Верхнего Прикубанья.

Рельефные изображения склепа находят аналогии в некоторых каменных надгробиях эпохи средневековья. Назовем статую Дука-бек, происходящую из Пятигорья. На ее лицевой стороне – рельефные фигуры двух всадников, а выше – людей, черпающих из большого сосуда. Другие стороны покрыты изображениями животных, людей, стреляющих из лука, а на левой стороне статуи представлена сцена борьбы с чудовищем¹⁷. Сходны не только технико-стилистические приемы, но и сюжеты изо-

бражений. Оба памятника – дольменообразный склеп и статуя Дука-бек – принадлежат кавказским племенам, отражают сходные религиозно-мифические представления и относятся, очевидно, к одному времени.

Вопрос о дате Дука-бека вызвал различные мнения. Сохранившуюся в его надписи дату Попадопуло-Керамевс читал как 1623 г.¹⁸ Другое толкование даты – 1130 г. – было дано В. В. Латышевым¹⁹. Эту дату поддержал В. Ф. Миллер²⁰; к XI–XII вв. относил Дука-бека И. А. Бартоломей²¹, ко времени не ранее XII в. – Г. Д. Филимонов²²; XII в. принимает и Л. И. Лавров²³.

Таким образом, большинство исследователей датирует памятник XII в. или временем, близким XII в.

Следует, однако, отметить, что надгробные памятники с близкими по характеру рельефами на Северном Кавказе известны и позже – вплоть до XVI в.²⁴ Но относить дольменообразный склеп № 1 к такому позднему времени нет оснований. В этом лишний раз убеждают предметы, изображенные на плитах склепа. Среди них наиболее четко представлены лук, меч, щит, 4 секиры, котел на цепи и 3 кувшина с носиками. Все секиры – одного типа, Т-образные (рис. 3–2; рис. 4–5, б); на Северном Кавказе они известны пока в небольшом числе, их хронология и типология не разработаны. Из центральных районов Северного Кавказа я знаю лишь две сходные секиры – из могильников Камунты²⁵ и Чми²⁶. Три Т-образные секиры происходят из верховьев Кубани²⁷. В станице Зеленчукской и в ущелье р. Теберда найдены две каменные статуи воинов, на поясе которых висят такие же секиры²⁸.

Датировка этих статуй не установлена. Более определенные указания мы находим у Т. М. Минаевой. Одна из опубликованных ею секир происходит из Усть-Тебердинского могильника IX–X вв., другая – из могил VIII–IX вв. на Амгате²⁹. Формы последней еще слабо развиты (как и у секиры из Камунты). П. С. Уварова относит погребения, из которых происходят верхнекубанские секиры, к первым столетиям II тысячелетия н. э.³⁰ В странах Юго-Восточной Европы Т-образные секиры встречаются в комплексах IX в.³¹ и позже³².

По свидетельству П. С. Уваровой, секиры описанного типа находили вместе с высокими кувшинами с «губообразным носиком»³³. Речь идет о том же типе кувшинов, которые изображены на рельефах склепа (рис. 32–2; рис. 4–4). Аналогичные сосуды хорошо известны в верховьях Кубани³⁴, в Кабарде³⁵ и Осетии³⁶. Это довольно поздний тип высокого, обычно серого кувшина с высоким горлом, носиком-сливом и одной ручкой. Такие кувшины в большом количестве найдены во время последних раскопок Змейского катакомбного могильника, хорошо датирующегося XI–XII вв.³⁷

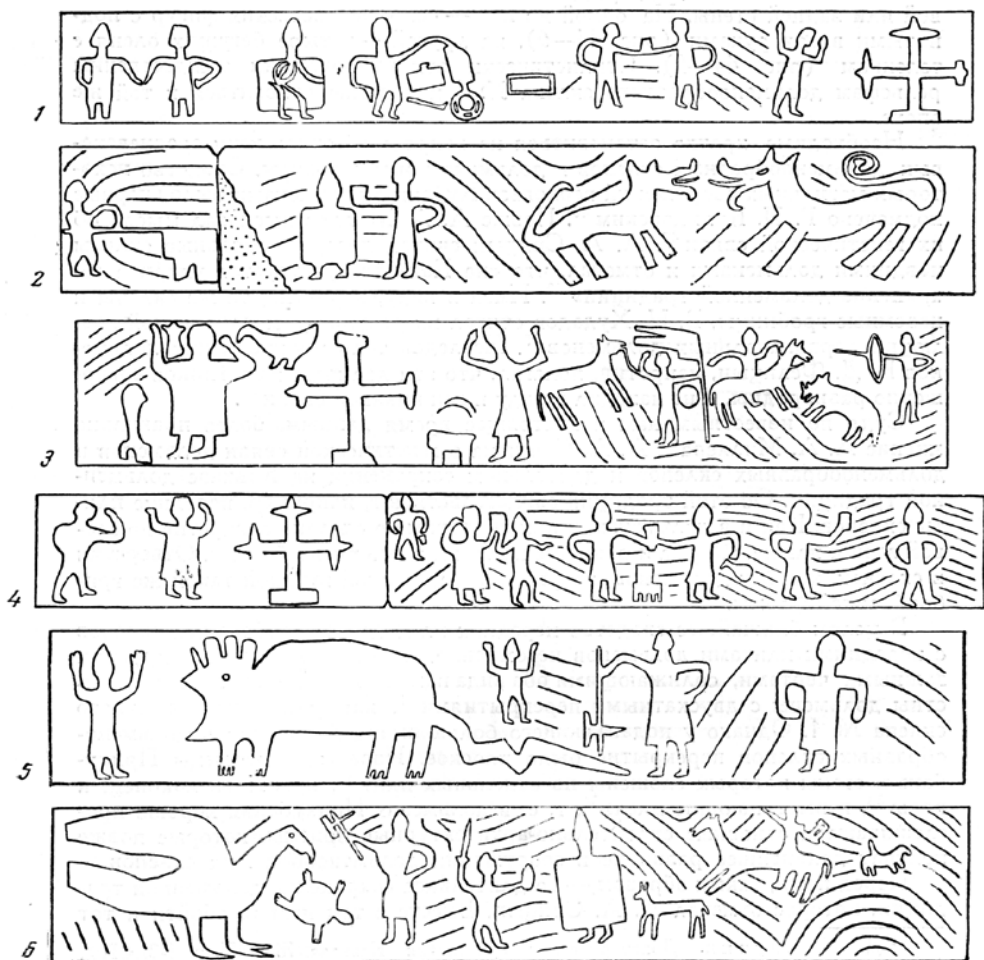


Рис. 4. Дольменообразный склеп № 1, прорисовка изображений на плитах.

1 – верхняя плита; 2 – средняя плита; 3 – нижняя плита (северная стена);

4 – верхняя плита; 5 – средняя плита; 6 – нижняя плита (южная стена).

Нельзя также не отметить близкого сходства некоторых изображений склепа № 1 с фигурами на штампованной средневековой керамике Закавказья. Разумеется, это сближение следует считать в известной степени условным, так как параллели из Закавказья принадлежат иному этно-культурному кругу и выполнены в другой технике. Тем не менее сходство тех и других изображений велико: на штампованных поясах закавказских карасов мы видим такие же человеческие фигуры с кубками в руках³⁸, такие же изображения собаки³⁹, христианские кресты⁴⁰ и т. д.

Датировка закавказских штампованных карасов установлена достаточно твердо – XI–XIII вв.⁴¹ Резюмируя все изложенное, мы приходим к выводу, что наиболее приемлемой датой для дольменообразного склепа № 1 будут XI–XII вв.

Как уже отмечалось, на том же могильнике исследованы остатки еще десяти дольменообразных склепов. Все они были, как и склеп № 1, ориентированы передними плитами на восток и ныне ограблены и разрушены. По конструкции они принципиально не отличаются от склепа № 1. Размеры их также близки. Так, обследованный нами склеп № 2 был длиной 3,16 м, шириной 2,35 м; длина камеры – 1,87 м, ширина ее – 1 м. В передней плите сделаны пазы и овальное отверстие диаметром 46 X 36 см. Такие же цельные или составные передние плиты сохранились и от остальных склепов (рис. 5 – 1–3). В них обязательно сделано отверстие, в большинстве случаев – овальной формы. Лишь в одной плите отверстие правильно круглое (рис. 5–3). Эта плита интересна тем, что имеет по 3 уступа с каждой стороны, а на ее поверхности выбиты 2 креста и 4 тамги⁴². На другой плите высечены два христианских креста (рис. 5–1). Встречаются знаки тамги (рис. 5–2) и среди изображений на других плитах, в том числе – боковых. Зафиксировать их на всех плитах не удалось, так как многие из них были перевернуты. На некоторых плитах выбиты концентрические круги; возможно, это солярные знаки (рис. 2–2). Неоднократно встречен орнамент в виде ломаной линии. Такие же зигзагообразные линии зафиксированы Е. Д. Фелициным на внутренней стороне дольмена в Кабардинском ущелье и на дольмене у дер. Адербиевской. В других местностях Северо-Западного Кавказа такой орнамент на дольменах неизвестен⁴³.

Возле одной из плит обнаружена отлично сохранившаяся втулка, напоминающая шляпку гриба (рис. 2–2). В центре ее сделано сквозное отверстие диаметром 3 см.

Общность конструкции рассмотренных дольменообразных склепов с конструкцией склепа № 1 позволяет отнести их суммарно к тому же времени – к XI–XII вв.

Дольменообразные склепы известны не только в междуречье рек Кяфар и Кривая. Еще в прошлом столетии Д. Н. Анучин писал, что дольмены есть «по слухам, в верховьях Кубани»⁴⁴. В 1940 г. в ауле Верхняя Теберда были зафиксированы остатки дольменообразных склепов одного типа со склепами р. Кривой⁴⁵. Отдельные их плиты были вывезены жителями аула Топаем и Идрисом Азаматовыми. В одной из них мы легко узнаём поломанную переднюю плиту с тамгой и рельефным всадником, держащим в руках лук (рис. 5–4). Две другие плиты были составными

частями боковой или задней стены. На одной из них – семь человеческих фигур с поднятыми вверх руками (рис. 5–6), на другой – четыре бегущих оленя с телятком (рис. 5–5). Стилистически эти изображения тождественны рельефам дольменообразного склепа № 1 и должны относиться к той же эпохе.

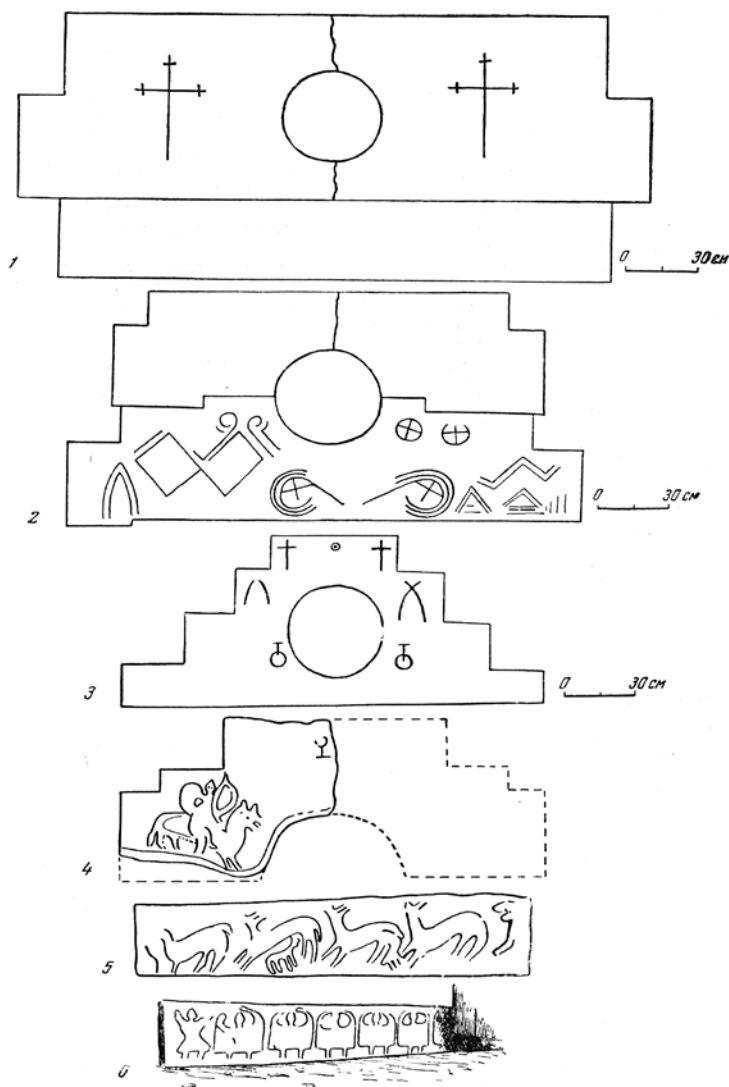


Рис. 44. Плиты дольменообразных склепов Северного Кавказа.
1-3 – передние плиты склепов на р. Кривой; 4-6 передняя и боковые плиты дольменообразного склепа из Верхней Теберды.

Необходимо кратко остановиться на вопросе об отношении средневековых дольменообразных склепов к дольменам эпохи бронзы. Сходство некоторых могильных сооружений верховьев Кубани с дольменами было впервые подмечено Г. И. Куликовским⁴⁶. Позже А. А. Миллер высказал мысль об их генетической связи⁴⁷. А. А. Спицын считал дольменообразные склепы поздними дольменами и отмечал, что «на Кавказе чувствуется упорное сохранение дольменной традиции»⁴⁸. Имея в виду, вероятно, те же склепы и наземные гробницы, В. Н. Худадов считал их результатом длительной эволюции первоначальных дольменов⁴⁹. Исследователь прикубанских дольменов Е. Д. Фелицын, напротив, полагал, что эти два вида памятников совершенно разнородны, и не находил между ними никакой связи⁵⁰.

Судя по известным нам в настоящее время данным, более правильно мнение А. А. Миллера и А. А. Спицына о генетической связи дольменов и дольменообразных склепов и длительном сохранении на Кавказе дольменной традиции. Об этой традиции свидетельствуют, например, передние плиты склепов. Как и в дольменах, в них обязательно сделано отверстие по осевой линии плиты. Форма и размеры их там и здесь очень близки. Отверстия в склепах, как и у дольменов, закрывались каменной втулкой такой же грибообразной формы.

В целом ближайшее сходство передних плит дольменообразных склепов с передними плитами дольменов несомненно. Оно подтверждается другими важными чертами, сближающими оба вида памятников. Так, например, известны дольмены с двускатными перекрытиями⁵¹, как у дольменообразного склепа № 1. Однако у подавляющего большинства дольменов и дольменообразных склепов перекрытие было плоское. Известны дольмены Прикубанья, стены которых сложены из отдельных плит⁵²; известны, наконец, и пазы⁵³, и выступающие плечи⁵⁴, т. е. в дольменах Прикубанья хорошо прослеживаются основные строительно-архитектурные приемы, которые позже получают дальнейшее развитие в сооружении дольменообразных склепов.

Перед нами, таким образом, — то длительное сохранение дольменной традиции, которое отмечал А. А. Спицын. Вместе с тем нельзя обойти и тот факт, что до сих пор неизвестны промежуточные формы — связующее звено между дольменами и дольменообразными склепами. Мы знаем пока лишь то, что дольмены Прикубанья использовались для погребений и в более позднее время, вплоть до первых столетий нашей эры⁵⁵. Следовательно, местное население еще в начале нашей эры хорошо знало дольмены и их назначение. Но это не снимает вопроса о строительстве дольменных сооружений в промежуточную эпоху. Ответить на этот вопрос

пока трудно, так как исследователи дольменов Прикубанья Е. Д. Фелицын и В. М. Сысоев из общего числа их (не менее 1200)⁵⁶ изучили незначительную часть. С тех пор раскопки прикубанских дольменов не производились, и наши представления о них базируются лишь на старых данных.

С другой стороны, дольменообразные склепы конструктивно связаны с наземными каменными гробницами, широко распространенными в Верхнем Прикубанье⁵⁷. Могильник, исследованный нами, состоит в основном из гробниц этого типа⁵⁸. В передней стене их обязательно проделано отверстие прямоугольной формы. В массе своей гробницы несложны по устройству и значительно проще склепов; но встречаются и более сложные сооружения переходного типа, сочетающие черты обычной гробницы и дольменообразного склепа⁵⁹.

Исследованные нами на р. Кривой наземные гробницы относятся к VIII–XII вв. и, таким образом, синхронны с дольменообразными склепами. И те, и другие, взятые в совокупности, занимают вполне определенную область. Границы ее очерчиваются следующим образом: на востоке – до меридиана Эльбруса, на юге – по Кавказскому хребту, на севере – по линии предгорья, на западе – между реками Кяфар и Уруп. За пределами этой области ни дольменообразные склепы, ни наземные гробницы не известны.

Распространение на указанной территории Верхнего Прикубанья характерных именно для нее могильных сооружений свидетельствует о бытовании здесь в эпоху средневековья локальной группы родственных племен или одного крупного племени. Какова их этническая принадлежность?

Устанавливаемая генетическая связь дольменообразных склепов с дольменами ведет нас в Среднее Прикубанье, на территорию, исторически известную как прародина современных адыгов. Эта часть Прикубанья уже в III–II тысячелетиях до н. э. была тесно связана с древнейшим населением Черноморского побережья Кавказа⁶⁰. Исследованиями Л. Лопатинского⁶¹, И. А. Джавахишвили⁶² и других ученых установлено, что древние племена Черноморского побережья и Северо-Западного Кавказа (синды, меоты, зихи и др.) были далекими предками адыгов. Это автохтонные племена, истоки культуры которых уходят в глубокую древность и с предками которых можно связывать дольменную культуру Западного Кавказа.

Таким образом, на территории Северо-Западного Кавказа и Черноморского побережья в III–II тысячелетиях до н. э. бытовала дольменная культура, носители которой принадлежали к одной домеотской (доадыг-

ской) этнической общности, входящей в круг иберо-кавказских древних племен. С этим древнейшим домеотским этническим массивом и связаны появление и распространение в Прикубанье дольменов, первоначальным районом бытования которых было Черноморское побережье⁶³.

Приведенные связи показывают, что глубоко местный этнос, создавший дольменообразные склепы, должен быть признан адыгским или родственно связанным с меото-адыгами.

В. Ф. Миллером было установлено, что Верхнее Прикубанье в эпоху раннего средневековья было заселено племенами ираноязычных алан⁶⁴. Действительно, письменные источники свидетельствуют об аланах в верховьях Кубани, а раскопки могильников эпохи раннего средневековья дают материал, близкий аланским памятникам Центрального Кавказа⁶⁵. В связи с этим средневековые памятники Верхнего Прикубанья вплоть до последнего времени было принято безоговорочно связывать с аланами, не углубляя внутреннего содержания этого этнонима.

В действительности дело гораздо сложнее (и археологический материал подтверждает это). Нельзя отрицать существования в Верхнем Прикубанье несомненно сармато-аланских памятников (Байтал-Чапкан)⁶⁶ и значительной сарматизации местной материальной культуры. В Верхнем Прикубанье появляются зачатки иранской письменности⁶⁷, иранская топонимика⁶⁸. Все это свидетельствует о включении ираноязычного этнического элемента в местную среду, но местные кавказские племена не исчезли и не были ассимилированы; они сохранили такой важнейший этнографический признак, как обряд погребения в наземных гробницах и дольменообразных склепах.

Эти местные племена и составили основу смешанного этнического массива, который мы знаем здесь под именем алан. Этнически неоднородное население Верхнего Прикубанья входило в политические границы обширного племенного союза, возглавлявшегося аланами. Письменные источники начинают называть его «аланы», хотя это и не раскрывает этнической сущности; в основе своей она остается глубоко кавказской, со значительной иранской примесью. Таким образом, в Верхнем Прикубанье можно наблюдать интересную картину многообразного этнического процесса, который начинает вырисовываться во всей его сложности.

Дольменообразные склепы свидетельствуют о большой социальной дифференциации. Простые по устройству и небогатые по инвентарю наземные гробницы принадлежали рядовым членам общества, дольменообразные склепы могли сооружаться только для знатных. Их создание стоило огромного труда и материальных затрат и было под силу, по-

видимому, лишь феодализирующей верхушке аланского общества, переживавшего период распада первобытно-общинных отношений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Доклад, прочитанный на Секторе скифо-сарматской археологии ИИМК 13 ноября 1957 г.

² В 1952 г. – под руководством П. Г. Акритас, в 1953 г. – под руководством В. А. Кузнецова. Фотограф В. А. Дерябин.

³ А.–Д. Г. Очерк горских народов правого крыла Кавказской линии. Военный сборник, 1860, № 11, стр. 289.

⁴ Е. Д. ФЕЛИЦЫН. Западнокавказские дольмены. МАК, IX, 1904, стр. 85, рис. 39, табл. X; А. М. Tallgren. Sur les monuments megalithiques du Caucase Occidental. ESA, t. IX, Helsinki, 1934, стр. 15, рис. 16.

⁵ Архив ЛОИА, ф. 5, арх. № 307, л. 117.

⁶ А. А. МИЛЛЕР. Изображения собаки в древностях Кавказа. ИРАИМК, т. II, 1922, стр. 321.

⁷ Там же.

⁸ В. Ф. МИЛЛЕР. Значение собаки в мифологических верованиях. «Древности», т. VI, вып. 3. М., 1786, стр. 195.

⁹ Г. Ф. ЧУРСИН. Культ собаки у кавказских народов. Бюллетень КИАИ, № 5, Л., 1929, стр. 20.

¹⁰ В. И. МАРКОВИН. Наскальные изображения в предгорьях Северо-Восточного Дагестана. СА, 1958, № 1, стр. 152, рис. 6, а.

¹¹ Дагестанский сборник. Махач-Кала, 1927, рисунок на стр. 41. По сообщению В. И. Марковина, в Дагестане и сейчас могилы почитаемых людей часто украшаются белым флагом с треугольным вырезом.

¹² Н. БЕРДЗЕНИШВИЛИ, И. ДЖАВАХИШВИЛИ, С. ДЖАНАШИА. История Грузии, ч. I, Тбилиси, 1950, стр. 11.

¹³ СА, XXI, 1954, стр. 412, 413.

¹⁴ Е. П. АЛЕКСЕЕВА. Материалы к древнейшей и средневековой истории адыгов. Труды Черкесского научно-исследовательского института, т. II, Черкесск, 1954, стр. 223.

¹⁵ Ю. КУЛАКОВСКИЙ. Христианство у алан. «Византийский временник», т. V, вып. 1–2, СПб., 1898, стр. 7 и сл.

¹⁶ См., например, МАК, III, 1893, стр. 110 и сл.; Н. Я. Динник. Верховья Большого Зеленчука и хребет Абишира-Ахуба. Тифлис, 1899, стр. 11 и др.

¹⁷ МАК, III, 1893, табл. LXII и LXVI.

¹⁸ ЗРАО, т. II, новая серия, 1887, стр. CLXI. Близкой даты придерживается А. А. Иессен (МИА, № 3, 1941, стр. 34).

- ¹⁹ В. В. ЛАТЫШЕВ. Кавказские памятники в Москве. ЗРАО, т. II, новая серия, 1887, стр. 45 и сл.
- ²⁰ В. Ф. МИЛЛЕР. Отголоски кавказских верований на могильных памятниках. МАК, III, 1893, стр. 124.
- ²¹ ЗРАО, т. III, 1851, стр. 68.
- ²² Г. Д. ФИЛИМОНОВ. Древние каменные изваяния в Пятигорске. Вестник Общества древнерусского искусства, № 11-12, М., 1876, стр. 77.
- ²³ Л. И. ЛАВРОВ. Адыги в раннем средневековье. Сб. статей по истории Кабарды, вып. 4, Нальчик, 1955, стр. 53.
- ²⁴ В. Ф. МИЛЛЕР. Отголоски кавказских верований..., стр. 126 и сл.
- ²⁵ E. CHANTRE. Recherches anthropologiques dans le Caucase, t. III, Paris – Lyon, 1887, табл. XI, 2.
- ²⁶ Хранится в ГИМ, инв. № 76990.
- ²⁷ МАК, VIII, 11900, стр. 348, рис. 274; Т. М. МИНАЕВ. Могильник в устье реки Теберды. Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 7, 1955, рис. 3–8.
- ²⁸ МАК, VII, 1898, стр. 139, рис. 32; МАК, IX, 1904, стр. 150, рис. 60.
- ²⁹ Т. М. МИНАЕВА. Указ. соч., стр. 276–278.
- ³⁰ П. С. УВАРОВА. Могильники Северного Кавказа. МАК. VIII. 1990, стр. 348.
- ³¹ А. Ч. ШОШ. Могильник II аварской эпохи в Юллё, Acta archaeologica, t. VI, Budapest, 1955, табл. LXVI, 5.
- ³² АБОБА-ПЛИСКА. Альбом к X тому Известий Русского археологического института в Константинополе. Вена, 1905, табл. IX, 15.
- ³³ П. С. УВАРОВА. Указ. соч.
- ³⁴ См., например, Т. М. МИНАЕВА. Указ. соч., рис. 6, 7.
- ³⁵ Материалы Кабардино-Балкарского музея краеведения.
- ³⁶ Материалы Северо-Осетинского музея краеведения.
- ³⁷ В. А. КУЗНЕЦОВ. К вопросу о позднеаланской культуре Северного Кавказа. СА, 1959, № 2, стр. 99, рис. 2, 1, 2.
- ³⁸ См., например, Н. Я. МАРР. Ани. Л.– М., 1934, табл. XLV, 192a.
- ³⁹ Д. Н. ЛЕВИАТОВ. Керамика Старой Ганджи. Баку, 1940, рис. 3, 7.
- ⁴⁰ Экспозиция Государственного исторического музея Армении.
- ⁴¹ В. Н. ЛЕВИАТОВ. Указ. соч.; Б. А. ШЕЛКОВНИКОВ. Художественная керамика двинских раскопок. Изв. Армянского филиала АН СССР, № 4-5, Ереван, 1940, стр. 183; Г. О. КАРАХАНЫЯН. Неполивная орнаментированная керамика из раскопок Двина и Ани. Автореферат, Ереван, 1954, стр. 8.
- ⁴² См., например, В. П. ПОЖИДАЕВ. Кабардино-черкесская тамга и кавказский орнамент. УЗ КНИИ, т. IV, Нальчик, 1948, табл. III, пятый и седьмой ряды.
- ⁴³ Е. Д. ФЕЛИЦЫН. Указ. соч., стр. 31, 32, рис. 15.
- ⁴⁴ Д. Н. АНУЧИН. Доисторическая археология Кавказа. ЖМНП, т. 1-2, СПб., 1884, стр. 235.

- ⁴⁵ Архив ЛОИА, ф. 35, д. 7/1940, л. 18, рис 15–18.
- ⁴⁶ «Археологические известия и заметки», т. I, М., 1893, стр. 41.
- ⁴⁷ А. А. МИЛЛЕР. Указ. соч., стр. 320; его же. Краткий отчет о работах Северокавказской экспедиции в 1923 г. ИРАИМК, т. IV, 1925, стр. 38.
- ⁴⁸ А. А. СПИЦЫН. Разведки памятников материальной культуры. Л., 1927, стр. 68.
- ⁴⁹ В. Н. ХУДАДОВ. Мегалитические памятники Кавказа. ВДИ, 1937, № 11, стр. 198.
- ⁵⁰ Е. Д. ФЕЛИЦЫН. Указ. соч., стр. 18.
- ⁵¹ ОАК за 1898 г., стр. 33–37, рис. 48.
- ⁵² Е. Д. ФЕЛИЦЫН. Указ. соч., стр. 14, 27, 28, рис. 9, 10.
- ⁵³ Там же, стр. 19.
- ⁵⁴ В. М. СЫСОВЕВ. Археологическая экскурсия по Закубанью в 1892 г., МАК, IX, 1904, стр. 116, рис. 51; А. ЛЕЩЕНКО. Матеріали до орнаментики дольменів на північно-західньому Кавказі. «Антропологія», IV, Київ, 1931, стр. 245, рис. 6.
- ⁵⁵ Е. Д. ФЕЛИЦЫН. Указ. соч., стр. 56, рис. 78; стр. 59, рис. 29; стр. 61.
- ⁵⁶ Там же, стр. 13.
- ⁵⁷ ОАК за 1898 г., стр. 40, 41; ОАК за 1899 г., стр. 52 и сл., и др.
- ⁵⁸ В. А. КУЗНЕЦОВ. Наземные гробницы на реке Кривой в Ставропольском крае. КСИИМК, вып. 76, 1959, стр. 83 и сл.
- ⁵⁹ Е. Д. ФЕЛИЦЫН. Указ. соч., табл. XIII, 25.
- ⁶⁰ Е. И. КРУПНОВ. Древняя история и культура Кабарды. М., 1957, стр. 74.
- ⁶¹ Л. ЛОПАТИНСКИЙ. Заметка о народе адыге и кабардинцах в частности. СМОМПК, т. XII, Тифлис, 1891, стр. 1, 2.
- ⁶² И. А. ДЖАВАХИШВИЛИ. Основные историко-этнологические проблемы истории Грузии, Кавказа и Ближнего Востока древнейшей эпохи. ВДИ, 1939, № 4, стр. 44.
- ⁶³ Б. А. КУФТИН. Материалы к археологии Колхиды, т. I. Тбилиси, 1949, стр. 258 и сл.
- ⁶⁴ В. Ф. МИЛЛЕР. Осетинские этюды, ч. III, М., 1887, стр. 112–116.
- ⁶⁵ Раскопки Т. М. Минаевой и Е. П. Алексеевой.
- ⁶⁶ Т. М. МИНАЕВА. Могильник Байтал-Чапкан в Черкесии. СА, XXVI, 1956, стр. 236 и сл.
- ⁶⁷ В. Ф. МИЛЛЕР. Древнеосетинский памятник из Кубанской области. МАК, III, 1893, стр. 110 и сл.
- ⁶⁸ В. И. АБАЕВ. Осетинский язык и фольклор, т. I. М.–Л., 1949, стр. 310, 311.

Ilya GERSHEVITCH

THE OSSETIC 3RD PLURAL IMPERATIVE

1. One of the many problems posed by the verbal personal endings in Ossetic concerns the *t* of the 3pl. impv. suffix, *-ænt* in Iron, *-æntæ* in Digoron. While Miller (1903:71) was evidently right in deriving the corresponding 3sg. ending *-æd* in both Iron and Digoron from OIran. *-atu* (instead of which the middle *-atām* would do equally well),¹ one cannot but feel misgivings at his statement ‘Die 3Pl. *-ænt(æ)* scheint auf ir. *-ntu* zurückzugehen, wobei nach Abfall des *-u* ein *æ* angetreten ist, welches das auslautende *t* vor dem Übergang in *d* geschützt hat.’ This explanation squares ill with the fact that, in the Ossetic derivatives of the OIran. noun **anta-* ‘end’, the ‘protection’ of the *t* of *-nt-* provided by suffixes did not prevent the cluster from becoming *-nd-* in Digoron, and *-dd-* in Iron.²

2. Miller did not know what Abayev, writing in Russian, made known in 1949 (499), namely that to the North Ossetic 3sg. impv. *-æd* of both Iron and Digoron there corresponds *-æt* in the large so-called Džawian dialect group of South Ossetia, whose dialects all belong to the Iron Ossetic variety. Abayev, in his turn, made no mention of what did not come to my notice until April 1990, namely that already in 1929 Tibilov, writing in Iron, had drawn attention (1929:8) not only to the Džawian use of *-æt* for the 3rd person singular of the imperative, but also to the fact that in Džawian the same *-æt* undifferentiatingly serves for the 3pl. impv. as well.

3. Having found this intriguing information unmentioned by Abayev, I was not prepared to rely on it without confirmation, but I had reason to expect that before long a personal check on it might become possible. For, thanks to a lavish invitation from the Georgian Academy of Sciences backed by a travel grant kindly accorded me by the British Academy, I was due at the end of September 1990 to visit South Ossetia for the first time in my life. The visit took place, which is why I am at present engaged in writing a report on the dialect distribution of this least known of Ossetic regions, documented by hitherto unpub-

lished maps and other material generously supplied to me by my hosts in Tbilisi and Tskhinvali. Examples of the use of *-ǣt* for the 3pl. impv. will be included in the report, so that here I may confine myself to referring to the least inaccessible mention in print of it shown to me in Tskhinvali, by Dzattiātə (1985:82).

4. The fact is that the plural imperative use of *-ǣt* is a feature of everyday South Ossetic speech. My new friends were greatly amused at learning that Iranologists at large knew nothing of it and would be bound to consider it of unusual interest. To the statement, however, of Tibilov, and indeed also to that of Dzattiātə, I should add that *-ǣt* for both the 3sg. and the 3pl. impv. is a peculiarity not only of Džawian, but also of the other large dialect group of South Ossetia, the so-called Ksanian. We are dealing with a morphological trait that generally marks off South Ossetic from North Ossetic.

5. In addition to being morphological, the trait is of course syntactic. Viewing it synchronically, South Ossetes see nothing odd in their using, as they imagine they are doing, the 3sg. for the 3pl. in the imperative, although in the other tenses and moods the two persons have distinct endings. My friends were less happy to admit that in fact they might be using the 3pl. for the 3sg. (cf. below, §15). At all events, even though one may expect the syntactic ambiguity to be an outcome of morphological coincidence, of suffixal homonymy as it were, we must be prepared to find, since the origin of the *t* of *-ǣt* is by no means obvious, that the morphology of the syntactic ambiguity owes something to a frustrated attempt, frustrated perhaps because it went counter to a long-cherished speech-habit (cf. below §16), to avert ambiguity.

6. To begin with, Miller's derivation of NOss. *-ǣd* from *-atu* (or *-atām*) and of *-ǣnt(æ)* from *-antu* (or *-antām*) (see §1), is paradigmatically so consistent that the incomprehensibility of *t* instead of expected *d* in *-ǣnt(æ)* seems a small price to pay for it. Let us therefore see what price we should have to pay for deriving, by extension of Miller's adhesion to Old Iranian paradigms, the SOss. 3sg. *-ǣt* from the Old Iranian thematic singular *-atu* (or middle *-atām*), and the SOss. 3pl. *-ǣt* from the Old Iranian unthematic 3pl. suffix **-atu* (or middle **-atām*), whose *a* was from IE *η*.

7. The price may seem double the one we charged Miller, as with him at least the *d* of the NOss. 3sg. was regular. In reality the price we owe is not only no greater than the one Miller left owing, but is worth paying because it annuls *his* debt. He owed an explanation as to why *-antu* did not become **-ænd*. We have no doubt that it did become **-ænd*, of which ending however the *d*, before it could reach modern times, was replaced in North Ossetic with the *t* of the likewise 3pl. ending *-ǣt*, the latter being shown thereby to have been current, at the time of the replacement, also in early North Ossetic.

8. With North Ossetic thereafter jettisoning both the plural endings a contamination of which had supplied it with *-ænt(æ)*, we may assume that South Ossetic, too, at one time had endings which it subsequently abandoned. Here close attention needs to be paid to chronology. Neither **-ænd*, nor the *-ænt* that had resulted from its contamination with the 3pl. *-æt*, can have been jettisoned in South Ossetic before a variant *-æt* of the 3sg. *-æd* (from the Old Iranian thematic 3sg. *-atu*) had arisen by analogy, namely by analogy to the word-final *d/t* alternation that had sprung up in the *n*-containing 3pl. suffix. At that time, therefore, South Ossetic will have had not only the fore-runner **-æt* of its present-day undifferentiating 3sg. and 3pl. suffix *-æt*, but also the 3sg. and 3pl. suffixes (i.e. **-æd* and **-ænt*) that alone have survived in North Ossetic, as well as the **-ænd* which by now is nowhere to be found in Ossetic speech.

9. Now for the price owed by us in the form of an explanation, no longer as to why against expectation Old Iranian *t* does not turn up as *d* after *n* in NOss. *-ænt(æ)* – this we have seen need be due to no more than a contamination –, but as to why, if the *æ* of 3pl. *-æt* goes back to IE *n̄*, it is not *d* but *t* which we find where Old Iranian, in its **-atu* from **-ntu*, can only have had an intervocalic *t*.

10. If the unthematic 3pl. ending **-atu* continued into early Middle Ossetic, its outcome will have been an **-æd* that was phonetically identical with the one which, from the Old Iranian thematic 3sg. *-atu*, is in present-day North Ossetic represented by the 3sg. ending *-æd*. Already in Old Iranian the thematic 3sg. *-atu* and the unthematic 3pl. **-atu* were phonetically indistinguishable, but confusion was kept at bay not only by contextual guidance, but also because – contrary to what was to happen in Ossetic – the verbs whose 3pl. impv. ended in **-atu* had a *-tu* not preceded by *a* in the 3rd singular. It having been the thematic conjugation which was generalized in early Middle Ossetic, an accidentally preserved unthematic 3pl. ending **-æd*,³ interfering in the convenient thematic distinction between singular *-æd* and plural **-ænd*, would stand little chance of resisting for very long its own elimination. One way to achieve elimination is by substitution; and since it is **-æd* which from **-ntu* we expect to find where South Ossetic instead has *-æt*, and the unvoicing in Ossetic of postvocalic final *d* would be unheard of, substitution is by far the most promising possibility for us to explore.

11. Accordingly we need to identify a personal plural ending **-æt* other than of the 3rd person (of which altogether no known Old Iranian ending could in Ossetic have turned up as **-æt*), made redundant in the personal function for which early Ossetic had inherited it, and thereby available for expressing the 3rd person more satisfactorily than the inherited plural **-æd* was proving capable of doing.

12. The obvious candidate is the one which Miller by chance offered in passing (1903:70), when he declared **-ǣt* the ‘probable’ original ending of the 2pl. pres. ind., from OIran. *-aθa*, extruded in early Middle Ossetic by *-ū̄t* < *b(a)vaθa* in Iron (thus also in South Ossetic), by *-etæ* in Digoron.⁴ In contraction with a preceding *a*, OIran. *-aθa* is present also in the Iron 2pl. subj. ending *-at* < *-āθa* (Miller 1908:71).⁵ In Old Iranian the active thematic 2pl. ending inherited from Indo-Iranian was *-aθa* in the present indicative and in the subjunctive, but *-ata* in the imperative. Old Ossetic evidently used *-aθa* also for the imperative, as the 2pl. impv. corresponding to OIran. *bavata* would otherwise have been in Iron (including South Ossetic) not *ū̄t* but **ū̄d*, and in Digoron not *uotæ*, but **uodæ*.⁶ We may therefore be sure that Miller’s enlightened chance remark that **-ǣt* was the suffix which in the 2nd person plural of the present indicative was extruded by *-ū̄t/-etæ* applies also to the imperative, seeing that the imperative, too, has for the 2nd person plural as regular ending *-ū̄t* in Iron and *-etæ* in Digoron.⁷

13. After the extrusion of the only **-ǣt* which, from its only possible ancestor *-aθa*, the Ossetic indicative and imperative can at first possibly have had, it is only natural that no *-ǣt* continued to figure in the paradigm of the indicative. All the more remarkable is the presence of *-ǣt* in the imperative, in charge of not only one grammatical person as it had been before its extrusion by *-ū̄t/-etæ*, but of two persons, neither of which can possibly have been marked by *-aθa* in Old Iranian. Of the two cases of ‘illegitimate’ *-ǣt*, the one for the 3rd singular has in §8 appeared to us capable of having secondarily acquired its *t* by replacement of ‘legitimate’ *d* under the influence of an alternation brought about by the *t* of the other ‘illegitimate’ *-ǣt*, the one for the 3rd plural. The reverse does not seem possible, because the alternation in question, affecting a 3rd plural suffix, could not have been brought about by a *t* serving the 3rd singular. Our task being thus firmly reduced to explaining the ‘illegitimate’ 3rd person *-ǣt* of the plural, and not of the singular, it becomes difficult to dismiss as an accident the fact that the **-ǣt* extruded by *-ū̄t/-etæ*, i.e. the only *-ǣt* ‘legitimate’ in the imperative, had also had for grammatical number the plural.

14. We are led to ask: what might have been the reason why in the imperative, but not in the indicative, the plural **-ǣt* of the second person could, in the course of being made redundant by *-ū̄t/-etæ*, have come to be thought of as capable of denoting more usefully the third person? The only plausible answer would seem to coincide with the proposition we advanced in §6 as a working hypothesis, without as yet making the extrusion of **-ǣt* by *-ū̄t/-etæ* our starting point. Now that it is from here that we are viewing the riddle, logic compels us to realize that, at the time when the original **-ǣt* was becoming redundant, early Middle Ossetic must still have had beside **-ǣnd* for the 3pl. impv. an

n-less **-æd* indistinguishable from the 3sg. **-æd*, whereas in the indicative *n*-less 3rd plural ending had survived.⁸ Phonetically the redundant imperatival **-æt* differed from the two imperatival **-æds* only in respect of the dental's voice. Grammatically it differed from both in respect of person, but agreed with one of them in being plural. This was therefore the one in whose place it would become tempting to instal the redundant and likewise plural **-æt*, of which the person it was ceasing to serve was debarred by its usurper *-ūt/-etæ* from interfering in the novel function. With the plural **-æd* thus out of the way, the other *-æd* would be left to rule unchallenged for a while as sole suffix of the 3rd person singular.

15. Not very long, however, after the 3sg. *-æd* was relieved of serving also the 3rd plural person (see our chronology in §8), the two persons came again to share a suffix, this time ironically the very *-æt* (though in the singular it was that only in appearance) whose 'illegitimate' introduction had earlier on relieved *-æd* of responsibility for the plural. This would seem too incongruous for the reconstruction outlined in the preceding pages to be allowed to stand, were it not for the reconstruction's being itself to some extent our backward projection into early Middle Ossetic of what in 'literary' South Ossetic has been happening in recent decades, just as incongruously one might think, to the spoken 3rd singular and 3rd plural imperative.

16. The South Ossetic language as printed locally in books, newspapers and leaflets, leans heavily on Iron as printed in North Ossetia (capital Vladikavkaz, during the Soviet period renamed for a while Ordzhonikidze) and spoken in that country. One of the southern concessions to northern usage is that the spoken 3sg. impv. ending *-æt* is regularly printed *-æd*. By this adoption of the North Iron singular, South Ossetic writers were given a chance to do away in print with the absence from speech of 3rd person distinction between singular and plural. They might have in print retained spoken *-æt* for the plural only. Alternatively they might have taken over from North Ossetic not only the singular *-æd*, but also the plural *-ænt*. Instead, their spoken *-æt* gets into print as *-æd* also when it denotes the plural! One can only conclude that speakers inured to a homonymically arisen lack of distinction do not invariably welcome opportunities, however readily within their grasp, to abolish it. Instead of consolidating an emerging differentiation, they are quite capable of restoring the threatened ambiguity in new guise. If the spoken plural *-æt* is today turned into printed *-æd* to conform to the spoken singular *-æt*'s secondary replacement with printed *-æd*, we need not wince at the singular *-æd*'s having allowed itself in antiquity to be turned into *-æt* for one purpose only, that of conforming to the plural *-æd*'s secondary replacement with *-æt*.

17. The above printing convention goes a long way to explain why Western Iranologists, depending for acquaintance with the South Ossetic language on the mere trickle of printed matter reaching them from Tskhinvali, have for so long remained in the dark about its imperative. The singular *-æd* would arouse no curiosity. The plural *-æd* would be encountered rarely because imperatives are not often used in the 3rd person plural. Readers noticing the occasional *-æd* where they would expect to see *-ænt*, would be more likely to attribute it to careless syntax than to start thinking along the lines of the present article.

18. Less negatively, the above printing convention has an amusing side to it, not devoid of instructive aspects. The plural suffix which, non-existent in present-day spoken Iron, has recently entered print to *preserve* a lack of distinction between singular and plural, is the very suffix *-æd* which above we postulated with an asterisk for the BC period as a plural indispensable to accounting for the adoption in its stead of an *-æt* introduced to *avert* that same lack of distinction. Moreover, the fact that North Iron *-ænt* was *not* chosen in printed South Ossetic for a pendant to the imported North Iron singular *-æd* lends substance to our chronologically conceived hint in §8 that the retention in antiquity of the secondarily arisen 3pl. *-æt* must have been due to preference for the latter (in consequence of **-æd*'s having for so long served also as plural ending) over the more explicit *-ænt* which it had generated, and not to the latter's not having as yet come into existence.⁹

19. The price alluded to in §§6-7 and 9 which we pay to recover from the 3pl. impv. *-æt* the **-æd* whose *æ*'s derivation from *ṛ* is concealed by the substitution of its *d* with *t*, and thus to identify in present-day Ossetic a disguised survival of the Indo-Iranian unthematic 3pl. impv. ending **-atu*, has turned out to consist in having to graft onto a third person a suffix originally reserved for the second. We pay it gladly not only because no other procedure is in sight by which the *t* of *-æt*, and through it the *t* of *-ænt*, can be explained with reference to safe parallels,¹⁰ but above all because the price will buy us also another piece of enlightenment.

20. The South Ossetic 3sg. opt. ending is not *-id* as it is in North Iron, but *-it*.¹¹ We have seen in note 1 that *-id* necessarily goes back to the Old Iranian thematic middle optative 3sg. ending *-aita*. The middle voice suits to perfection also the 2nd sing. person, NOss. *-is(æ)*, SOss. *-is*, from OIran. *-aiša* (written *-aēša* in Avestan). The *t* of SOss. *-it*, however, can go back only to an OIran. intervocalic *θ*. How then can one ignore the fact that corresponding to Av. *-aēša* Sanskrit has no **-eṣa*, but only *-ethās*? If Middle Ossetic inherited from Old Ossetic, beside *-is* < **-aiša* for the 2nd sing. optative, an obsolescent *-it* < **-aiθāh*, the latter would, by the closer affinity of its voiceless dental to the

voiced stop of *-id* than to the sibilant of *-is*, be dragged almost inevitably into competition with the former for the 3rd person singular. It would thereby lose touch with the second person, and according to dialect either perish, or oust *-id* from the third. By dint of the volitional affinity between optative and imperative, it is even possible that in early South Ossetic the *t* of *-it* strengthened the hand of another *t*, namely the one which in §8 we presented as having secondarily come to alternate with the *d* of the 3sg. impv. ending *-æd*.

21. To Bartholomae's knowledge in 1895 (see his pp. 62 (top), 63 (middle) and 65 (bottom)), no Iranian language explored by then, Old or Later, had revealed evidence of the survival into Iranian from Indo-Iranian of a counterpart to either the Skt 3pl. impv. endings *-atu*¹² or *-atām*, both with *a* < IE *ṛ*, or to the Skt 2sg. opt. ending *-ethās*. To my knowledge nothing has come to light since then that would alter the position, unless it be the hitherto almost inaccessible fact, that South Ossetic has *-æt* corresponding to the long-known NOss. *-ænt*, and *-it* where North Ossetic had long accustomed us to *-id*.

22. Concerned with South Ossetic *-æt*, we began this article by noting that Miller's protection theory is neither adequate nor necessary for an understanding of why North Ossetic *-ænt* has a voiceless dental. We may end with an attempt to show that the theory is no less out of place in another instance, relevant to us because treated by Miller as parallel to *-ænt*: the voicelessness of the affricate of the North Ossetic endings Iron *-ənc*, Digoron *-æncæ* of the 3pl. ind. present, from OIran. *-anti*, and of the Digoron ending *-oncæ* of the 3pl. subj., from OIran. **-ānti*.

23. Miller could not take into account what Henning (1958:112, note 1) was to point out decades later, viz. that Iron *fəcən*, Dig. *ficun* 'to cook' has at least in the verb's intransitive sense,¹³ a *c* deriving from the intervocalic *-čy-* of the Old Iranian passive present stem **pačya-*. While from the transitive present stem *pača-* one expects an unattested **fædzə/un*, just as after *n* from *panča* 'five' one expects and gets *fondz*, in **pačya-* the palatalization by *y* of postvocalic *č* immunized the affricate against voicing. From the 3pl. endings in *-Vnc* (*V* standing for any vowel) we learn, or at least I suggest we learn, that such ultrapalatalization continued to carry its immunizing property long enough to catch also such *čs* as kept cropping up out of palatalization of *t* by an immediately following *i*. But we also see that only such secondary *čs* were 'caught' and 'frozen' as had resulted from a *t* preceded by *n*. For of the 3sg. pres. ind. ending *-ati* the outcome is *-ə* in Iron, *-ui* in Digoron, and not the **-æc* which one might have expected otherwise.

24. Let us look at Miller's genealogical line for the Ossetic outcome of *-ati* (70), which I reproduce somewhat normalized and adjusted, but true to Miller's intention: *-ati* > **-aci* > **-adzi* > **-ædzʷ* > **-æy* > **-æi* (the **-æi* by

attrition reduced to *-ə* in Iron, to *-ui* in Digoron; see §28). Miller would say that with *-anti* the genealogical line was shorter (i.e. *-anti* > **-anci* > *-ænc*) because the intervention of his ‘protective’ vowel, caused by the presence of a cluster, put a stop to further development both in Digoron and in Iron. But if so, why did the ‘protective’ vowel, which did its duty by the 3pl. subj. ending **-ānti* in Digoron, fail to intervene in Iron, where the outcome corresponding to Dig. *-oncæ* is *-oi*? For the latter, Miller’s genealogical line (71) is in keeping with the one for *-ati* (I again adjust): **-ānti* > **-ānci* > **-āndzi* > **-ondzʷ* > **-ony* > **-oyn* > *-oi*.¹⁴ In *-ati* there was no cluster, hence according to the theory no call for ‘protection’, and the *c* of **-aci* was allowed in both dialects to go on mutating; Miller does not say why with **-ānti*, despite its cluster, mutation beyond the stage **-ānci* was blocked only in Digoron.

25. The problem becomes more amenable if instead of applying to its solution a merely notional ‘protective’ vowel, we treat it phonologically. We should replace **-aci* with **-adi* in the genealogical line leading to Iron- , Dig. *-ui*, and **-ānci* with **-āndi* in the genealogical line leading to Iron *-oi*. This will enable us to exploit the awareness we gained in §23, of the *c* of *-Vnc* having remained voiceless for exactly the same reason as kept the *c* of *fæc-/fic-* voiceless: the former’s *c* would not like the latter’s be on view still today, immunized against becoming *dz*, if it had not resulted from palatalization of a *t* not yet voiced. Hence the voice borne by any *dz* occupying the place of an Old Iranian *ti* is due to the voicing of *t*, and not to the voicing of an intermediate *c*; an ‘intermediate’ *c* would be a contradiction in terms, because as soon as a *c* emerged from *t*, it turned numb, incapable of ‘mediating’.

26. Just as within this new explanation not all desinential *ts* preceding an *i* would have undergone palatalization at one and the same time, some holding out until they lost voice (the *t* of *-ati* throughout; that of **-ānti* in Iron; the non-desinential one of **spanti-* in Digoron as well as in Iron, see §27), some forestalling the change of voice by accepting affrication (the *t* of *-anti* throughout, except in Iron *stə*, see §28; that of **-ānti* in Digoron), so also not every *dz* resulting from palatalization of a *d* that was formerly *t* went on mutating. Here the determining factor will have been the behaviour of *i* after the emergence of *dz*. If the *i* was jettisoned before it could soften *dz* further, the latter survived unchanged; if *i* persevered, the *dz* absorbed it and suffered mutation to *y*. Both outcomes are on view e.g. in the pair Iron *ssædz*/Dig. *insæi* ‘twenty’ < **vinsati*, the *°sæi* being from *°sæy* < *°sædzʷ* < *°sædzi* < *°sadi* < *°sati*.¹⁵ For other examples where *ti* was postvocalic in Old Iranian see Miller (1903:29),¹⁶ noting that in all of them the timely shedding of *i*, ensuring the survival of *dz*, happened in proto-Iron, and not in proto-Digoron.

27. This is so also in one of the two examples of Old Iranian *t* turned *d* after *n*, namely the one whose *-nti* was not verbally desinential. Accepting Abaev's etymology (1958:485) of Iron *æfsondz/Dig. æfsoi* 'yoke' as from **spanti-*,¹⁷ we apply this time to Digoron the genealogical line to which for the Iron 3pl. subj. ending *-oi* we in §25 amended the line quoted from Miller in §24. Digoron *æfsoi* has *-oi* from **-oyn < *-ony < *-ondzʷ < *-ondzi < *-āndi < *ānti*.

28. It is not so (i.e. even in proto-Iron the final *i* lingered on until it was absorbed by *dz*) with the other example, whose *-nti*, unlike that of **spānti-*, was as verbally desinential as can be. The example, with which this article draws to a close, does lend a point to the exercise we became engaged in for the sake of disentangling *-Vnc* from *-ænt*, because it consists of the hitherto unexplained ending of the Iron 3pl. *stə* 'they are',¹⁸ the meaning of which is expressed in Digoron by *æncæ < *hanti* (Miller 1903:75). In §24 our first genealogical line ends for clarity's sake with **-æi*, since it is of **-æi* that, by attrition not uncommonly suffered by exceedingly common endings, the 3sg. pres. ind. endings *-ə/-ui* are best understood as secondary variants (thus in principle already Miller). If then we take the *-ə* of *stə* for an *-æi*, what else do we get, this time in Iron, if not the *-æi* of Digoron *insæi* (§26), with the added bonus of its having lost in this case a final *n*, as did the Iron *-oi* of §24 and the Digoron *-oi* of §27 (see note 14). The 3rd plural ending *-ə* of *stə* turns out to be from **-æi < *-æyn < *-æny < *-ændzʷ < *-ændzi < *-andi < -anti*. This *-anti* called for a 'protective' vowel no less than the *-anti* of §22. But no protection was vouchsafed it.

*Jesus College,
Cambridge CB5 8BL*

NOTES

1. Note that for the 3sg. opt. ending Iron *-id*, Digoron *-idæ* Miller (1903:72) felt bound to take recourse to the middle Av. *baraēta*, in preference to the active *barōit*.

2. See Abaev (1958:104f.), and Miller (1903:33 top (as well as 30, sect. 3)). Moreover the outcome of OIran. *antara-* is *ændær* not only in Digoron, but also in Iron (Abaev 1958:154f.). Iron maintains unchanged even an Old Iranian *-nd-* in *bændæn* 'string' (Abaev 1958:250), just as not only OIran. *-nt-*, but also *-nd-*, turns up in Iron as *-dd-* (in *bæddæn* 'to bind' and *sæddæn* 'to break'). Digoron *-nd-*, by contrast, develop further to *-dd-* (*bæddun*, *sæddun*) only if in Old Iranian the cluster was *-nd-*, and not if it was *-nt-*. An unchanged OIran. *-nd-* is seen in both Iron *ændasnæg* and Dig. *ændisnæg* 'rheumatism' (see Gershevitch 1985:142). Thus if the *t* of *-ænt(æ)* were simply the unchanged *t* of OIran. *-antu*, its survival,

and the ‘protection’ which allegedly ensured it, would be unparalleled in Ossetic. On Miller’s extension of such ‘protection’ to the 3rd plur. suffix *-Vnc* see here §§22-28.

3. The accident may have been induced by reduplicated unthematic present stems, of which a very common one was in Old Iranian that of *dā-* ‘to give (etc.)’. Its unattested unthematic 3pl. active impv. **dadatu* would have become **dædæd* in early Middle Ossetic. However, of this base the secondarily arisen present stem *dædd-* (on which see Gershevitch 1985:125) is used in Ossetic, taking in the 3pl. impv. the regular endings NOss. *-ænt(æ)*, SOss. *-æt*. For a trace in Digoron of the unthematic 2nd pl. impv. see below, note 7.

4. Of *-etæ* Miller assumed (70) that it represents an ‘intrusion’ of Dig. *aitæ* ‘estis’ into the paradigm of the present indicative, while *aitæ* was taken by him at p. 75 for an extension, by the 2nd pl. pres. ind. ending *-etæ*, of an *a* ‘das als Stamm empfunden war’. The latter statement being immediately preceded by his derivation of Dig. *an* (i.e. /ān/) ‘sumus’ from **ām* < **āmah* < **ahmahi* (with initial **ah-* taken over from *ahmi*), it is clear that by ‘Stamm’ he meant *ah-* ‘to be’, finding himself nevertheless at a loss to explain the relationship between the *e* to which the 2nd pl. suffix *-tæ* < *-θa* is attached in the present indicative, and the *ai* to which *-tæ* is attached to form the semantic equivalent of Latin *estis*. I would suggest that *-etæ* continues an enclitically used **ahiθa* (i.e. *ahi* ‘thou art’ extended by the 2nd pl. suffix *-θa*; cf. Dig. *cæugitæ* and *kæntæ* below, note 7), of which in emphatic, non-enclitic use the initial *a-* was lengthened by analogy to Miller’s forerunner **āmahi* of Dig. *an* ‘we are’. Against this proposed distinction between non-enclitic and enclitic position, the Digoron use of *-aitæ* itself as suffix denoting the 2nd person plural in the subjunctive need not constitute a valid objection (see note 5).

5. The corresponding Digoron ending is *-aitæ*, which I take to be not *aitæ* ‘estis’ itself, but an earlier **-atæ* that suffered intrusion of *i* under the influence of *aitæ* ‘estis’.

6. Also the Manichean Sogdian 2nd pl. impv. endings go back to *-θa* (Gershevitch 1961:112-115). (In Christian Sogdian, however, it is *-ta* which prevails, cf. Sims-Williams 1985:193.) In the relevant Old Iranian communities the ending *-θa* may be presumed to have spread to the imperative from the subjunctive; cf. the occasional imperatival use of the subjunctive in Avestan (Reichelt 1909:314) and in Digoron (Abaev 1949:419). Note that when Miller (77) writes ‘*ūt, otæ* ist ir. **bavata*’, his ‘ist’ means not a retreat from his statement at p. 30, sect. 2, end, but simply that all three words are 2nd pl. imperatives of the base which in Old Iranian was *bav-*.

7. From Digoron, however, Abaev (1949:418) most interestingly cites the exceptional 2nd pl. imperatives *niuuaxtæ* ‘let go!’ and *nissaxtæ* ‘thrust (it) in!’. If these were formed, as he states, from the past stems (of *uadzun*, *sadzun*), what would the 2nd pl. suffix be? To my mind they are precious survivals of ancient root-class conjugation, with the 2nd p. suffix (here possibly as yet *-ta*) added directly to **wāk-* and **sāk-*. On the same page Abayev mentions the Digoron 2nd pl. imperatives *cæugitæ* and *margitæ* of *cæu-* ‘to go’ and *mar-* ‘to kill’, consisting according to him of the participles *cæugæ* and *margæ* which can be used (also in Iron) for the 2nd sg. impv., extended by the *nominal* plural suffix *-tæ*. The suffix is more likely that of the

2nd pl. impv., this time not as an ancient survival, but as analogical to an ancient survival: the *-tæ* of *caugitæ*, if the preceding *i* is a weakened *æ*, imitates the function of the *-tæ* of the 2pl. impv. *uotæ* in relation to the 2sg. impv. *uo* ‘be, become!’. This is virtually proved by Dig. *kaentæ*, quoted by Abaev as a rarely used form of the 2pl. impv. (usually *kaenetæ*) of *kæn-* ‘to do’, where the suffix (surely distinct from the nominal plural suffix *-tæ*) appears to have been added directly to the 2nd sg. impv. *kæn*. Cf. our suggestion, for a vastly earlier period, on the origin of Digoron *-etæ*, above, note 4.

8. The apparent exception, Iron *stə* ‘they are’, was at the time not yet *n*-less; see here §28.

9. This needs saying because of our attribution of *-ænt*’s *t* to the *t* of the 3rd plur. *-æt*; but our saying it might have strained belief were it not for the fact that, in ‘literary’ South Ossetic today, such a preference for the less explicit has been manifesting itself for all to see.

10. The ‘protection’ theory we quoted from Miller in §1 would find only a very unsafe parallel in Miller’s application of it to the 3rd plural ending *-Vnc*; see here §§22-28. Nor must we forget that the theory, devised for *-ænt*, would not account for the *-æt* of which Miller knew nothing. Here though, an explanation may not seem superfluous as to why we did not exploit the assimilation of *n* mentioned above in §1, by which in Iron a *dd* (or *dt* or *tt*) can be derived from *nt* via *nd*. The main reason is that nowhere do I find it stated, including significantly by Sokolova, that in word-final postvocalic position an Iron *dd* is heard anywhere simplified to *t* (for instance **/bæt/* or */sæt/* in the 2nd sg. impv. of *bæddən* or *sæddən*; see note 2 above). Moreover, by assuming that 3pl. *-æt* has *t < nd < nt*, one cuts oneself off from attributing to contamination the *t* of Dig. *-æntæ*, as Digoron offers no parallel for a *dd* whose assimilated *n* stood in Old Iranian in front of not *d*, but *t*; see again note 2 above. Even in Iron the contamination would be hard to defend, because it would have occurred between two mutually exclusive outcomes (*nd* and *dd*) of an *nt* that constituted an unmistakably precise morpheme. The advantage of deriving the *t* of the 3rd plur. *-æt* from the *θ* of the 2nd person plural is that at no stage do we need to charge either Iron or Digoron with intra-dialectal inconsistency.

11. This is stated by all the authorities we have quoted above (Tibilov, Abayev, Dzattiatə), each of them mentioning *-it* in one breath with *-æt*.

12. The exception which Bartholomae hesitatingly allowed, Gathic *dadātū*, is quoted as a 3rd singular by Kellens (1984:317).

13. Cf. Gershevitch (1985:279f.).

14. For the dropping of final *n* after postvocalic *y* Miller justly referred to the Iron noun *æncoi* ‘rest’, corresponding to Dig. *æncoinæ*.

15. Via **^osaci* the outcome of **^osati* would have been **^osæc* in both Iron and Digoron.

16. To which add from Gershevitch (1959:173) Iron *afædz*/Dig. *afæi* ‘year’, and the remark on *kudz/kui* ‘dog’.

17. With *o < a* as in *fondz* (§23), although alternatively one may start from **spānti-* and compare the *o* of Dig. *-oncæ* (§24). Where *-anti* was verbally desinential, no *o* developed from its *a*; see §§22 and 28.

18. On which see Miller's plight at the top of p. 76, although on p. 75 he correctly suspected *stə* of being formed like NP *hastand*.

REFERENCES

- ABAYEV, V. I., 1949. *Osetinski yazyk ifolk'lor*, Moscow-Leningrad.
- ABAYEV, V. I., 1958. *Istoriko-etimologicheski slovar' osetinskovo yazyka*, vol. 1, Moscow-Leningrad.
- BARTHOLOMAE, CHRISTIAN, 1895. *Vorgeschichte der iranischen Sprachen*, in Wilhelm Geiger and Ernst Kuhn (eds.), *Grundriss der iranischen Philologie*, vol. 1, Strassburg.
- DZATTIATƏ, G. P., 1985. 'Razgovorny stil' i dialekty osetinskovo yazyka', in *Izvestiya yugo-osetinskovo nauchno-issledovatel'skovo instituta Akademi Nauk Gruzinskoi SSR*, vol. 27, 1982, Tbilisi: 'Metsniereba', 76-85.
- GERSHEVITCH, ILYA, 1959. *The Avestan Hymn to Mithra*, Cambridge.
- GERSHEVITCH, ILYA, 1961. *A Grammar of Manichean Sogdian*, Oxford.
- GERSHEVITCH, ILYA, 1985. *Philologia Iranica*, edited by Nicholas Sims-Williams, Wiesbaden.
- HENNING, W. B., 1958. 'Mitteliranisch', in B. Spuler (ed.), *Handbuch der Orientalistik*, Erste Abteilung, IV/1, Leiden, 20-129.
- KELLENS, JEAN, 1984. *Le verbe avestique*, Wiesbaden.
- MILLER, VSEVOLOD, 1903. *Osetisch*, Anhang to Wilhelm Geiger and Ernst Kuhn (eds.), *Grundriss der iranischen Philologie*, Strassburg.
- REICHEL, HANS, 1909. *Awestisches Elementarbuch*, Heidelberg.
- SIMS-WILLIAMS, NICHOLAS, 1985. *The Sogdian Christian Manuscript C2*, Berlin.
- SOKOLOVA, V. S., 1953. *Ocherki po fonetike iranskix yazykov*, vol. 2, Moscow-Leningrad.
- TIBILOV, ALEKSANDER, 1929. *Xussar iron adæmy uacmystæ*, vol. 2, Cxinval.

Rainer ECKERT

ZU EINIGEN OSSETISCH-SLAWISCHEN ÜBEREINSTIMMUNGEN

Der folgende Beitrag enthält eine Reihe sprachlicher Übereinstimmungen, formaler, aber vor allem semantischer Art, zwischen dem Ossetischen und Slawischen, wie wir sie beim Studium der bisher erschienenen zwei Bände des ausgezeichneten „Historisch-etymologischen Wörterbuches der ossetischen Sprache“ von V. I. Abaev/1/ festgestellt haben. Es handelt sich dabei weniger um eine systematische Darstellung dieses Themas, als vielmehr um eine nach bestimmten Gesichtspunkten geordnete Liste von Lese Früchten. Wir erheben deshalb weder den Anspruch, alle ossetisch-slawischen Übereinstimmungen in dem erwähnten Wörterbuch erfaßt zu haben (das würde sicher den Umfang einer bescheidenen Miscelle weit übersteigen), noch stellten wir uns überhaupt das Ziel einer umfassenden Beschreibung der ossetisch-slawischen sprachlichen Gemeinsamkeiten.

Im ersten Teil (I) unserer Zusammenstellung einiger ossetisch-slawischer Übereinstimmungen behandeln wir Lexeme, die auf Grund der indoeuropäischen Sprachverwandtschaft auf genetisch identische Vorformen zurückgeführt werden können und die in formaler Hinsicht, z. B. in der Wortbildung, weitreichende Entsprechungen darstellen bzw. die gemeinsame spezielle Bedeutungen entwickelt haben.

Im zweiten Teil (II) führen wir zu einer Reihe ossetischer Wörter typologische semantische Parallelen aus dem Slawischen (und z. T. Baltischen) an.

I. Genetische Parallelität

1. Alte Erweiterungen durch Suffix *-k-*:

Osset. *acc, accæ*, Wildente‘ und ursl. dial. **qti-ca* ‚Ente‘

V. I. Abaev bemerkt in seinem Wörterbuch/2/, daß osset. *acc, accæ* (das erstgenannte Wort stellt die Form aus dem Hauptdialekt, dem Iron-Dialekt dar;

die zweite Form ist die des digorischen Dialekts) recht selten vorkommt und nur die ‚Wildente‘ bezeichnet, während die Hausente mit einem Lehnwort aus den Turksprachen, *babyz*, bezeichnet wird. Er sieht in osset. *acc*, *accæ* die gesetzmäßige Kontinuate von altiran. *āti-*, vgl. ai. *āti-* ‚ein Wasservogel‘. Für letzteres wird die Vorform **anti-* angesetzt, von der u. E. genaue Fortsetzer auch hinsichtlich des i-Stammes in lit. *āntis*, *-ies*; lit. dial. *antis*; apr. *antis* ‚Ente‘ und ursl. **qtv*, *-i* fem. ‚Ente‘ in beloruss. *uc* fem. ‚Ente‘; russ. dial. (um Smolensk) *ut*‘, russ. archaisch *ut*‘, gen. pl. *utej* (z. B. im historischen Roman von St. P. Zlobin „Stepan Razin“) vorliegen. Auch für einige germanische Wörter wie z. B. altengl. *ened* ‚Ente‘ und anord. *qnd*, pl. *endr*, *andir* wird eine Vorform **ánudiz*, also ebenfalls ein i-Stamm, vorausgesetzt./3/ Abaev führt weiter aus, daß *-cc* in *acc* entweder das Resultat der allgemeinen Tendenz zur Verdoppelung der auslautenden Konsonanten im Ossetischen darstellt oder die alte Form **-ātika* widerspiegelt, ebenso wie osset. *wærc* ‚Wachtelweibchen‘ auf *vartika* zurückgeht. In diesem Zusammenhang verweist er auf russ. *ut-ka*, bulg. *uti-ca* ‚Ente‘. Auch unter den anderen iranischen Entsprechungen, die erzürn Vergleich heranzieht, finden sich Erweiterungen des i-Stammes durch k-Suffix, vgl. Pamir-Sprache (vachanisch) *yōč* < **āti-či* ‚Ente‘.

Bereits erwähntes bulg. *uti-ca* sowie beloruss. *ucica*, aruss. und russ. *utica*, ukr. *utyca* und nsorb. *hušika* ‚Ente‘ spiegeln ebenfalls eine Erweiterung eines urslawischen i-Stammes durch Suffix — *k-a* wider, so daß wir ein ursl. dial. **qti-ka* ansetzen können.

Soweit wir ermitteln konnten, treffen diese Erweiterungen des alten ieur. i-Stammes durch *-k*-Suffix im Falle des Entennamens nur auf einen Teil der iranischen Sprachen, darunter wahrscheinlich das Ossetische, und einen Teil der slawischen Sprachen zu.

Das Nebeneinander von alten i-Stämmen und Erweiterungen dieser i-Stämme durch Suffix *-k*- beobachten wir auch sonst im Slawischen und — in einigen wenigen Fällen — auch im Altindischen, vgl. lit *avis*, — *iēs*, ai. *avi-ḥ* fem. und mask. ‚Schaf‘ und ai. *avikaḥ*, *-ā* ‚Schaf‘ und ursl. **ovi-ka* > *ovьca* (russ. *ovca*, asl. *ovьca*, poln. *owca*) ‚Schaf‘.

Osset. *ajk*, *ajkæ* ‚Ei‘ und ursl. **ajьce* < **ajьko* ‚Ei‘

Osset. (Iron-Dialekt) *ajk* und (digorischer Dialekt) *ajkæ* ‚Ei‘ enthält Suffix *-k*- wie auch die Entsprechungen in einigen anderen iranischen Sprachen, z.B. belutschisch *haik*, kurdisch *ha'ik*, *hēk*, *hāki*; Pamirsprache (ischkaschisch) *akik*; Pehlewi *hāyīk*, choresmisch *yāk*, für die ein gemeiniran. **āyaka*-vorausgesetzt wird./4/

Bereits V. I. Abaev verglich die iranischen Formen mit Suffix -k- mit den slawischen Beispielen auf -ce, z. B. asl. *aje* neben *ajce* ‚Ei‘. O.N. Trabačev hebt im „Etymologischen Wörterbuch der slawischen Sprachen“/5/ diese Bemerkung über die funktional einander nahestehenden iranischen Bildungen mit -k-Suffix und die Deminutivbildungen auf -ce im Slawischen unter Verweis auf Abaev ausdrücklich hervor und spricht von einem besonderen Parallelismus in der Wortbildung dieser Derivate im Ossetischen und Slawischen.

Im Slawischen steht die Form ohne k-Erweiterung **aje* (vgl. skr. *jáje*; osorb. *jejo*, *wejo*; nsorb. *jajo*, polab. *joji*; poln. *jaje*, poln. dial. *jajo*, slowinz. *jājā*, ukr. (dial. Kindersprache) *ajo* ‚Ei‘ der durch k-Suffix erweiterten Form **ajъ ce < ajъ ko* (asl. *aice*, bulg. *jajce*, bulg. dial. *ajce*; maked. *jajce*; skr. *jájce*; tschech. *vejce*; slowak. *vajce*; poln. dial. *jajce*, *jajco*, *jejce*; aruss. *jaice*; russ., beloruss. *jajcó* ‚Ei‘) gegenüber./6/

2. Übereinstimmungen in der speziellen Bedeutungsentwicklung genetisch verwandter Wörter

Iranische und slawische Derivate von der Wurzel **dhē* — in der Bedeutung ‚Stahl‘

Von der ieur. Wurzel **dhē-* sind in den verschiedenen Sprachzweigen Ableitungen mit ganz disparaten, konkreten Bedeutungen bekannt, die unmittelbar in den Bereich alter „technischer“ Termini eingehen. Man vgl. z. B. im Ursl. ‚Holz bearbeiten; eine Bienenbeute in einem Baum anlegen‘ (asl. *drěvodělja*; apoln. *bartodziej*, poln. dial. *dziać barć*) und lett. *dēt dori* ‚einen Waldbienenstock herrichten‘./7/

Im Falle von osset. *ændon* ‚Stahl‘ gelang V. I. Abaev eine überzeugende Etymologisierung gerade unter Zuhilfenahme der entsprechenden slawischen Materialien, wie er selbst in einem speziellen Artikel ausführt, der auf die Bedeutung eines „semantischen Isomorphismus“ für die Etymologie verweist./8/

Bereits in seinem „Historisch-etymologischen Wörterbuch...“/9/ führte er das ossetische Wort auf eine iranische Vorform **handāna-* zurück, der ein arisches **samdhana-* ‚aufgesetztes (aufgeschweißtes) Stahlstück auf Eisen‘ entsprechen soll. Altindisches *saṃdhana-* hat u.a. wirklich die Bedeutung ‚das Auflegen; aufgesetzter Gegenstand.‘ Nach V. I. Abaev ist osset. *ændon* der Fortsetzer eines skythischen Wortes. Es ist aus den anderen iranischen Sprachen nicht bekannt, wurde aber wohl als „Kulturwort“ in die kaukasischen und finno-ugrischen Sprachen übernommen, vgl. ulychisch *andān* ‚Meißel‘, auch ‚spitz‘, dargisch *šandan* ‚Stahl‘(?), udmurtisch *andan*, Komi *jendon* ‚Stahl‘.

Einen deutlichen Parallelismus zu osset. *ændon* weisen nach V. I. Abaev die slawischen Sprachen auf mit slowen. *nádo*, skr. *nâdo* ‚Stahl‘; slowen. *nâditi*, skr. *nâditi* ‚stählen; Stahl aufschweißen‘; ukr. *nadyty* ‚mit Stahl bedecken‘, russ. dial. *nadit’ (sochu)* ‚die Pflugschar schärfen‘ und russ. folkl. *uklad* ‚Stahl‘./10/ Das zuletzt genannte Beispiel stellte nur eine semantische Entsprechung dar, die vorhergehenden süd- und ostslawischen Fakten aber sind auch Ableitungen von ursl. *dĕ — < *dĕ- < ieur. *dhĕ-, d.h. sie weisen dieselbe Wurzel wie das ossetische Wort auf.

Osset. *fars* ‚Seite‘, digorisch *cæxgun fars* ‚eingesalzenes Seitenstück eines geschlachteten Widders‘ und ursl. dial. **p̄b-ŕsi*, seltener sg. *p̄b-ŕs* ‚Brust des Pferdes‘ —

In V. I. Abaevs Hist.-etym. Wörterbuch fanden wir zahlreiche Fakten, die darauf hindeuten, daß osset. *fars* ‚Seite‘ und seine Ableitungen auch als konkrete Bezeichnung bestimmter Teile des (Tier)körpers auftreten konnten, vgl. osset. dial. (digorisch) *cæxgun fars* ‚eingesalzenes Seitenstück eines geschlachteten Hammels‘/11/; osset. *ævdasarm* ‚Viertel eines geschlachteten Stiers oder Hammels‘, nämlich ‚das Vorderbein mit dem Schulterstück und der Seite‘ < *æd-fars-arm* ‚Vorderpfote mit Seite‘/12/; osset. *færsk*, osset. digorisch *færsk’æ* ‚Rippe‘, das nach V. I. Abaev/13/ ein Derivat von *fars* ‚Seite‘ darstellt und auf **pars(u)-ka* zurückgeführt wird.

Osset. *fars* stellt er begründet zu kurdisch *pârsü* ‚Rippe‘, persisch *pahlu* (< **parθu-* < **parsu*) ‚Seite‘; avestisch *parāsu-*, *pārāsu-* ‚Rippe‘, ‚Seite‘, ai- *paršu-*, ‚Rippe‘, *pārsva-*, ‚Seite‘ und asl. *pr̄bsi*, russ. *persi* ‚Brust‘./14/

Was ursl. *p̄b-ŕsi* pl.; *p̄b-ŕsb* sg. anbelangt, so hat dieses Wort nicht nur die Bedeutung ‚Brust; Frauenbusen; Mutterbrust‘, sondern auch ‚Brust des Pferdes‘, vgl. ukr. *persi*, *persa* auch *pers* ‚Brust (gewöhnlich vom Pferde)‘ sowie eine Reihe von Derivaten z.B. russ. dial. (sibirisch) *papers’* ‚Brustriemen des Pferdes‘; mittelluss. *pap̄brstb̄* = *paperstb̄* ‚Riemen oder Borte des Pferdegeschirrs am untern Teil der Brust des Pferdes‘ (< **pa-p̄brs-tb̄*); russ. dial. (nord-russ.) *perst’* ‚Brust des Pferdes‘ russ. veralt. *napersnik* ‚Brustriemen des Pferdegeschirrs‘; ukr. dial. *spersi* bzw. *sperci* pl. ‚Brust des Pferdes‘; altserb. *pr̄bsine* ‚pectoralia (equi)‘; skr. *pr̄sina* ‚Brustriemen der Reitpferde‘; ukr. *p̄rsni*, -*n’ov* pl. ‚Brust des Pferdes‘; beloruss. dial. *p̄rsci* (auch *pers’ci*) pl.; *pers’c’ni* pl. ‚Brust des Pferdes‘ russ. dial. (um Pskov): *kak p̄bd grud’ijnaj p’erša (u lošadi)* enthält *perša* ‚Brust des Pferdes‘ fem., das außerdem noch allgemein ‚Brust‘ bedeutet‘./15/

Auch das nach unserer Ansicht aus dem Slawischen ins Litauische übernommene/16/ *piršys* nom. pl. hat vor allem die Bedeutung ‚Brust der Pferde‘;

‚vorderer Teil der Brust der Pferde‘/17/, man vgl. noch lit. *piršingas* ‚mit breiter, schöner Brust (von Pferden)‘ und lit. dial. (Alksnėniai) *piršininkai* pl. ‚Teil des Zugriemens, der über die Brust (des Pferdes) verläuft‘.

Zu den semantischen Beziehungen zwischen ‚Rippe‘ und ‚Brust‘ vgl. osset. *riw, rew* ‚Brust‘ das von V.I. Abaev/18/ zu den germanischen und slawischen Wörtern für Rippe gestellt wird, u. a. zu angels, *ribb*, dtsh. *Rippe*, asl. russ. *rebro*.

Die spezielle Bedeutung von ursl. **p_hrsi* ‚Brust des Pferdes‘ wurde bisher bei den wortgeschichtlichen und etymologischen Untersuchungen nicht genügend beachtet. Sie stellt ebenso wie osset. *fars* in oben angeführtem *cæxgun fars* sowie in *ævdasarm* eine Übertragung auf den Tierkörper dar. Gleichzeitig wird der bedeutungsmäßige Zusammenhang von ‚Seite‘ (= russ. *bok*) — ‚Rippe‘ — ‚Vorderteil des Tierkörpers‘ — ‚Brust‘ erhellt, wozu das ossetische Sprachmaterial wertvolle Fakten liefert.

II. Typologische semantische Parallelen zwischen Ossetisch und Slawisch (und z. T. Baltisch)

1. Osset. *axwen* — russ. dial. *vologa* und lit. dial. *valgà*

Nach Ausweis von V. I. Abaev/19/ gibt es im Ossetischen ein spezielles Wort für ‚Beikost oder flüssige Zukost (zum Brot)‘ nämlich *axwen*. Die verneinte Form *anaxwenæj* bedeutet ‚ohne Beikost, ohne Zutaten, nur Brot‘.

Aus alt- und vor allem dann mittlrussischen Schriftdenkmälern ist ebenfalls ein spezielles Wort für ‚flüssige (fette) Nahrung, Beikost, Zutaten zur Speise‘ bekannt — *vologa*, das auch seine Fortsetzer in den nordrussischen Mundarten hat. Dem obenerwähnten oss. *anaxwenæj* entspricht in seiner Semantik russ. dial. *bez vologi* im Beispielsatz: *Poedite choť raz i bez vologi-, t. e. vsuchomjatku, napr. chleba s sol’ju* ‚Eßt doch wenigstens ein Mal ohne (fette) Beikost, d. h. trocken, z. B. (nur) Brot mit Salz‘. Auch lit. *pavilgà, pavalgà* hat die Bedeutungen ‚Beikost; Zukost; Zutaten zu Speisen wie Fleisch, Fett, Milch, Eier, Käse und dergleichen‘ und stellt ein wichtiges Glied in der Bedeutungsentwicklung: ‚Flüssigkeit‘ (ksl. *vлага*) ‚flüssige (fette, weiche) Speise‘ (russ. dial. *vologa*; lit. *pavilgà*) ‚Essen, Speise‘ (lit. *valgis*; vgl. noch *válgyti* ‚essen‘) dar./20/

2. Osset. *dæstæg* ‚Bündel Ähren, das man (bei der Ernte) mit der Hand umfaßt‘ und ursl. **gъ ѣstъ* ‚innere (hohle) Hand; Handvoll; was man mit einer Hand umfaßt (Getreide, Flachs, Hanf)‘

Von besonderem Interesse ist hier die Parallelität der Bedeutungsentwicklung ‚Hand‘ → ‚Getreide- oder Flachsbüschel, das man mit der Hand umfaßt‘. Sie läßt sich für osset. *dæstæg* ermitteln im Vergleich zu pers. *dasta* ‚Hand‘, Pehlewi *dastak* ‚Handvoll; hohle Hand‘, wobei V. I. Abaev/21/ darauf hin weist, daß das ossetische Wort infolge des anlautenden d- aus dem Persischen entlehnt ist.

Als Vergleichsmaterial zieht V. I. Abaev noch georg. (mochewisch) *xeluli* ‚eine ganze Handvoll Ähren‘ und georg. *xeli* ‚Hand‘ sowie tschanisch *xēši* ‚Handvoll; hohle Hand; kleine, Garbe‘ und *xē* ‚Hand‘ heran.

Denselben semantischen Übergang von einem Körperteilnamen (‚Hand‘, ‚Handteller‘, ‚hohle Hand‘) auf ‚das, was man mit einer Hand umfaßt (Getreide, Flachs, Hanf)‘ beobachten wir im Falle von ursl. **gъrstъ*, vgl. slowen. *grst* fem., altschech. *hrst*,-i, ns. *gjarsc*,-i, beloruss. dial. *gorst*‘, russ. *gorst*‘ ‚eine Handvoll‘; skr. *grst* fem. ‚die hohle Hand (zum Fasset hingehalten)‘, *grsti* fem. pl. ‚beide flache Hände‘, ns. *gjarsc*,-i ‚Handteller, -fläche‘, poln. *garsc*,-ci, ‚die hohle Hand‘ russ. *gorst*‘,-i ‚Höhlung der inneren Handflächen‘ einerseits sowie tschech. dial. *hrst*‘,-e ‚Bündel Hanf, Flachs‘; slowak. *hrst*‘,-ti ‚kleiner Haufen (Hocke), zu dem das abgemähte Getreide bzw. der Hanf und der Flachs zusammengelegt werden‘; poln. dial. *gaść*, *gászć*, *garzść* ‚Bund, Büschel, Garbe; Schwaden; ukr. dial. *gorst*‘ ‚Bündel Hanf oder Flachs‘, beloruss. dial. *gorst*‘ ‚Hanfbüschel‘, und russ. dial. *gorst*‘ ‚Büschel, Wisch, Schwaden; Armvoll Getreide, Büschel Hanf; Bündel ausgerauften Flachses; kleine Flachsgarbe‘./22/

3. Osset. *mydgæs* ‚Imker‘, eigentl. ‚Honigwächter‘ und beloruss. dial. *padgljadac*‘ *pčol*, bulg. dial. *gledam fčili* ‚Bienen halten‘

Osset. *mydgæs* ‚Imker; Bienenzüchter‘ ist zusammengesetzt aus osset. *myd* ‚Honig‘ und *gæs* ‚Wächter‘, wobei letzteres von V. I. Abaev /23/ zu *kæsyn* ‚schauen‘ gestellt wird.

Das Verb für ‚schauen‘ ist auch in einigen slawischen Wendungen enthalten, die zum einen ‚Bienen züchten, halten‘ bedeuten wie bulg. dial. *gledam fčili* /24/ zum anderen aber wohl die Bedeutung ‚Honig ausnehmen‘ haben: vgl. beloruss. dial. *padgljadac*‘ bzw. *padgljadavac*‘ *pčol*, zu dem als synonymische die Wendungen *padabrac*‘ *pščoly* bzw. *padladzac*‘ *pčol* auftreten./25/

4. Osset. *madard*, *madiard* ‚völlig nackt‘ und der russ. Phraseologismus
v čëm mat' rodila ‚splitternackt‘

V. I. Abaev fixiert in seinem „Historisch-etymologischen Wörterbuch der ossetischen Sprache“/26/ das Kompositum osset. (Iron-Dialekt) *madard* (*bæġnæg*) bzw. osset. (digorisch) *madiard* (*bæġnæg*) ‚völlig ausgezogen, ganz nackt, splitternackt‘. Im erklärenden Teil weist er daraufhin, daß das zusammengesetzte Wort aus *mad* ‚Mutter‘ und *aryn* ‚gebären‘ besteht. Das in Klammern stehende *bæġnæg* hat einfach die Bedeutung ‚nackt‘, es ist mit russ. *nagoj*, dtsh. *nackt* über die iran. Vorform **maġna-ka*, die gemeinarisches **nagna* widerspiegelt, urverwandt./27/ Wie die Beispiele zeigen, wird wahrscheinlich *madard* bzw. *madiard* in der Verknüpfung mit *bæġnæg* gebraucht, vgl. (*fyd*) *læppūjy wæla zygmæ skodta*, *madard bæġnæg æj skodta* ‚(der Vater) führte den Jungen ins obere Geschoß und zog ihn splitternackt aus‘.

Der russische Phraseologismus *v čëm mat' rodila* ‚splitternackt‘, der auch in der Variante *kak mat' rodila* auftritt/28/, enthält die Komponenten „Mutter“ und „gebären“ sowie eine zusätzliche Komponente, die variiert (*v čëm* bzw. *kak*). Es entsprechen demnach einander die Bedeutungen der Stämme des ossetischen Kompositums und die Bedeutung der autosemantischen Komponenten des russischen Phraseologismus. Auf Grund der verschiedenen Strukturen (Kompositum im Ossetischen, idiomatische Wendungen im Russischen; Gebrauch mit dem Wort für ‚nackt‘ im Ossetischen) nehmen wir eher eine Parallelbildung, die auf dem gleichen Bild beruht, als Entlehnung von der einen in die andere Sprache an. Dennoch ist diese interessante Übereinstimmung vielleicht damit noch nicht ganz erklärt.

Die angeführten Beispiele zeigen, daß die etymologische Forschung am Material solcher Sprachen wie des Ossetischen einerseits und des Slawischen andererseits eine Reihe interessanter Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen zutage fördert, die verschiedener Natur sind, aber bei der weiteren Erforschung dieser Sprachen beachtet werden sollten.

ANMERKUNGEN

1. V.I. ABAEV, *Istoriko-étimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka*, t. 1, *A-K*; Moskva-Leningrad 1958; t. II, *L-R*, Leningrad 1973 (im weiteren abgekürzt IESOJ, I bzw. IESOJ, II).
2. IESOJ, I, S. 27.
3. Zu allen diesen i-Stämmen vgl., Verf. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen unter besonderer Berücksichtigung des Slawischen, Dissertation B.Leipzig 1977 (Maschinenschriftliches Manuskript).
4. Vgl. ABAEV, IESOJ, I, S. 41.

5. Ètimologičeskij slovar' slavjanskich jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond (im weiteren abgekürzt: ESSJ), Pod redakciej členu-korrespondenta AN SSSR *O. N. Trubačeva*, Moskva 1974, vypusk 1, S. 63.
6. Vgl. ESSJ, I, S. 61-63.
7. Vgl. Verf. Orolj složnyx slov i sootnositelnyx s nimi sočetanj pri opredelenii semantiki drevneslavjanskogo slova. Sovetskoje slavjanovedenie, 6, Moskva 1977, S. 93-95; sowie *d e r s*. Lettischslawische Übereinstimmungen aus der Terminologie der Waldimkerei (erscheint in der Festschrift für Prof. Dr. J. Safarewicz in der Zeitschrift „Acta Baltico-Slavica“).
8. V. I. ABAEV. Kak russkoe uklad ‚stal‘ pomoglo vyjasnit' ètimologiju osetinskogo œndon ‚stal‘. Ètimologičeskije issledovanija po russkomu jazyku, vyp. 1, Moskva 1960, S. 73-79.
9. IESOJ, I, S. 156-157.
10. Das russ. Wort *uklad* ‚Stahl‘ kommt in folkloristischen Texten sowie in Werken mit einem archaisierenden Stil vor, vgl. Chočeš', kol'čugu moju bulatna uklada? (Zlobin. Stepan Razin).
11. IESOJ, I, S. 423.
12. IESOJ, I, S. 195.
13. IESOJ, I, S. 453.
14. IESOJ, I, S. 423.
15. Vgl. Verf., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen...
16. Vgl. Verf. Zur Frage der frühen Lehnbeziehungen zwischen Slawisch und Baltisch. „Baltistica“, Bd. IX, H. 1, Vilnius 1973, S. 59-65.
17. Vgl. E. FRAENKEL. Litauisches etymologisches Wörterbuch S. 598; *Dabartinės lietuvių kalbos žodynas*, 2. Aufl., Vilnius 1972, S. 567. — Man vgl. folgenden Beispielsatz: *Jau-no arkljo piršys dreba nū sunkaus vežimo* ‚Die Brust des jungen Pferdes zittert vom schweren Wagen‘.
18. IESOJ, II, S. 414-415.
19. IESOJ, I, S. 93.
20. Vgl. dazu unseren Artikel „Eine balto-slawische semantische Sonderübereinstimmung (Zu ostlit. *valgā*: russ. dial. *vologa* und weiteren Entsprechungen)“, der in Nr. 2 der Zeitschrift „Ponto-Baltica“ (Florenz) erscheinen wird.
21. IESOJ, I, S. 360-361.
22. Vgl. Verf. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen...
23. IESOJ, II, 136.
24. *S. E. I. ZELENINA*, Terminy pčelovodstva u bessarabskich bolgar, V pamet na professor Stojko Stojkov (1912-1969), *Ezikovedski izsledvanija*, Sofija 1974, S. 282.
25. *Ju. F. MACKEVIČ*, Leksika pčaljarstva. In: *Z narodnaga sloūnika*. Minsk 1975, S. 213.
26. IESOJ, II, S. 63.
27. IESOJ, I, S. 247.
28. Vgl. *Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka*, t. 6, Moskva-Leningrad 1977, Sp. 715.

Sonja FRITZ

EIN FRÜHES OSSETISCHES SPRACHDENKMAL

0.1. Als man vor fast zweihundert Jahren anfing, sich wissenschaftlich mit Geschichte, Sprache und Kultur der im zentralen Kaukasusgebiet¹ lebenden Osseten auseinanderzusetzen, ließ sich aufgrund der sprachlichen Fakten zwar bald nachweisen, daß es sich um ein iran. Volk handelte², andererseits zeigte sich jedoch, daß die Osseten von der übrigen iran. Welt, vor allem dem pers. Kulturraum, isoliert dastanden. Das betraf z.B. den Bereich der Religion: Es hatte nämlich den Anschein, daß die Osseten nicht eindeutig einem bestimmten Glauben angehörten; vielmehr bot sich den Beobachtern eine bunte Palette von Bräuchen dar, die sowohl auf christliches und islamisches Kulturgut wie auch auf eine, ungebrochene Tradition heidnischer Gepflogenheiten zu verweisen schien. August v. Haxthausen, der den Kaukasus in der Mitte des 18.Jh.s bereiste, äußert sich dazu folgendermaßen: „Der größere Theil der Osseten sind nominell Christen und halten sich einigermaßen zur griechischen Kirche. Die an der tscherkessischen Grenze wohnenden unabhängigen Osseten halten sich auch wol zu den Mohammedanern, aber beide Religionen sind nicht tief eingedrungen; sie sind sämmtlich noch halbe Heiden, ein kleiner Theil sind auch wirklich nominell weder Christen noch Mohammedaner, sondern wirkliche Heiden...“³.

0.2. Mangels einer direkten oss. Überlieferung⁴ sind unsere Erkenntnisse über den genauen Zeitpunkt und den Verlauf der Christianisierung bzw. Islamisierung des Volks äußerst lückenhaft.

Heute geht man davon aus, daß die Osseten im Laufe ihrer Geschichte zweimal christianisiert wurden: Einige spärliche Hinweise in georg. Quellen⁵ deuten darauf hin, daß ihre Vorfahren bereits in alan. Zeit, bald nach der Christianisierung Georgiens (5./6. Jh.), mit dem Christentum in Berührung gekommen sind; dabei dürften eben die Georgier vermittelt haben. Von einer relativ weiten Verbreitung der christlichen Religion im Laufe der folgenden Jahrhun-

derte zeugen zahlreiche kirchliche Bauten, die v. a. aus dem 9. bis 13. Jh. stammen. Ein jähes Ende fand diese erste Phase des Christentums bei den Osseten durch die Mongoleninvasion Ende des 13. Jh.s, was ein starkes Wiederaufleben alter heidnischer Bräuche und die Umwandlung vieler Kirchen in heidnische Kultstätten zur Folge hatte.

Die zweite Welle der Christianisierung erfolgte ab dem 18. Jh. von Rußland aus, nachdem das Ossetengebiet in den Besitz des Zarenreichs übergegangen war⁶.

0.3. Heute bekennt sich der Großteil der Osseten zum Christentum⁷, während der erst gegen Ende des 17. Jh.s durch kabard. Vermittlung eingedrungene Islam⁸ vergleichsweise geringe Verbreitung genießt⁹. Daneben sind aber bis heute ältere Glaubensinhalte und heidnisches Brauchtum der Osseten greifbar geblieben, die weder das Christentum noch der Islam ganz verdrängen konnten; vielmehr existierten offensichtlich christliche bzw. islamische und heidnische Rituale durch die Jahrhunderte nebeneinander her, so daß sie sich im Laufe der Zeit immer mehr vermischten. Tatsächlich konnten Christentum und Islam keine wirklich tiefgehenden Umwälzungen im „Volks glauben“ der Osseten bewirken; sie lieferten vielfach lediglich neue äußere Formen für althergebrachte Glaubensinhalte animistischer und totemistischer Art¹⁰.

0.4. Diese Verschmelzung von Christentum bzw. Islam mit heidnischem Kulturgut läßt sich zum geringen Teil auch heute, noch beobachten, so z.B. anhand der Gestaltung von christlichen und islamischen Feiertagen oder bei Begräbnisritualen. Die Namen einiger christlicher Heiliger sind oft nicht viel mehr als eine Maske für heidnische Gottheiten und Dämonen, die so unter dem „Deckmantel“ des Christentums weiter verehrt werden¹¹.

Die bedeutendsten Quellen, die über das authentische oss. Brauchtum Aufschluß geben, sind jedoch Originaltexte, die von Wissenschaftlern und Reisenden im letzten Jahrhundert aufgezeichnet wurden. Dies betrifft v. a. die auf Begräbnissen rezitierten sog. Bæxfældisyn-Texte¹², die die schamanistische Tradition der ‘Roßweihe’ widerspiegeln. Eigentliche Gebetstexte, bei denen es sich nicht um Übersetzungen zu missionarischen Zwecken handelt – dies sind v.a. die Werke Ivan J a l g u z i d z e s aus dem Anfang des 19. Jh.s (s.o. Anm.4) – sind demgegenüber kaum nachweisbar. Umso erstaunlicher ist es deshalb, in dem sonst wenig informativen Bericht von J. G. K o h l, der in der ersten Hälfte des vergangenen Jh.s den Kaukasus bereiste, auf ein kurzes Gebet in oss. Sprache zu stoßen¹³. K o h l, der selbst offenbar des Oss. nicht mächtig war, bediente sich bei der Wiedergabe des Texts einer zwar sehr unbeholfenen, aber dennoch phonetisch gut deutbaren lat. Graphie und fügte auch eine impro-

visierte, manchmal fehlerhafte dt. Übersetzung bei. Leider gibt er weder an, wo, wann und bei welcher Gelegenheit er dieses Gebet aufgenommen hat, noch, wer der oss. Übermittler des Texts war. Er schildert lediglich, in welcher Weise die Rezitation vor sich ging:

„Die Quintessenz ihrer ganzen Religion ist in einem merkwürdigen Gebete enthalten, welches sie vor der festlichen Mahlzeit an solchen Feiertagen sprechen. Es stellt sich dabei der Aelteste der Versammlung in die Nähe der Kessel, nimmt ein Stück Fleisch und einen großen Knochen aus demselben hervor und sagt die Worte, den Knochen in der einen, das Fleisch in der anderen Hand und mit dem Gesichte nach Süden gewendet, laut her. Das Merkwürdigste in diesem Gebete ist, daß nichts von der heiligen Dreieinigkeit darin vorkommt, ferner, daß gleich nach Gott der heilige Georgius angerufen wird, dann die Mutter Gottes, dann die Erzengel, dann auf einmal der Prophet Elias, und am allerletzten Ende erst Christus, sowie endlich, daß sie darin auch die Berggipfel, von denen sie glauben, daß die Heiligen darauf wohnen, und die Bergkirchen eben so um Erbarmung anflehen wie die Engel und Heiligen selbst...“ (K o h l 1847, 196).

1.1. Die Sprache dieses „Gebets“, das eigentlich nur eine Ansammlung von Beschwörungsformeln enthält, ist in stilistischer und syntaktischer Hinsicht eher primitiv, enthält jedoch eine Fülle von Informationen zur Mythologie und Dialektologie.

Das Gebet repräsentiert nicht nur einen der ältesten oss. Originaltexte, sondern es ist außerdem auch eines der wenigen Zeugnisse in der „altdžavischen“ oder „altdvalischen“ Mundart¹⁴, in der auch die bereits erwähnten Übersetzungen von Ivan J a l g u z i d z e abgefaßt sind. Auf sprachliches Material dieser Mundart stützte sich ferner auch Georg R o s e n in seiner 1846 erschienenen Studie zum Ossetischen¹⁵.

In Morphologie und Syntax unterscheidet sich das Džav. nicht vom heute als Schriftsprache fungierenden iron. Dialekt; allerdings weist es, bedingt durch seine geographische Verbreitung, erheblich mehr georg. Lehnwörter auf als die Standardsprache¹⁶.

1.2. Die Unterschiede, die das Džav. von den übrigen nord- und südiron. Mundarten deutlich abgrenzen, sind rein phonetischer Art. Während der džav. Vokalismus sich praktisch nicht von dem aus dem schriftsprachl. Iron. bekannten unterscheidet, gibt es bedeutende Divergenzen im Konsonantismus, und zwar in der Behandlung der Affrikaten und Sibilanten; im älteren Džav., wie es bei J a l g u z i d z e und Rosen belegt ist, gilt dies auch für die Realisation der velaren Plosive¹⁷.

Bei der Behandlung der Velare *k k' g* vor *i e y* verhält sich das Altdžav. noch wie der archaischere nordoss. Dialekt des Digor. (*k k' g*), während im Neudžav. dieselbe Palatalisierung wie im Iron. eingetreten ist (*č č' ž*). Möglicherweise wurde diese Entwicklung, die sich im Laufe von ca. 70 Jahren ausnahmslos durchgesetzt hat, durch den Einfluß der Schriftsprache beschleunigt¹⁸.

Die iron./digor. Affrikaten *c ž¹⁹ c'* haben im Altdžav. die Entsprechungen *č ž č'*, die sich im Neudžav. zu *š ž č'* weiterentwickelt haben. Auch bei altdžav. *č' >* neudžav. *c'* ist eine Beeinflussung durch die Standardsprache wahrscheinlich.

In der Behandlung der Sibilanten /s z/ stimmen Alt- und Neudžav. wieder mit dem Digor. überein: [s z]; demgegenüber hört man in der Schriftsprache sowie in den nordiron. Mundarten überwiegend [ś ź].

2. Im folgenden konfrontiere ich den bei K o h l (K) abgedruckten Text mit einer phonologischen Interpretation im Sinne der altdžav. Mundart, einer dt. Übersetzung sowie einem kurzen sprachwissenschaftlichen Kommentar; mit (H) werden Varianten bezeichnet, die sich in dem Wiederabdruck des Textes bei H a x t h a u s e n finden²⁰. Eine versuchsweise Wiedergabe des Gebets in heutiger schriftsprachlicher Orthographie ist im Anhang angefügt.

K: „Čtschaw tabudon, čtschawna čtscho fod, da chorsach nen rad!“
Xwyčaw, tabu dæwæn! Xwyčawæn æxčon fæwæd! Dæ xorzæx nyn radd!
 ‘Gott, Ehre sei dir! Möge es Gott gefällig sein! Erweise uns deine Gnade!’

xwyčaw ist die altdžav. Entsprechung von (iron.) *xwycaw*/(digor.) *xucaw* ‘Gott’ (s. MiWb III, 1617²¹); das Wort ist etym. unklar. Inakzeptabel ist die von A b a e v 1960, 17²² vorgeschlagene Kontaminierung „eines kaukas. Elements *xuc* mit iran. **xutāw*“, da die Annahme eines solchen „Elementes *xuc*“ in der Bedeutung ‘Gottheit, göttlich’ keine Berechtigung hat²³. – *tabu* ‘gebetsmäßige Hinwendung zu Gott, Gottesverehrung’; s. IES III, 218. – *dæwæn* ‘dir’; Dat. des Pers.-Pron. 2.Ps.Sg. zu Nom. *dy/du*. *dæw-* ist der obl. Stamm; s. IES I, 378. – *xwyčawæn* Dat.Sg. zu *xwyčaw*, s.o. – *æxčon* altdžav. zu *æxcon/æxcæwæn* ‘gefällig, angenehm’; s. IES I, 218. – *fæwæd* ‘es werde’; 3.Ps.Sg.Impv. zu *fæwyn* ‘werden’, der präfig. pfv. Form zu *wyn/un* ‘sein’; s. IES I, 465f. – *dæ* ‘dein’; Kurzform des Poss.-Pron. 2.Ps.Sg. (indekl.), s. IES I, 350. – *xorzæx* ‘Gnade, Güte, Wohltat’; dig. *xwarzænxæ* (MiWb III, 1579); aus *xorz/xwarz* ‘gut’ (s. B i e l m e i e r 1977, 254²⁴) + evtl. **æx* ‘gut’ (so IES I, 217 mit Vorbehalt). – *nyn* ‘uns’; Dat. der 1.Ps.Pl. des enkl. Pers.-Pron.; s. IES II, 164 unter

næ. – *radd* ‘gib, erweise’ 2.Ps.Sg.Impv. zu *raddyn* ‘geben, erweisen’; s. IES II, 339f. – „*xwycaw, tabu dæwæn*“ und „...*æxcon fæwæd*“ sind als formelhafte Wendungen auch in den in der ersten Hälfte dieses Jh.s aufgezeichneten „Hochzeitsliedern“²⁵ belegt.

K: „Wasch Kirgi chtschonda fod, da chorsach nen rad!“
Waš-Kirgi, æxcon dæ fæwæd! Dæ xorzæx nyn radd!
‘Hlg. Georg, möge es dir gefällig sein! Erweise uns deine Gnade!’

waš = iron. *wac* ‘Gottheit, Heiliger; hlg. Kunde’ u.ä. (MiWb III, 1266); im Nartenepos in Namen belegt (m. PN *Wac*, f. PN *Wacyruxs* u.a.). A b a e v 1960, 14 (s. Anm. 22) stellt das Wort zu avest. *vāč-*, das ebenfalls als Namensglied belegt ist (f. PN *Arənanuuāčī-* und *Sanjhauuāčī-*; s. M a y r h o f e r 1979, I 20 und 74)²⁶. *wac* in Verbindung mit Heiligennamen ist häufig, vgl. *Wac-Illa*, *Wac-Nikkola*, *Was-Totur* (hlg. Elias, Nikolaus, Theodor). – Zu den Funktionen des hl. Georg bei den Osseten s. M i l l e r 1882, 239ff. (s. Anm. 3). – *dæ* Gen./Abl./Iness. des enkl. Pers.-Pron. 2.Ps.Sg.; A b a e v (briefl.) schlägt für den ersten Beleg des Wortes im vorl. Satz eine Korrektur in *dyn* ‘dir’ vor.

K: „Deda Chtisa tabudon da chorsach ned(!) rad!“
Deda xvtisa, tabu dæwæn! Dæ xorzæx nyn radd!
‘Mutter Gottes, Ehre sei dir! Erweise uns deine Gnade!’

deda xvtisa = georg. *deda γvtisa* ‘Mutter Gottes’ (*γvtisa* < *γmrtisa* ist Gen. zu *γmerti* ‘Gott’; s. T s c h e n k e l i Wb I, 299 bzw. II, 1638)²⁷; der eigtl. oss. (iron.) Name der Gottesmutter ist *Madymajræm* ‘Mutter Maria’²⁸.

K: „Michael, Gabriel tabudon da chorsach nen rad!“
Mikael-Gabriel, tabu dæwæn! Dæ xorzæx nyn radd!
‘Michael-Gabriel, Ehre sei dir! Erweise uns deine Gnade!’

Die Erzengel Michael und Gabriel werden im christl. Kaukasusgebiet häufig gemeinsam angerufen; s. dazu IES II, 138 unter *Mykalgabyrtæ*.

K: „Ilia tabudon, chtschonda fod da chorsach nen rad!“
Ilia, tabu dæwæn! Æxcon dæ fæwæd! Dæ xorzæx nyn radd!
‘Elias, Ehre sei dir! Möge es dir gefällig sein! Erweise uns deine Gnade!’

Dieser Heilige ist im oss. Volksglauben mit allen Attributen eines heidnischen Donnergottes versehen; s. dazu M i l l e r 1882, 239ff. (s. Anm.3). – Die Zeile fehlt bei H.

K: „Chochodschar da chorsach nen rad!“
Xoxy žwar, dæ xorzæx nyn radd!
‘Bergheiligtum, erweise uns deine Gnade!’

xoxy Gen.Sg. zu *xox/xonx* ‘Berg’; etym. unklar (vgl. B i e l m e i e r 1977 [s. Anm. 24], 255); *žwar* ist altdžav. Entsprechung von *žwar/žwaræ* ‘Kreuz, Heiligtum, Gottheit’ aus georg. *žwari* ‘Kreuz’ (s. IES I, 401f.).

K: „Naruasch Kirgi, tabudon da chorsach nen rad!“
Nary Waš-Kirgi, tabu dæwæn! Dæ xorzæx nyn radd!
‘Hlg. Georg von (der Siedlung) Nar, Ehre sei dir! Erweise uns deine Gnade!’

Nary Gen. oder Iness. zu *Nar* (Name eines Dorfs im zentralen Kaukasus auf nordoss. Gebiet).

K: „Brussabseli tchisadta tschidawgita bidiss udonima tšchon de fod da chorsach nen rad tabudawen!“
Brutsabzeliŷy çy zædtæ, çy dawgytæ wydis (?), udonimæ æxçon dæ fæwæd! Dæ xorzæx nyn radd! Tabu dæwæn!
‘Engel und Erzengel vom Brutsabzeli! Es sei dir mit ihnen angenehm! Erweise uns deine Gnade!’

Brutsabzeliŷy Inessiv zu *Brutsabzeli*, georg. *Brutsabjeli*, Name eines 3670 m hohen Bergs im südlichen Kaukasushauptkamm, der in der Mythologie als „Zufluchtsort der Geschwänzten“ gilt (vgl. den „Brocken“ im Harz). Der heutige oss. Name des Bergs ist *Burxox* ‘gelber Berg’²⁹. Der Name *Brutsabzeli* ist im oberimeret. Dialekt des Georg. verankert; seine Etymologie ist unklar. Im Hinterglied wohl georg. *sabzeli* ‘Rumpf des Geflügels, Rücken des Huhns (vom Schwanz bis zum Hals)’ (T s c h e n k e l i Wb II, 1107); eine semant. Umdeutung in ‘Bergrücken’ ist denkbar. Im Vorderglied könnte evtl. der m. PN *Brut-* enthalten sein (Stammvater der oss. Sippe *Bryt’aty*, deren Name im Georg. als *Brutasšvili* belegt ist³⁰). *Brussabsdi* bei H ist Druckfehler. – *çy* ‘was’ altdžav. für *cy/ci*; s. IES I, 319. – *zædtæ* Nom.Pl. zu *zæd/izæd* ‘Engel’; MiWb I, 552. – *dawgytæ* Nom.Pl. zu *dawæg/ idawæg* ‘Seraphim, Schutzengel’; s. IES I, 348f. Die Schreibung mit <g> zeigt erwartungsgemäß den noch nicht affrizierten Velar (vgl. iron. *dawžytæ*). Die beiden Bezeichnungen für Engel kommen häufig miteinander vor; vgl. IES ib. – Die Konstruktion *çy* + Nom. + *çy* + Nom. ist am besten durch einen Relativsatz wiederzugeben: ‘Erzengel und En-

gel, welche ...'. – Das nächste Wort, bei K und H <bidiss>, ist problematisch. A b a e v (briefl.) sieht darin *badync* 'sie sitzen' (zu *badyn* 'sitzen'; IES I, 230); dies läßt sich jedoch mit der Schreibung nur schwer in Einklang bringen. Lautlich besser paßt *wydis*, 3.Ps.Sg.Prät. zu *wyn* 'sein'. Prädikate im Sg. zu Subjekten im Pl. sind im Oss. nicht unüblich³¹. Problematisch bleibt dabei allerdings, daß *wydis* eine Präteritalform ist, also etwa 'Engel und Erzengel, welche im B. waren...'³². – *udonimæ* 'mit ihnen'; ältere Form von *wydonimæ*, Komitat, der 3.Ps.Pl. des Dem.-Pron. *wyj* 'jener' (Nom.Pl. *wydon*).

K: „Kuwenniki aguriss Monachtscho fod Gurschistani, tshi Djworta iss chtschonde fod chorsachne radtut u adami chorsachne rad tut!“
Kuvyn ki agurys, umæn æxčon fæwæd! Gur žystony čy žworttæ is, æxčon dæ fæwæd! Xorzæx nyn raddut! Adæmæn xorzæx raddut!
 'Wer (von den Gottheiten) ein Gebet wünscht, dem sei es zu Gefallen! Gottheiten, die in Georgien sind, möge es ihnen zu Gefallen sein! Erweist uns Gnade! Erweist dem Volk Gnade!'

kuvyn (=iron.; digor. *kovun*) Inf. 'beten'; IES I, 603. – *agurys* 'du wünschst'; 2.Ps.Sg.Präs. zu *agurn/agorun* 'fordern, wünschen, suchen'; IES I, 36. – *umæn* ältere Form von *wymæn*; Dat.Sg. des Dem.-Pron. *wyj* 'jener'; s.o. – *Gur žystony* Iness. zu *Gur žyston*, iron. *Gwyr žyston* 'Georgien'; s. IES I, 532. – *žworttæ* 'Gottheiten, Heiligtümer'; Nom.Pl. zu *žwar*, s. o. – *raddut* 2.Ps.Pl.Impv. zu *raddyn*; s. o. – *adæmæn* 'dem Volk'; Dat. zu *adæm*, s. IES I, 29.

H: „Christu, da chorsach nenrad!“
Krysti, dæ xorzæx nyn radd!
 'Christus, erweise uns deine Gnade!'

Dieser Satz fehlt bei K; offenbar hat H die – mir nicht vorliegende – erste Auflage des Buchs benutzt. Bemerkenswert ist die Schreibung <Christu>; zu erwarten wäre *Krysti* ≈ mod. iron. *Čyrysti*.

K: „Restmehenech chtschan(!) namitanenen ssrestmaketa budon!“
Ræstmægænæg xwyčaw, næ mitæ nyn ysrestmæ kæn! Tabu dæwæn!
 'Allesrechtmachender Gott, bring uns unsere Angelegenheiten in Ordnung! Ehre sei dir!'

ræstmægænæg 'rechtmachend'; *ræstmæ* ist ein lexikalisiertes Direktiv zu *rast* 'recht, richtig' (s. IES II, 379), *ræstmægænæg* < *ræstmæ* + *kænæg*, Part.Präs.

von *kæyn* ‘machen’. – *næ mitæ* ‘unsere Angelegenheiten’; *mi/miwæ* ‘Ding, Angelegenheit’, s. IES II, 112f. – *ysræstmæ kæn* ‘mach Ordnung!’; 2.Ps.Sg.Impv. des komplexen Verbs *ræstmæ kæyn* (s.o.); das Präfix vor dem Nominalteil des Verbs zeigt den pfv. Aspekt an.

3. Es kann zur Zeit nicht geklärt werden, ob es sich bei diesem Gebet um einen Text handelt, der immer zusammenhängend rezitiert wurde, oder ob man, je nach Gelegenheit, die einzelnen Beschwörungsformeln beliebig miteinander kombinieren und ausweiten konnte. Als Indiz für die zweite Annahme könnte man die wenigen einzeln vorkommenden Heiligen- und Gottesanrufungen in den unter Anm. 25 zitierten oss. „Hochzeitsliedern“ werten.

Eine vollständige Auswertung und Interpretation des vorliegenden Gebets wird erst dann möglich sein, wenn man entsprechende Texte auch bei den anderen Kaukasusvölkern aufgefunden gemacht, ausgewertet und miteinander verglichen hat; dies bleibt ein Desiderat für die Zukunft.

4. Anhang: Der Text in heutiger Orthographie:

Хуыцау, табу дæуæн! Хуыцауæн æхцон фæуæд!

Дæ хорзæх нын радд!

Уастырджы, æхцон дæ фæуæд! Дæ хорзæх нын радд!

Деда хвтиса, табу дæуæн! Дæ хорзæх нын радд!

Мыкалгабыртæ, табу дæуæн! Дæ хорзæх нын радд!

Илья, табу дæуæн! Æхцон дæ фæуæд! Дæ хорзæх нын радд!

Хохы дзуар, дæ хорзæх нын радд!

Нары Уастырджы, табу дæуæн! Дæ хорзæх нын радд!

Брутсабзелийы, цы зæдтæ, цы дауджытæ уыдис, уыдонимæ æхцон дæ фæуæд!

Дæ хорзæх нын радд! Табу дæуæн!

Кувын чи агурис, уымæн æхцон фæуæд! Гуырдыстони цы дзуортæ ис, æхцон дæ фæуæд! Хорзæх нын раддут! (Нæ) адæмæн хорзæх раддут!

Чырысти, дæ хорзæх нын радд!

Рæстмæгæнæг хуыцау, нæ митæ нын ысрæстмæ кæн! Табу дæуæн!

NOTIZEN

¹ In der UdSSR: Nordoss. ASSR innerhalb der RSFSR; Südoss. AO.

² Dies erkannte als erster offenbar Julius v. K l a p r o t h; s. K l a p r o t h 1812, 66ff. = Reise in den Kaukasus und nach Georgien, Bd. I, Halle-Berlin.

³ H a x t h a u s e n 1856, 17ff. = A.v. H a x t h a u s e n: Transkaukasien, Bd. 2, Leipzig (Nachdr. Hildesheim 1985); s. weiter auch: G ü l d e n s t ä d t / K l a p r o t h 1834, 140 = J. A. G ü l d e n s t ä d t / J.v. K l a p r o t h: Beschreibung der Kaukasischen Länder, Berlin; M i l l e r 1882, 237ff. = V. F. M i l l e r: Osetinskie ètjudy, t. II, Moskva; K a l o e v 1971, 235ff. = B. A. K a l o e v: Osetiny, Moskva (2. Aufl.).

⁴ Das Oss. verfügt erst seit etwas über 100 Jahren über ein Schrifttum im eigentlichen Sinn. Als entscheidend für die Begründung der oss. Lit.-Spr. auf der Basis des iron. Dialekts gilt das Werk des Dichters Xetægkaty K'osta (russ. Kosta Xetagurov; 1859-1906). Aus der „vorliterar“. Zeit liegen mit Ausnahme einiger weniger Übersetzungen von kirchlicher Literatur praktisch keine oss. Texte vor. Als wichtigstes Zeugnis der Übersetzungsliteratur gilt das von dem Südosseten Ivan J a l g u z i d z e 1820-23 aus dem Georg. übertragene „Tetraevangelium“; vgl. auch die Übersetzung des Anfangs eines „Katechismus“ sowie des Vaterunsers bei K l a p r o t h 1814, 189ff. (= Julius v. K l a p r o t h: Anhang zur Reise in den Kaukasus und nach Georgien, Halle-Berlin), die von dem oss. Geistlichen Gaj stammen.

⁵ Vgl. dazu G.D. T o g o š v i l i / J. N. C x o v r e b o v: Istorija Osetii, t. I, Cxinvali 1962, 47 f.

⁶ S. K a l o e v 1971, 283ff. (s. Anm.3).

⁷ Überwiegend Ironen.

⁸ S. K a l o e v 1971, 289ff. (s. Anm. 3).

⁹ Vorwiegend bei den Digoren, die ca. ein Fünftel der oss. Bevölkerung repräsentieren.

¹⁰ S. K a l o e v 1971, 237ff. (s. Anm.3).

¹¹ S. bes. M i l l e r 1882, 239ff. (s. Anm. 3).

¹² Zuletzt ausführlich behandelt von Fridrik T h o r d a r s o n (Oslo) in seinem Vortrag vom 26.8.1986 auf dem „32nd Intern. Congress of Asian and North African Studies“ in Hamburg.

¹³ K o h l 1847 = J. G. K o h l: Reisen in Südrußland, Dresden-Leipzig (2. Aufl.), Bd. II, 195ff. Ein leicht veränderter Nachdruck dieses Gebets findet sich bei H a x t h a u s e n 1856, 19f. (s. Anm. 3).

¹⁴ A x v l e d i a n i 1960, 60ff. (= G. A x v l e d i a n i: Sbornik izbrannyx rabot po osetinskomu jazyku, Tbilisi) bevorzugt den Begriff „dvalisch“, während A b a e v 1949, 494ff. (= V.I. A b a e v, Osetinskij jazyk i fol'klor, Moskva-Leningrad) die Bezeichnung „džavisch“ vorzieht. Beide Ausdrücke werden in der Lit. oft synonym gebraucht, decken sich bedeutungsmäßig aber nicht vollständig: Während der Terminus „dval.“ sich ursprünglich sowohl auf den nordoss. Naro-Mamison. Bezirk als auch auf den südoss. džav. Bezirk bezieht, wo

ganz ähnliche Mundarten gesprochen werden, grenzt der Ausdruck „džav.“ geographisch präziser das tatsächliche Verbreitungsgebiet der im Rahmen dieser Arbeit behandelten Mundart ab.

¹⁵ Rosen 1846 = Georg Rosen: „Über die oss. Sprache“, Berlin, PAW.

¹⁶ S. A b a e v 1949, 502ff. (s. Anm. 14).

¹⁷ Eine detaillierte Beschreibung gab Fridrik T h o r d a r s o n in seinem Vortrag „Die oss. Velare, Affrikaten und Sibilanten“ vom 30.6.1984 anlässlich des „2nd Caucasian Colloquium“ in Wien.

¹⁸ So A x v l e d i a n i 1960, 51 (s. Anm. 14).

¹⁹ Uriran. *č ergibt oss. *c* im Anlaut, *ʒ* intervok. und nach *n*. Ob altdžav. *č*, *ʒ* nun eine gegenüber dem übrigen Oss. archaische Stufe repräsentiert oder aber eine Neuentwicklung darstellt, ist noch nicht geklärt.

²⁰ S.o. Anm. 13. - An dieser Stelle möchte ich V.I. A b a e v und F. T h o r d a r s o n danken, mit denen ich einige graph. Probleme, die der Text aufwirft, diskutieren konnte; ferner D. R a y f i e l d (London), der mich auf Parallelstellen im Georg. aufmerksam machte (s. Anm. 32). - Im Rahmen dieser Arbeit kann zumeist nicht näher auf die Etymologie der einzelnen Wörter eingegangen werden; in den Fällen, wo akzeptable etymolog. Deutungen vorliegen, wird auf sie verwiesen; dies betr. v.a. das oss. etym. Wörterbuch von V. I. A b a e v: Istoriko-étimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka, I Moskva-Leningrad 1958; II Leningrad 1973; III Leningrad 1979 (im Ff. IES I-III).

²¹ MiWb I-III = V. F. M i l l e r: Osetinsko-russko-nemeckij slovar' (Hsg. A. F r e i m a n), I, II Leningrad 1927; III Leningrad 1934.

²² A b a e v 1960 = V. I. A b a e v: Doxristianskaja religija Alan. In: Doklady del. SSSR XXV mežd. kongr. vostokovedov, Moskva, I ff.

²³ Georg. *xucesi* 'der ältere; Priester, Ältester eines Klosters' basiert nicht auf einem „Element *xuc*“, sondern ist aufzulösen in (*x*)*u-c-es-i* (dazu mingr. *učaši*, s. K l i m o v 1964, 262 = G. A. K l i m o v: Ètimologičeskij slovar' kartvel'skix jazykov, Moskva); das Wort ist offensichtlich eine Lehnübersetzung von gr. *πρεσβύτερος*. Auch das von A b a e v als weiterer Verwandter angeführte lesg. Wort für 'Gott', *ɣbyuap* (s. B. T a l i b o v et al.: Lezginsko-russkij slovar', Moskva 1960, 96), kann aus lautl. Gründen nicht dazugestellt werden.

²⁴ B i e l m e i e r 1977 = Roland B i e l m e i e r: Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im oss. Grundwortschatz, Frankfurt 1977.

²⁵ In: Iron adæmy sfældystad, II, Ordžonikidze 1961, 363 u. 369.

²⁶ M a y r h o f e r 1979 = Manfred M a y r h o f e r: Iranisches Personennamenbuch, I. Die altiran. Namen, Fasz. 1, Wien.

²⁷ T s c h e n k e l i Wb I-III = Kita T s c h e n k e l i: Georg. -deutsches Wörterbuch I-III, Zürich 1965-74.

²⁸ S. z. B. Iron adæmy sfældystad, 350 (s.o. Anm. 25).

²⁹ S. dazu die Abhandlung von L. M a r u a š v i l i in: Kartuli sabčota enciklopedia II, Tbilisi 1977, 54]; s. auch Kartuli enis ganmartëbiti leksikoni 1. Tbilisi 1950, Sp. 1143.

³⁰ Z. D. C x o v r e b o v a: Toponimija južnoj Osetii v pis'mennyx istočnikax. Tbilisi 1979, 27 f.

³¹ Vgl. dazu G. A x v l e d i a n i (Red.): Iron ævzažy grammatikæ, II, Sintaksis, Ordžonikidze 1969, 81.

³² Eine interessante georg. Parallele findet sich in Kartuli xalxuri poezia 1, mitologiuri leksebi I, Tbilisi 1972, wo auf den SS. 147-164, unter den Nrr. 125-150. kurze „Liede“ verzeichnet sind, die ebenfalls beschwörungsartige, formelhafte Anrufungen an Heilige enthalten; s. besd. Nr. 139, S. 158, Z.3: *gaumarž did pirimzes ialbuzze brzanebul* 'Gegrüßt sei die große P□rimze (heidn. Berggottheit, wtl. 'Sonnengesicht'), die auf dem Jalbuz (Elbrus) thront!' Das in unserem Text erscheinende *wydis* könnte als Präteritalform auf einer Lehnübersetzung aus dem Georg. beruhen, da das hier verwendete *brzanebul-* ein Part.Perf. des intr. Verbs *brzandeba* „er weilt, thront, residiert“ ist.

Fridrik THORDARSON

AN OSSETIC MISCELLANY LEXICAL MARGINALIA

(Oslo)

§ 1. For the understanding of linguistic areal phenomena and of the way in which languages may influence each other the study of Ossetic is highly rewarding. Through the ages multilingualism has been widespread all over the Caucasus, and in many places it has been, and still is, a normal social situation. Since antiquity Ossetic (or its Alanic precursor) has developed in separation from its Iranian sister languages, surrounded on all sides by unrelated (or only distantly related) – Turkic, Caucasian and, more recently, Slavic – languages. In its grammatical structure it has tended towards a typology which on the whole is alien to the other modern Iranian languages. But it is controversial to which extent substratum (adstratum) influence has been instrumental in bringing about these developments. There are indeed some unmistakable Caucasian and (or) Turkic affinities in the phonetics, morphology and syntax of Ossetic. But in a large number of cases its individual features must be attributed to conservatism and historical continuity. This is, of course, no matter for surprise when we consider the isolated and peripheral position of the language in relation to Iranian as a whole. In general, Ossetic has been strikingly resistant to change, and has largely retained the character of an Eastern Middle Iranian language. This applies especially to the morphology and syntax of the verb, where the only structural innovation of profound significance is the formation of the gerund in *-gæ* (ultimately derived, as it seems, from the instrumental of a verbal noun in **-aka-*, i.e. **-akā́: cæŕ-în* ‘to live’, *cæŕ-gæ*, the gerund), the functions of which seem to have close analogies in Turkic and North Caucasian neighbour languages. (A detailed description of the syntactic functions in ABAEV 1964, pp. 48–50.) Subordination is, however, still carried out mainly by means of finite clauses. The noun has developed a series of local cases and a dative, and it seems natural to ascribe these innovations to interference (from Nakhian?). But these cases are evidently an enlargement of an older inflectional

system, consisting of the nominative-accusative, the genitive, the locative and the instrumental-ablative, all of which derive from Old Iranian case-forms.

The impact of adjacent languages on the vocabulary has been much more extensive than in the domains of morphology and syntax. As vocabulary seems in general to be less structured than the inflectional and syntactic systems of language, and thus more open to the intrusion of foreign elements, this is not surprising. The number of non-Iranian words of uncertain origin is comparatively great. A good deal of the words which in Abaev's Historical-Etymological Dictionary (IES) are explained as belonging to the 'Caucasian substratum' lack exact correspondences in neighbouring Caucasian languages. For that reason we are often ignorant of the immediate sources of a foreign lexical item, as well as of the chronology and the social and geographical circumstances of the borrowing. Accordingly, in a number of instances we cannot determine whether a certain loan-word belonged already to the lexical stock of ancient Alanic (or an earlier stage of the language) or has been introduced in more recent times.

§ 2. A close inspection of the Ossetic vocabulary will probably reveal a strong lexical influence of Turkic. The Turkic conquest of the Ponto-Caspian steppes in the early Middle Ages and the subsequent Turkification of a large part of this area no doubt resulted in extensive and varied bilingual relations between the invaders and the former Alanic population. Close commercial and political contacts must have existed between the Alans and their Khazar neighbours when the empire of the latter was the dominant power of the region. Turkic dialects seem to have acted as intermediaries between Alanic-Ossetic and the Uralic and Altaic languages in South Russia and Central Asia. A number of Ossetic plant names are apparently migratory words which have entered the Caucasus from the north and the east, partly at least by the medium of Turkic¹. Through the agency of Azeri, that has functioned as a lingua franca all over the North Caucasus and served as a link between this area and the Islamic countries of the south (cf. MENGES 1968, p. 176), numerous words of Persian and Arabic origin have penetrated the Ossetic vocabulary.

To the early Turkic loan-words belongs *čizg/kizgæ* 'girl, daughter' < Turk. (O. Turk., Noghay, Karachay-Balkar, Kumyk) *qiz* 'idem'+ Iran.* *-akā* (Alan. **-agā*), an oxytone (feminine) form in **-ā*. As a kinship term *čizg/kizgæ* has ousted Iran. *dīyd/duyd*, which is now only found in the compound *xo-dīyd* 'husband's sister', lit. 'sister-daughter'. It may also have encroached upon *činz/kinzæ* (< **kanīčī* (or **kanyačī*?), cf. MORGENSTIERNE 1973, pp. 103, 106, rather than **kantī-* (ABAEV in IES I, p. 607) in the general meaning 'girl'; the latter word is now confined to the meaning 'bride, daughter-in-law; doll', but the etymology and the cognate words in the other Iranian languages make it

probable that the older meaning was ‘girl’; in the Alanic text found in the Theogony of the Byzantine author Johannes Tzetzes (12th century) κίντζι means either ‘woman’ or ‘girl’ (Alan. κίντζι μέσφιλι is rendered as ἀὐθέντριά μου); cf. ABAEV 1949, pp. 254-259; HUNGER 1955. For further details I refer to IES, the respective entries.

Several inferences can be drawn from *čizg/kizgæ*, which must have been adapted at a time when Ossetic still had no *q* (cf. IES I, p. 614, where more examples of Turk. *q* > Oss. *k* will be found), and when the old Aryan rule of free accent was still operative, before the syncope of the pretonic short **-a* in **-agā́*; probably at a time, too, when the ancient two gender system (m., f.) had not yet been obliterated².

Presumably Turk. *qiz* has originally entered Ossetic as a pet word, carrying some affective connotation.

§ 3. It need not surprise us that longstanding symbiotic relations with contiguous peoples have resulted in extensive lexical borrowing. For the most part, however, the loan-words are linked with the geographical and cultural environments of the Caucasus area, i.e. the word has been borrowed with the referent. In general, Ossetic demonstrates a remarkable tenacity in its lexical composition. This appears clearly, i.a., from the study of Bielmeier (1977), where 291 (D. 296) words belonging to the ‘basic core lexicon’ (for the term s. o.c., pp. 48ff.) are thoroughly investigated.

Needless to say that although the word – *le signifiant* – is inherited from Old Iranian, it does not follow that the meaning – *le signifié* – is inherited too. In numerous instances words of Iranian derivation have undergone semantic changes that are apparently peculiar to Ossetic; yet, in some cases at least, better knowledge of Iranian etymology and word history will probably call for a modification of our notions of this matter. Benveniste (1959, pp. 117ff.) stresses the importance of specific semantic developments within the Ossetic vocabulary and the individual profile of the lexical material in general. This is especially interesting as regards social terms, as semantic interference from adjacent languages seems to be particularly likely in this field, either in the form of loan-words or of loan translations. A treatment of the Ossetic social terminology is outside the scope of this paper. Suffice it to say that the major part of the social terms is of Iranian origin, whatever semantic developments they may have undergone, a fact that testifies to a strong historical continuity.

In the majority of cases where an inherited term differs semantically from cognate words in the other Iranian languages we are probably right in assuming Ossetic innovations. But in part, at least, such semantic deviations can be explained as archaisms, due to the isolation of the language within the Iranian family. Thus the denotation ‘kinsman’ of *ærvad/ærvadæ* (<**brātar-*; for ‘con-

sanguineous brother' *ævsimær/ænsuvær* (<**æm-suvær* '(a fruit) of the same womb, couterinus') is the usual term) seems more likely to be an archaic feature, deriving directly from Indo-European, than a semantic extension of an older term for "consanguineous brother" that has taken place in Ossetic separately (cf. IES I, pp. 205-6; II, pp. 437ff. (with bibliography); BENVENISTE 1969, pp. 212ff.; POKORNY 1959, p. 163: "bhrāter- 'Angehöriger der Grossfamilie, Bruder, Blutsverwandter'.")

§ 4. In his book of 1977 (o.c., pp. 97ff.) Bielmeier treats 291 (D. 297) lexical items constituting a list of the 'basic core vocabulary' ('Grundwortschatz') of Ossetic³. Of these there are only 5 (D. 5) loan-words with a certain Caucasian etymology; in addition he registers 40 (D. 41) items without a clear etymology (Bielmeier is somewhat cautious in assigning Caucasian etymologies to his Ossetic words). In a reduced list ('Grundwortschatz-Kern') of 192 (D. 196) items only 2 (D. 2) Caucasian loan-words are found (besides 18 (D. 19) words the etymology of which is uncertain). The figures for the Iranian words in the two lists are 246 (D. 241) and 166 (D. 170) resp.; for the Turkic loan-words 8 (D. 8) and 4 (D. 3) resp. About half of the 166 (D. 170) Iranian words found in the reduced list have been semantically stable, i.e. *le signifié* has been inherited together with *le signifiant*. As far as the lexical material investigated in Bielmeier's study is concerned, Ossetic is shown to have been extremely resistant to the intrusion of foreign elements.

Most designations of the elementary activities of man are of Iranian derivation, and in the majority of cases the meaning has been inherited with the form:

'To come, go': (various preverbs +) *cæuïn*, cf. Av. *š(y)av-* 'to move'.

'To eat': *xærïn/xuærun*, cf. Av. *x^var-* 'to eat, drink'.

'To drink': *nuazïn/niuazun* - **ni-wāz-aya* 'to make something flow down, swallow' (caus.), cf. Av. *ni-vaz-* 'to flow'.

'To live': *cærïn*, cf. Av. *čar-* (*kar-*) 'to move (intr.), versari'.

'To die': *mælin*, cf. Av. *mar-* 'idem'.

'To hear': *qusïn/iγosun* < **vi-gauš-*, cf. Av. *gaoš-* 'idem'.

'To see': *uïnïn/uinun*, cf. Av. *vaēna-* 'idem'.

'To speak': *zurïn/zorun*, cf. Av. *gar-* 'to praise'? – the Oss. form points to **ǰaur-* < **ǰar-u-* (?), IE **g^uer(ə)-*; – or IE **ger-* 'to shout', Skt. *jarate* 'makes a noise, shouts'? If the latter etymology is accepted, we have to do with semantic change implying the loss of an expressive connotation: 'to shout, make noise' > 'to speak'.

'To stand': *I. læuuïn* < **ram-uïn* ('to be'), i.e. 'to stand still', cf. D. *ræmun* 'to wait, stand', Av. *ram-* 'to rest, stay'.

In D. mostly *istun* (I. *stīn*), cf. Av. *stā-* (*hišta-*), that must derive from the reduplicated stem.

‘To sit’: *badīn* < **upa-had-*, cf. Av. *had-* ‘idem’.

‘To lie’: *xuīssīn/xuissun* < **huf-sa-* (inch.), cf. Av. *x^vap-*, *x^vaf-s-* (inch.) ‘to sleep’. From the IE point of view the zero degree of the root (**swep/sup-*) found in the Oss. verb is what we expect with the inchoative suffix *-sa-* < **ské/o-*. Neither in Av. nor in Oss. does *-sa-* express the inchoative aspect with this verb; as in other Iran. languages the main function of this suffix in Oss. is to express intransitivity. For the meaning ‘to lie down’ the Oss. verb needs a directional (and perfectivizing) preverb.

(For details s. IES and Biemeier, o.c., the respective entries.)

§ 5. Kinship terms are mostly Iranian:

The terms for ‘father’ and ‘mother’: *fīd/fidæ*, *mad/madæ* need no comments. As the designation of ‘son’ *fīrt/furt* (< **puθra-*) seems partly to compete with *læppu/læquæn* ‘boy’ in the modern language. In a similar way *duyḍ* ‘daughter’ has been superseded by *čīzg/kizgæ* ‘girl’ (cf. supra §2).

In I. the form of the word for ‘sister’, *xo*, reflects an old nominative (> **hwahā*, cf. Av. *x^vanha*), whereas the D. form *xuærxæ* must go back to **hwarā* (< **hwaharā*), an *-ā* formation (Alan. f.) based on an old oblique case (cf. Av. acc. sg. *x^vaṅharəm*). This doubleness seems to be exceptional; as a rule in both dialects the noun stem (nom.) derives ultimately from the same proto-form (nom. sg.).⁴ Cf. HÜBSCHMANN 1887, p. 70; BIELMEIER, o.c., p. 253.

As to the term for ‘brother’, s. supra §3.

The following terms denote the relations of the young wife (bride) with the family of the husband:

Xicau/xecau ‘master of the house, (the bride’s) father-in-law’ < **hwai-θyāwa-*, a derivation in **-tya-*+**-āwa-* from **hwai-* ‘suus, proprius’ (Av. *xvaē-*) that is also found elsewhere in social terms (Av. (Gath.) *x^vaētav-* ‘Hausstand’ (HUMBACH 1959, pp. 58-9), Oss. *xicon/xecon* ‘kinsman’ (< **hwai-θyāna-*; cf. BENVENISTE 1959, p. 124).

Æfsin/æfsinæ ‘mistress, (the bride’s) mother-in-law’ < **abišaiθnī-* ‘résidente, maitresse de la maison’, cf. Av. *aiwi.šaētan-* ‘Bewohner’ (Barth.), *aiwišay-* ‘bewohnen’, etc.; BENVENISTE, 1959, p. 19. The word appears possibly in the text of Tzetzes (s. supra §2), if Alan. μέσφιλι (bis) = Gr. αὐθέντα μου, αὐθέντριά μου represents *me’fsinæ* (*mæ æfsinæ*) ‘my lady’, cf. ABAEV 1949, p. 257. For the interesting history of this word I refer to IES I, pp. 110-11.

Tiu/teu ‘husband’s brother’ < **θaiwar-* < **daiwar-*, cf. Skt. *devar-* ‘idem’; as to Iran. *θ-* < *d-*, s. MORGENSTIERNE 1974, p. 83.

Xo-diyd ‘husband’s sister’, lit. ‘sister-daughter’ (or ‘sister-girl’) has already been commented upon (§2). The semantic narrowing of *č̣inʒ/kinʒæ*, formerly denoting ‘young woman’, now used as a designation of ‘daughter-in-law’, was treated *ibid.* In D. this meaning is expressed by *nostæ*, which seems to derive from **nauš-+t-* (?), cf. Skt. *snuṣā* (IE **snusó-s*), but a *guṇa*-form of this word is strange, and so is the *-t-*.⁵

The etymology of the terms denoting the relations of the husband with his wife’s family is less obvious.

Kaiis, *kais/kaies* ‘husband’s father-in-law, the wife’s kinsmen’ remains unexplained. Abaev’s derivation from *ka-is/es* ‘who is (it)’ needs sociological substantiation (IES I, p. 568).

Siaxs ‘son-in-law’ (designation used by the wife’s relatives about her husband), with the sandhi-variant *isiaxs* (*me siaxs* etc. < *mæ isiaxs*), is explained by Abaev (IES III, 101-2) as deriving from **visi-āxša-* ‘received, accepted by the family (**vis-*) of the bride’, cf. Av. *āxštay-* ‘Friede, Friedensvertrag’, *āxšta-* in nt. pl. ‘friedliche Zustände, Friede’ (Barth.), NPers. *āstī* ‘peace’, Oss. *axsʒiag/axsʒiag* ‘der beste, nächste, liebste’ (Miller-Freiman). This tempting even if unproved etymology implies a matriarchal (or at least matrilineal) social organization which is well attested in the tribal societies of ancient Sarmatia and the vestiges of which have survived until modern times in the wedding customs of the North Caucasus.⁶

Us/uosæ ‘wife, woman’ seems to be connected somehow with the Iran. root **wad-* (IE **wedh-*) ‘to lead, bring home, marry’, cf. Av. *vadū-* ‘Weib, Frau’ (Barth.) etc., but the formation is not clear. The plural *ustitæ ustæltæ/uostitæ*, *uostæltæ* may point to a form in *-t-*, perhaps an old participle in **-ta-* (fem. **-tā*): **wastā*. BIELMEIER (o.c., p. 233) derives the word from (**wasti- *wad-ti-*), with a suffix **-ti-*, and compares *idæʒ* ‘widow’, which ABÆV (IES I, p. 539) explains as **vidvati* (cf. Av. *vidavā-* ‘idem’ etc.). A more satisfactory explanation of the latter word is **wida(wa)čī*, a feminine in **-čī* (cf. MORGENSTIERNE 1973, pp. 102ff.; also the remarks on *č̣inʒ/kinʒæ* supra §2).

The etymology of *moi/moinæ* ‘husband’ < **man(u)-ya-* is in principle clear.

In formal speech, and even colloquially, the usual term for ‘wife’ is (*mæ*, *dæ* etc.) *binontæ*, lit. ‘(my, your etc.) family (or household)’. The wife refers to her husband as *mæ særī xicau*, lit. ‘the lord of my head’.

Already KOVALEWSKY (1893, p. 207) comments upon the poverty of the Ossetic kinship nomenclature. There are no particular words for grandfather, -mother, uncle, aunt, cousin, nephew nor niece. Such notions must be rendered by compounds: *f̣idi-/madi-f̣id/mad* ‘father’s/mother’s father/mother’, (*sṭir-*

fɪd/mad lit. ‘grandfather/mother’ are also found); – *fɪdɪvsɪmæɾ*, *madɪvsɪmæɾ* ‘father’s, mother’s brother’ (*madɪrvad* is ‘Muttersbruder, Verwandter aus dem Geschlecht der Mutter’ (Miller-Freiman), cf. what was said about *ærvad* supra §3); *fɪdɪ-/madɪ-xo* ‘father’s/mother’s sister’; – *fɪdɪvsɪmæɾɪ*, *madɪvsɪmæɾɪ fɪrt/čɪzg* ‘father’s/mother’s brother’s son/ daughter’; and correspondingly *fɪdɪ/madɪ xoiɪ fɪrt/čɪzg* ‘father’s/ mother’s sister’s son/daughter’, i.e. ‘cousin’; *ævsɪmæɾɪ fɪrt/čɪzg* ‘brother’s son/daughter’; *xoiɪ fɪrt/čɪzg* ‘sister’s son, daughter’; *xæɾæ-fɪrt*, lit. ‘sister’s son’, is a general term denoting ‘sister’s, daughter’s child (son, daughter), offspring’.

The explanation of this scarcity of specialized kinship terms, if an explanation is needed, is possibly to be sought in the structure of the traditional tribal society, where the position of the individual is defined not so much in reference to his nearest relatives as to the tribal kinship as a whole.

§ 6. The conclusions that can be drawn from these remarks are neither surprising nor original. They have been confined to that part of the vocabulary where we à priori least expect the replacement of a lexical item through borrowing. Other lexical fields will no doubt show a much higher percentage of loan-words. But for the most part these words have entered the language on account of changes in social usages, beliefs and manners or an experience which an immigrant population have met with in their new settlements. It has become usual to stress the influence exerted upon Ossetic by the neighbour languages, and there is no denying that such influence is an important part of the history of the language. But it is equally true that in its lexical composition as well as in its grammatical structure Ossetic shows an almost prodigious persistency and has largely retained its character of an Iranian language.

In his *Études sur la langue ossète*, in the chapter dedicated to ‘le vocabulaire traditionnel’, BENVENISTE (1959, pp. 142-3) makes some comments on the two (prehistoric) cultural layers which he finds reflected in the vocabulary of Ossetic, one aristocratic, the other popular, the latter having its sources in a society of peasants and shepherds. This would agree with a view according to which Ossetic was brought into its present sites (and other areas of the Caucasus where it has been ousted by Turkic and North West Caucasian languages) by a comparatively small warrior caste who subjugated, and gradually merged with, a more numerous (North East Caucasian, Nakhian?) population, the latter adopting the language of their conquerors, probably because of its prestige. Actually, it is reasonable to assume that Ossetic at one time, before the Circassian expansion to the east in the late Middle Ages and the subsequent establishment of Kabardian feudal rule, held the position of a prestige language over wide areas in the North Caucasus, a fact that in part may explain its conservatism. In culture the modern Ossetes hardly differ essentially from their neigh-

bours. But whatever cultural impact the conquered population has made upon their conquerors, the language of the latter has been strikingly resistant to the importation of foreign elements. We have no traces of relexification in the history of Ossetic.

NOTES

1. F. L. Texov's book about Ossetic plant names (*Nazvanija rastenij v osetinskom jazyke*, Cxinval 1979, was not available to me at the time when this paper was written.

2. The voiceless uvular stop *q* has been introduced into the Ossetic phonological system by loan-words and through a 'Verschärfung' of initial *ɣ*- (a voiced spirant, Ar. *g*-). This sound change is of recent date (18th-19th century (cf. ABAEV 1949, p. 511) and confined to Iron: I. *qus* = D. *γos* 'ear'. Vestiges of the two gender system are still found in the two declensions of Digor: *-æ* (<**ā*) vs. *∅* (<**a*-); but as they don't entail grammatical agreement, the two types must be considered as inflectional classes. Questions regarding Ossetic vestiges of the ancient Aryan accent will be treated more fully by the writer in a forthcoming study. – Abaev's (IES 614; 1949, p. 85) derivation of *čizg/kizgæ* from Turk. *qiz* is preferable to Bailey's, by whom it is connected with Skt. *kiśorāh* 'colt; youth, lad' and Khot. *cista*- 'youthful', all three supposedly belonging to a hypothetical Aryan root **kai-/ci-* 'youth' (BAILEY 1979, p. 103, repeated from 1967, p. 85; MAYRHOFER 1956, p. 213, and 1976, p. 673). – On Turk. loan-words in Ossetic, s. BIELMEIER 1977, pp. 101ff, 74ff.

3. The lists were, of course, originally compiled for glottochronological studies, but are here used for quite different purposes.

4. I. *xæraæ* is found in the compound *xæraæ-fɨrt* 'sister's or daughter's offspring', cf. supra §5.

5. Or *nostæ*<*(s)*nauša-či*, a *-čī* feminine, with syncope of *-a-* and *-st-*< **sč*, cf. *fæstæ*< **pasčā* 'after, behind'? (I owe this thought to Dr. D. Weber, Goettingen (oral communication).)

6. It may be significant that the words referring to the relations of the wife with her husband's family (or clan) are clearly of native origin, whereas the words denoting the relations of the husband with the family (clan) of the wife lack an uncontested Iranian etymology. As matriarchal institutions were possibly an innovation in the ancient Scytho-Sarmatian society the question of borrowing should be seriously considered.

ABBREVIATIONS

Barth. = Chr. Bartholomae: Altiranisches Wörterbuch. Strassburg 1904. (Reimpression Berlin 1961.)

IES = V. I. Abaev: Istoriko-etimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka. I-III. Moskva-Leningrad 1958-79.

Miller-Freiman = V. F. Miller: *Osetinsko-russko-nemeckij slovar'*. Pod redakcijej i s dopolnenijami A. A. Frejmana. Leningrad 1927-34. (Reimpression The Hague 1972.)

I = Iron. D = Digor. Where the oblique stroke (/) is used to distinguish between the two dialectal forms, the Iron form is placed before, the Digor form behind the stroke. When nothing is said, Iron is meant.

BIBLIOGRAPHY

ABAEV V. I., 1949: *Osetinskij jazyk i fol'klor*. I. Moskva-Leningrad.

ABAEV V. I., 1964: *A grammatical sketch of Ossetic*. Translated by Steven P. Hill. Bloomington, Indiana.

BAILEY H. W., 1967: *Indo-Scythian studies, being Khotanese texts, vol. VI. Prolexis to the Book of Zambasta*. Cambridge.

BAILEY H. W., 1979: *Dictionary of Khotanese Saka*. Cambridge.

BENVENISTE E., 1959: *Études sur la langue ossète*. Paris.

BENVENISTE E., 1969: *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. I. Paris.

BIELMEIER R., 1977: *Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz*. Frankfurt a. M. – Bern – Las Vegas.

HÜBSCHMANN H., 1887: *Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache*. Strassburg. (Reimpression Amsterdam 1969.)

HUMBACH H., 1959: *Die Gathas des Zarathustra*. B. I. Heidelberg.

HUNGER, H., 1955: *Zum Epilog der Theogonie des Johannes Tzetzes*. *Byzantinische Zeitschrift* 46, pp. 302-7. München.

KOVALEWSKY M., 1893: *Coutume contemporaine et loi ancienne. Droit coutumier ossétien éclairé par l'histoire comparée*. Paris.

MAYRHOFER M., 1956: *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*. B. I. Heidelberg.

MAYRHOFER M., 1976: *Idem*. B. III (Anhang): *Nachträge und Berichtigungen*. Heidelberg.

MENGES K. H., 1968: *The Turkic languages and peoples. An introduction to Turkic studies*. Wiesbaden.

MORGENSTIERNE G., 1973: *Irano-Dardica*. Wiesbaden.

MORGENSTIERNE G., 1974: *Etymological vocabulary of the Shughni group*. Wiesbaden.

POKORNY J., 1959: *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern-München.

Dieter WEBER

EINE ANGEBLICH SLAVISCH-OSSETISCHE LEXIKALISCHE ÜBEREINSTIMMUNG

In seinem vielbeachteten Büchlein „Skifo-evropejskie izoglossy“ stellt V. I. Abaev die beiden Verben slav. *močiti* ‘befeuchten’ und osset. *mæcyn* ‘sich wälzen’¹ unter der Annahme einer besonderen Nähe zwischen dem Baltisch-Slavischen und dem Alanischen zusammen, wobei sie einer Wz. **mak-*² zugeordnet werden. Für den slavischen Bereich ergeben sich prinzipiell wohl kaum Probleme, da diese Wurzel nicht nur in dem genannten Verbum,³ sondern auch in verschiedenen nominalen Ableitungen wie z. B. russ. *močá* ‘Urin, Harn’ oder *mókryj* ‘naß, feucht’⁴ belegt ist; das Verbum dürfte als Denominativum zu dem genannten Substantiv gehören und kein hohes Alter beanspruchen.⁵ Dazu passen auch zahlreiche Entsprechungen aus dem Baltischen, die ebenfalls, wie z.B. lett. *makņa* ‘Sumpf, moorige Stelle’ oder lit. *makénti, makéti, mak(n)óti* ‘herumwaten, -patschen’, erst einzelsprachliche Bildungen zu der offenbar gemeinsamen (baltisch und slavisch) Wurzel **mak-* darstellen.⁶ Eine mögliche Übereinstimmung mit dem genannten ossetischen Verbum könnte also nur über eine Wurzeletymologie erreicht werden.

Die Frage, die hier untersucht werden soll, betrifft das ossetische Verbum, das in seiner Bedeutung nicht so recht zu den slavischen Belegen passen will und auch, wie noch zu zeigen sein wird, formal anders einzustufen ist, als es bisher geschehen ist.

Bemerkenswert sind in erster Linie die Bedeutungsangaben in den Wörterbüchern bzw. bei den Autoren, die das ossetische Verbum zitieren oder behandeln. Miller-Freiman⁷ gibt ‘sich wälzen, sich beschmieren’ (‘valjat’sja, pačkat’sja’) an mit dem Kompositum *fæmæcyn*⁸ ‘sich beschmieren’ (‘vyvaljat’sja, vypačkat’sja’), zu dem ein einziges Zitat beigebracht wird,⁹ und zwar aus dem berühmten Heldenepos *Æfxærdty Xæsanæ* von Alexander Kubalov, wo es im Abschnitt 8, Zeile 97, heißt:

Ūæ, tug cyl nyüüara, sæ tudžy fæmæcoj

‘O, Blut soll auf sie niederregnen, in ihrem Blut sollen sie sich wälzen.’¹⁰

Auch Abaev bringt in seinen oben erwähnten „Izoglossy“ ein ähnliches Beispiel: *Dæ tudžy fæmæcaj!* ‘Daß du dich in deinem (eigenen) Blut wälzest!’ und im zweiten Band seines etymologischen Wörterbuches noch drei weitere Beispiele unterschiedlicher Autoren.¹¹ Es scheint genau diese idiomatische Wendung (nämlich *tudžy [fæ]mæcyn* ‘sich im Blut wälzen’) zu sein, die den weiterführenden Bedeutungsansatz ‘sich beschmieren, sich besudeln’ bedingt hat. Schon nach der auf Italienisch erschienenen Teilpublikation der „Izoglossy“ im Jahre 1962¹² bedeutet *mæcyn* ‘essere immerso in un liquido’, eine Formulierung, die entsprechend in Abaevs etymologischem Wörterbuch sowie bei Bielmeier (‘sich wälzen, sich beschmutzen mit etwas Flüssigem’)¹³ wiederkehrt.

Es sollte außerdem festgehalten werden, daß in einem Wörterbuch der Gegenwartssprache *mæcyn*¹⁴ ähnlich wiedergegeben wird wie bei Miller-Freiman (nämlich ‘valjaťsja, pačkaťsja), aber beachtenswerterweise mit besonderem Verweis auf die Wendung *tudžy mæcyn* ‘valjaťsja v krovi (sobstvennoj)’. Der Eindruck, das Verbum *mæcyn* sei praktisch auf diese idiomatische Wendung beschränkt, wird durch die Tatsache verstärkt, daß umgekehrt ein russisch-ossetisches Wörterbuch für ‘valjaťsja’ nicht etwa *mæcyn* angibt, erstaunlicherweise auch nicht für *pačkaťsja*: dafür verwendet das Ossetische nach diesem Wörterbuch¹⁵ *xi č’izi kænyn* und *xi amæntyn* (*xi* = ‘sich’), und gerade das zuletzt genannte Verbum ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse, da es primär absolut nichts mit ‘besudeln, beschmieren’ zu tun hat, sondern (als **ā-manθ-*) mit Begriffen wie ‘rühren, quirlen’ (dazu s. weiter unten).

Aus der Verwendungsweise des Verbums (*fæ*)*mæcyn* scheint sich zu ergeben, daß die ursprüngliche Bedeutung nicht dem semantischen Bereich ‘feucht, Feuchtigkeit, Schmutz’ zuzuordnen ist, sondern erst in bestimmten Phrasen entstehen konnte; es wäre demnach denkbar, daß die dem Verbum (*fæ*)*mæcyn* zugrunde liegende Wurzel etwa ‘(sich) wälzen, (sich) drehen, (sich) wenden’ bedeutet haben kann. Das hätte allerdings zur Folge, daß eine etymologische Verbindung mit der Sippe um slav. *močiti* aufzugeben wäre.

Dieser Schluß wird auch durch das Verbum *fælmæcyn* (*fælmæst*, *fælmæcyd*) || *fælmæcun* (*fælmást*) ‘sich belästigt fühlen, ermüden’¹⁶ nahegelegt, eindeutig ein Kompositum mit dem „toten“ Präverb *fæl-* aus iran. **pari-* ‘um – herum’; aus dem alten PPP. ist ein selbständiges Adjektiv erwachsen, nämlich *fælmás(t)* || *fælmast*, *fælmæst* ‘müde, schwach, weich, nachgiebig’¹⁷ (< **parimasta-*). Auch diese Gruppe läßt keine semantische Beziehung zu ‘feucht, Feuchtigkeit, Schmutz’ erkennen; außerdem treten hier erstmals auch lautliche Probleme auf, da das *-st* des Präteritalstammes bzw. des Adjektivs keine Wurzel auf Guttural (wie in slav. *močiti*) zuläßt, sondern nur eine solche auf Dental.

Die Frage, ob sich die semantische Trennung von osset. *mæcyn* und slav. *močiti* auch formal untermauern läßt, ist – zunächst immerhin – nicht so eindeutig zu beantworten. Abaev, op. cit., II, S. 80 (s.v. *mæcyn*) gibt zwei etymologische Möglichkeiten an, nämlich **maxš-* oder **mač-*, wohingegen er *ibid.*, I, S.440 (s.v. *fælmæcyn*) lediglich **(pari)maxš-* gelten lassen will. In der Tat ließen sich osset. *mæcyn* und slav. *močiti* (unter Nichtbeachtung von *fælmast*, s. oben) unter der Wurzel **mak-* (s. Anm. 2) vereinigen, allerdings nicht in der von Abaev vorgeschlagenen Weise. Vorosset. **-č-* (wie in **mač-* postuliert) ergibt in aller Regel in intervokalischer Stellung osset. *-dz-*, wie z.B. *sudzyn* ‘brennen’ aus iran. **sauča(ya)-*;¹⁸ **-č-* bleibt jedoch dann als stimmlose Affrikate erhalten, wenn es unmittelbar durch **-y-* (also **-čy-*) gefolgt ist, z. B. *caeyn* ‘gehen’ (aus **čyav-*) oder *fy cyn* ‘kochen’ (aus **pačya-*).¹⁹

Die zweite und von Abaev offensichtlich favorisierte Möglichkeit eines vorosset. **maxš-* ist nicht akzeptabel, da, nach den allgemeinen sicheren Beispielen zu urteilen, die Lautgruppe **-xš-* ausnahmslos als osset. *-xs-* erscheint.²⁰

Der Gedanke, osset. *-c-* könne (sporadisch) auch auf **-xš-* zurückgehen, stammt von I. Gershevitch,²¹ der diese Erscheinung im wesentlichen an drei Wörtern, nämlich *ūac* (nach Gershevitch **vāxš*), *docun* ‘melken’ (nach Gershevitch **daušša-*) und *ficun* ‘kochen’ (nach Gershevitch **paxša-*), nachweisen wollte. Die Idee, gerade in *ūac* einen erhaltenen alten Nom. Sg. von **vak-* zu erblicken, ist verführerisch, da dies ja offensichtlich in man. mp. *wāxš* tatsächlich geschehen ist. Allerdings ist es in keiner Weise zwingend, diese Erscheinung auch für das Ossetische analog anzunehmen, zumal dadurch eine von bereits Bekanntem abweichende Lautentsprechungsregel mit nur sehr wenigen Beispielen aufgestellt würde. Man wird sich deshalb der Kritik von É. Benveniste²² anschließen müssen und im Falle von osset. *ūac* ein Etymon **vāčya-* vorziehen, das den Vorteil hat, daß es bekannten Lautentwicklungen nicht zuwiderläuft und trotzdem zu der Wurzel gehört (nämlich **vak-* sagen, sprechen), die man darin gerne – und sicher auch mit Recht – sehen möchte. Allerdings ist es nicht nötig, die Bedenken Benvenistes zu teilen, der meint, daß „la restitution de *ūac* demeure incertaine“; *ūac* in der Bedeutung ‘Neuigkeit usw.’ kann leicht aus was zu sagen ist’ abgeleitet werden. Ähnliches gilt für ‘Botschaft’, dann auch ‘heilige Kunde’, wobei sich vielleicht christlicher Einfluß²³ geltend gemacht haben kann. Auch scheint es m. E. nicht unmöglich, aus diesem Umfeld direkt die Bedeutung ‘heilig’ herzuleiten, wofür Benveniste lieber ein besonderes Wort ansetzen will.²⁴ Es scheint ziemlich wahrscheinlich, daß die ossetischen Bedeutungen aus diesen syntaktischen Formulierungen stammen.

Gershevitch hat dann in den *Addenda*²⁵ zu dem Wiederabdruck seiner etymologischen Ausführungen zu osset. *ūac* auf xwarezm. *ps-* ‘gekocht werden’ und *δws-* ‘to milk’ verwiesen, die mit ihrem *-s-* eine Lautung **-čy-* vor-

aussetzen;²⁶ er scheint an dieser Stelle – wenn auch nicht *expressis verbis* – die von Benveniste vorgetragene Kritik zu akzeptieren, meint aber in bezug auf *fycyn*, daß dieses Verbum in transitiver Bedeutung „can hardly also reflect an ancient present stem that had -čy-“. ²⁷ Richtig ist in der Tat, daß für ein **pačya-* zunächst ausschließlich die intransitive Bedeutung anzunehmen ist, doch glauben wir, daß, ähnlich wie im Deutschen, sekundär auch das transitive syntaktische Verhalten auf dieses Verbum übertragen worden ist. Das kann innerhalb des Ossetischen selbst, vielleicht sogar erst in sehr junger Zeit, geschehen sein.

Diese Überlegungen ergeben zunächst, daß ein **maxš-* für osset. (*fæl*)*mæcyn* usw. auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Die Lautgeschichte bietet uns nur die Möglichkeit eines **mačya-* oder aber, da wir den Bezug zu slav. *močiti* aus semantischen Gründen ablehnen, **maθya-*, das ebenfalls in osset. *mæc-* resultieren mußte.²⁸ Formal gesehen ist **maθya-* ein „Passiv“ (aind. 4. Klasse) zu einem iran. **manθ-*²⁹ rühren, quirlen, drehen, wälzen’, das, als Pendant zu aind. *manth-*,³⁰ z. B. aus buddh. Sogd. *mnd-* und khot. *maṃth-*³¹ bekannt ist; und gerade auch im Ossetischen finden sich, wie Benveniste nachweisen konnte³², Fortsetzer dieser Wurzel wie z. B. in *æzmæntyn* usw. Osset. *mæcyn* als intr. **maθya-* ‘gequirlt werden, sich drehen, sich wälzen’ paßt genau zu der besonderen idiomatischen Wendung, die eingangs vorgestellt wurde; und es wird auch verständlich, wenn der Bezug zu Feuchtigkeit’, speziell zu Blut’, sekundär sein muß. Ähnlich wird auch die Bedeutungsentwicklung bei dem Verbum *amæntyn* (*amæst*) || *amæntun* (*amast*) ‘beschmieren, besudeln, beschmutzen, säuren’³³ < **ā-manθ-* verlaufen sein, da das dazugehörige Nomen *amæntæn* ‘Trog, in welchem Teig geknetet wird’³⁴ mit dem häufigen Suffix **-ana-*³⁵ noch die ursprünglichere Semantik zeigt.

Faßt man die hier vorgetragenen Überlegungen zusammen, so ergibt sich, daß osset. *mæcyn* von slav. *močiti* zu trennen ist; auch über eine gemeinsame Wurzel darf keine Beziehung hergestellt werden, da die hier besprochenen ossetischen Wörter ohne Ausnahme (wegen *-st-* im PPP.) einen Dental des Wurzelauslauts fordern. Nur ein ähnliches Aussehen der beiden Verben im Zusammenhang mit einer ähnlichen Semantik, die aber für das Ossetische erst sekundär in einer idiomatischen Wendung nachgewiesen werden kann, hat die Zusammenstellung ermöglicht.

Das ossetische Verbum paßt jedoch in einen bereits indo-iranisch anzunehmenden Rahmen, der es formal als „Passiv“ zu iran. **manθ-* stellt. Es wäre eine interessante Aufgabe, gegebenenfalls weitere Beispiele dieser Verbalklasse (aind. 4. Klasse) im Ossetischen aufzuspüren.

NOTIZEN

- ¹ V. I. ABAEV, Skifo-evropejskie izoglossy, Moskva 1965, S. 16.
- ² Vgl. J. POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern-München 1959, S. 698.
- ³ Vgl. die Belege s.v. *močít'* apud M. VASMER, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. II, Heidelberg 1955, S. 166.
- ⁴ Ibid., S. 148.
- ⁵ Vgl. A. LESKIEN, Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache, Heidelberg 1909, S. 174f.; R. AITZETMÜLLER, Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft, Freiburg i. Br. 1978, S. 217 ff.
- ⁶ S. E. FRAENKEL, Litauisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg 1962, S. 399f.
- ⁷ Vgl. Vs. F. MILLER und A. FREIMAN, Osetinsko-russko-nemeckij slovar', Leningrad 1927-1934 (Nachdruck: The Hague-Paris 1972), S. 813.
- ⁸ Wahrscheinlich mit dem iran. Präverb **pa-*; vgl. R. L. FISHER, IE. **po-* in Slavic and Iranian, KZ. 91 (1977) S. 219-230 (mit Verweis auf ältere Literatur).
- ⁹ MILLER-FREIMAN, op.cit., S. 1378.
- ¹⁰ Nach Georg-Gappo Baiev und Wolfgang Lentz, Ein Heldenepos des ossetischen Dichters Alexander Kubalov, in: Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, 37 (1934 [1935]) S.182.
- ¹¹ V. I. ABAEV, Istoriko-ëtimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka, II, Leningrad 1973, S. 80.
- ¹² V. I. ABAEV, Isoglosse scito-europee, in: Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, Sezione Linguistica, 4 (1962) S. 27-43, hier S. 34f.
- ¹³ R. BIELMEIER, Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz, Frankfurt am Main-Bern-Las Vegas 1977 (= Europäische Hochschulschriften, Reihe XXVII, Bd. 2), S. 195 f. Das Lemma *mæc'æl* 'naß, feucht, schlaff, müde', unter dem osset. *mæcyn* hier behandelt wird, ist wegen des „kaukasischen“ *-c'*- und des *-l*-Suffixes ein zu fragwürdiges Beispiel, um für das hier angesprochene Problem verwertet zu werden.
- ¹⁴ Osetinsko-russkij Slovar', Ordžonikidze 1962, S. 262.
- ¹⁵ Kratkij russko-osetinskij slovar', Moskva 1978, S. 308.
- ¹⁶ So MILLER-FREIMAN, S. 1374.
- ¹⁷ MILLER-FREIMAN, S. 1373.
- ¹⁸ Vgl. Vs. MILLER, Grundriß der iranischen Philologie, I, Anhang, Straßburg 1904, S. 29.
- ¹⁹ So schon eindeutig MILLER, op. cit., S. 28.
- ²⁰ Vgl. osset. *æxsæv* 'Nacht' zu avest. *xšap-*, MILLER, op.cit., S. 26, 31.
- ²¹ BSOAS. 17 (1965) 479f. = Philologia Iranica, Wiesbaden 1985, S. 128f.
- ²² É. Benveniste, Études sur la langue ossète, Paris 1959, S. 137.

²³ Vgl. *Ūacilla* u.ä.; zu *ūac-* s. G. DUMEZIL, *Romans de Scythie et d'alentour*, Paris 1978, S. 237-240.

²⁴ Wichtig scheint in diesem Zusammenhang, daß **vāčya-* auch in mindestens einem iran. Personennamen von der Nordküste des Schwarzen Meeres belegt ist, der in den *Archäologischen Mitteilungen aus Iran*, Bd. 19, Berlin 1986 [1988], 174f. (mit Anm. 32) bereits kurz behandelt worden ist; er ist in den Schreibungen Ουαχωζακος, Οχωδιακος, Οχωζιακος überliefert, die unbedingt ein iran. **vahu-vāčya-ka-* voraussetzen. Der Name stellt sich somit in eine Reihe vieler anderer, bei denen **vahu-* im Vorderglied verbaut ist.

²⁵ Phil. Iran., S. 279f.

²⁶ Dazu würde natürlich auch sehr gut das Ossetische mit seinen beiden Formen *ducyn* || *docun* passen, die ebenfalls ein **-čya-* verlangen. Problematisch bleibt bei diesem Verbum weiterhin der vollstufige Wurzelsvokalismus. Vgl. auch G. Morgenstierne, *Indo-European DHEUGH- and DEVK-* in Indo-Iranian, in: *Monumentum H. S. Nyberg, II*, Leiden-Téhéran-Liège 1975, S. 77-80 (= *Acta Iranica* 5), der aber dafür ein iran. **dauxsya-* nicht gänzlich ausschließen möchte.

²⁷ Ibid. S. 280.

²⁸ Vgl. z.B. **hačyaka-* in osset. *æcæg* 'wahr' u.a.; MILLER, *op.cit.*, S.38.

²⁹ Ein **mant-* wäre möglich, ist jedoch im Iranischen bisher nicht nachweisbar.

³⁰ Vgl. dazu bes. J. NARTEN, *IJ.4* (1960) S. 121-135; É. BENVENISTE, *IJ.7* (1963-64) S. 307-309.

³¹ Vgl. auch zu dem ganzen iran. Komplex H. W. Bailey, *Dictionary of Khotan Saka*, Cambridge 1979, S. 323.

³² BENVENISTE, *op. cit.*, S. 88 f.

³³ Vgl. ABAEV, *op. cit.*, I, S. 50; MILLER-FREIMAN, S. 32 kennt nur die ironische Form.

³⁴ MILLER-FREIMAN, S. 32.

³⁵ Dieses Suffix, das in der Regel die Vollstufe der Verbalwurzel verlangt, hat im Indo-Iranischen zwei Funktionen: einmal bezeichnet es die Tätigkeit, die durch die Verbalwurzel ausgedrückt wird, zum anderen aber auch das Instrument oder das Mittel, das zu der Tätigkeit führt (vgl. nhd. *das Essen*, aind. *nayana-*).

Vladimir E. OREL

(Moscow)

OSSETICA

1. Iron. *stad*, Dig. *æstad*, *istad*, *stad*

This adjective with an ambiguous meaning is used in a limited number of contexts, cf. *stad fīw* ‘s m o k e d fat’, *stad ærk’iag* ‘s m o k e d, d r i e d skin’, *stad bægæny* ‘s e t t l e d, t h i c k beer’. It is clear that *stad* reflects Iran. **stāta-*, but further etymological analysis seems somewhat more complicated. V. I. ABAEV has recently explained *stad* as a past participle of Iran. **stā(y)-* ‘to thicken’, cf. Av. *stā(y)* ‘mass, heap’, Skt. *styā-* ‘to thicken’ and the like¹. However, one should expect this participle to look like **stīta-* in Iranian, and it is actually found in Pamir. *stid*, *sitid* ‘thick, dense’. Thus, it is better not to support ABAEV’S conjecture.

The word in question could be identified with Iron. *stad*, Dig. *istad*, the past participle of Iron. *styn*, Dig. *istun* ‘to stand, to stand up, to become’². This equation seems to be obvious as far as the formal aspect is concerned; moreover, to prove it is semantically valid, it is possible to adduce evidence of a similar semantic development in other Indo-European languages.

It is a well-known fact that the words for fat as well as for any kind of settled liquid are often derived from verbs with such meanings as ‘to put, to settle, to stand’. A fairly good example is Slav. **sadlo* ‘fat’ (Russ. *sálo* id.) derived from **saditi* ‘to put, to seat’ (Russ. *sadít’* id.). We could also mention Alb. *dhjamë*, *vjamë* ‘fat’ connected with *vë* ‘to put’³. As regards settled liquids, it is possible to remind of Russ. *osádok* ‘sediment’ (to *sadít’*) or of E. settle, OE. *setlan* ‘to settle’ also belonging to the Indo-European root **sed-* ‘to sit, to seat, to put etc.’

The meaning of the Ossetic verb is very close indeed to the above forms. To make it more evident we could adduce data connected with **stā-* in other Iranian languages, e.g. Sogd. *ʾwsty* ‘to put’ (< **awa-stā-ya-*),⁴ Parth. *avištan-* id. and, finally, Av. *ava-staya-*, *ni-štaya-* id. Thus, the original meaning of the Os-

setic word for ‘smoked’ (fat) and ‘settled’ (beer) should be reconstructed as ‘put, settled’ and the word itself is likely to be derived from Iron. *styn*, Dig. *istun*.

2. Iron. *stæn*, Dig. *istæn*

This word is used to swear an oath, cf. *q_oyransystæn* ‘(I) swear on the Koran’, *mæ fydystæn* ‘(I) swear by my father’ and the like. One usually swears by one’s parents or, very often, by farn.

Despite V. I. ABAEV’s hypothesis⁵, *stæn* has nothing in common with Slav. **istina* ‘truth’ as the correct etymology of the latter shows⁶. Nevertheless, ABAEV mentions as a possible cognate of *stæn* Sogd. *wi-stāw* ‘oath’⁷, although he qualifies this connection as “not clear”. It seems, however, that this particular comparison is quite correct and the connection is clear since both Sogd. *wi-stāw* and Iron. *stæn*, Dig. *istæn* reflect different stems derived from Iran. **vi-stā-*. For the Ossetic word it is only natural to reconstruct **vi-stana-*.

The shift of meaning is very close to what we find in Latin. Lat. *stāre* ‘to stand’ (belonging to the same IE **steH-*) is known to mean ‘to be faithful’, cf. in *fidē stāre* ‘to keep one’s word’ and also *stāt* ‘it is decided, it is sure’. Similar meanings can be found in E. to stand, cf. to stand by X = ‘to be faithful to X’.

3. Iron. *stær*, Dig. *æstær*

This interesting word denotes a special kind of foray made with the principal aim to steal and drive away the cattle. ABAEV gives a contradictory explanation of *stær*:⁸ he compares it with the second part of Av. *aiwištara-* and translates it as ‘devastator (of the country)’ supposing that the morphological structure of *aiwištara-* is *aiwi-stara*. However, this point of view seems much less convincing than BARTHOLOMAE’s translation and morphological analysis: *aiwištara-* is treated as *aiw-iš-tar-* and translated as ‘lord of the country’.⁹ ABAEV also compares *stær* with Afgh. *tār* ‘gang of robbers; band; spoil’,¹⁰ and it is very likely that his conjecture is right, but the attempt to relate both *stær* and *tār* to Iran. **(s)tāyu-* ‘thief’ is untenable. It should be added that the equation *stær* ~ *tār* implies *s* mobile in the root.

Now, the linguistic evidence proves that the notion of robbery is frequently motivated by verbs denoting tearing (off) or rubbing. The Ossetic language itself provides some fairly good examples if one thinks of Iron. *stīgyn*, Dig. *s’ēgun* ‘to tear off, to peel; to rob’ or of Iron. *tona*, Dig. *tonaw* ‘plunder’ borrowed from Turk. *tona-* ‘to tear off, to rob’, *tonaw* ‘plunder’. Similar cases can be found anywhere, e. g. in Baltic Lett. *lupt* ‘to tear off’ and *laupīt* ‘to rob’

are derivational variants. The same shift is possible for the verbs meaning ‘to rub’ but then it is natural to reconstruct *‘to tear (off)’ as an intermediate stage¹¹.

It is, therefore, possible to derive *stær* from Iron. *stæryn*, Dig. *æstærun* ‘to lick, to lap’. The meaning of the Ossetic verb is obviously due to the secondary development as other Iranian parallels show, cf. Pam. (*a*)*star-*, *ster-* ‘to rub’,¹² Pers. *säturdan* ‘to clean, to scrape’ etc.¹³ The source is definitely IE *(s)*ter-* ‘to rub’.

4. Iron. *sūl*

Iron. *sūl* denotes a basket or some other receptacle where a new swarm is temporarily transferred from the beehive. The word is characterized as not clear¹⁴.

For *sūl* one could reconstruct an earlier form **saurya-*. Two etymological possibilities for the latter can be suggested. First of all, *sūl* < **saurya-* could be related to Iron. *sūryn*, Dig. *sorun* ‘to drive away’ derived from **saura-*: **sur-* (cf. Sak. *hasura-* ‘game, bag, prey’¹⁵). The semantic motivation seems to be fairly clear since *sūl* is the receptacle into which the swarm is transferred or driven. There is, however, another explanation: *sūl* can be treated as an original name for cavity, cf. then Av. *sūra-* ‘lacuna’, Pers. *aūrāx* ‘hole’ and the like derived from IE **keuə-* (Lat. *cavus* ‘hollow’ etc.) The choice between the above explanations does not seem easy.

5. Iron., Dig. *lasyn*

Osset. *lasyn* ‘to convey, to draw etc.’ is a matter of some difficulty because of the initial *l-*. ABAEV believes that *l-* is due to dissimilation here and compares *lasyn* with inchoative **nas-* (to **nam-* ‘to take’) in Yagn. *nās-*, Afgh. *nas-*, Pamir. *nas-* ‘to take, to grasp’.¹⁶ To support this etymology it is necessary to adduce a very interesting meaning of *lasyn*, namely ‘to curdle, to coagulate, to turn sour’. Now, this type of meanings is usually derived from the verbs denoting ‘to catch’ or ‘to grasp’, cf. Iron. *axsyn* ‘to curdle, to coagulate; to catch, to grasp’ (related to Slav. *segti* ‘to grasp’, as ANIKIN has recently shown¹⁷). The same semantic mechanism makes the English to say ‘the river caught’ when its surface is covered with ice. The original idea is of small particles (of milk etc.) “catching” one another. We can therefore reconstruct the meaning ‘to catch’ for *lasyn*, and it is much easier then to compare it with Iranian **nas-* as far as the meaning is concerned.

NOTES

¹ V. I. ABAEV: *Istoriko-etimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka*. Vol. 3. Leningrad 1979, p. 143.

² The same root is found in Osset. (Iron.) *stajyn*, (Dig.) *stajun*, *æstajun* 'to get tired'. The corresponding participle is Iron. *stad*, Dig. *stad*, *æstad* 'tired'.

³ Other examples see in: V. E. OREL: *Albanica parerga*. In: IF 90 (1985) (in print).

⁴ I. GERSHEVITCH: *A Grammar of Manichean Sogdian*, Oxford 1961, § 215.

⁵ V. I. ABAEV, Op. cit., p. 148.

⁸ O. N. TRUBAČEV (ed.) *Etimologičeskij slovar' slav'anskix jazykov*. Vol. 8. Moscow 1981, p. 246-247 (to Lat. *iste*).

⁷ I. GERSHEVITCH, Op. cit., § 216.

⁸ V. I. ABAEV, Op. cit., p. 149.

⁹ CHR. BARTHOLOMAE: *Altiranisches Wörterbuch*. Straßburg 1904, p. 96, 683.

¹⁰ V. I. ABAEV, Op. cit., p. 149.

¹¹ For the detailed description cf. Ž. Ž. VARBOT: *Proslav'anskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija*. Moscow 1984, p. 34-38.

¹² Cf. G. MORGENSTIERNE: *Indo-Iranian Frontier Languages. II.: Iranian Pamir Languages*. Oslo 1938, p. 236, 248f.

¹³ V. I. ABAEV, Op. cit., p. 150.

¹⁴ V. I. ABAEV, Op. cit., p. 168.

¹⁵ H. W. BAILEY: *Khotanese Buddhist Texts*. London 1951, p. 363; V. I. ABAEV, Op. cit., p. 172 (*hasura*- < **fra-sura*-).

¹⁶ V. I. ABAEV: *Istoriko-etimologičeskij slovar' osetinskogo jazyka*. Vol. 2. Leningrad 1973, p. 15.

¹⁷ A.E. ANIKIN: *Opyt semantičeskogo analiza praslav'anskoj omonimii na indojevropejskom fone*. Moscow 1984, p. 20f.

**СОДЕРЖАНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ТОМОВ
ЖУРНАЛА «NARTAMONGÆ» (тт. I-X)**

Том I, 2002 г.

Предисловие (Foreword).....	VII
<i>V. I. АБАЕВ.</i> The Ossetes: Scythians of the 21 st Century.....	XI
<i>D. S. RAEVSKY.</i> Scythian Cultural Clichés: Aspects of Interpretation.....	1
<i>Fr. CORNILLOT.</i> Les racines mythiques de l'appellation des Nartes.....	11
<i>A. ALEMANY.</i> The “Alanic” Title * <i>Bayātar</i>	77
<i>Yu. DZITTSOITY.</i> Ossetic <i>fydaz</i> and OPrs. <i>dušiyāra</i> -.....	87
<i>D. TESTEN.</i> The Amyrgian Scythians and the Achaemenid Empire.....	93
<i>T. Н. ПАХАЛИНА.</i> Скифо-осетинские этимологии.....	101
E. BENVENISTE’S CENTENARY.....	107
<i>Fr. BADER</i> (Essay).....	109
<i>G. LAZARD</i> (Essay).....	120
<i>E. KURYŁOWICZ</i> (Recension).....	129
<i>E. BENVENISTE</i> (Letter).....	132
SELECTED NARTÆ TALES.....	133

Том II, 2003 г.

<i>Sir Harold W. BAILEY.</i> Ossetic (Nartæ).....	7
<i>S. ENGBERG, A. LUBOTSKY.</i> Alanic Marginal Notes in a Byzantine Manuscript: A Preliminary Report.....	41
<i>С. ПЕРЕВАЛОВ.</i> Бакур-алан из древней Иберии.....	47
<i>Fr. CORNILLOT.</i> Du titre ossète <i>ældar</i> aux sources de l’Iran.....	57
<i>A. CHRISTOL.</i> Le lexique des couleurs en ossète – (pré)histoire d’un champ lexical.....	85

<i>Я. ЛЕБЕДИНСКИЙ. GALLIA ULTERIOR: К вопросу об Аланском королевстве на Луаре.....</i>	107
<i>С. ZUCKERMAN. Les Alains et les As dans le Haut Moyen Âge.....</i>	127
<i>Р. ОГНИВЕНЕ. Jäbä and Subä'ätäj's Military Expedition to the West: Sources of the first Struggle between the Alans and the Mongols.....</i>	163
<i>С. ПЕРЕВАЛОВ (рец.) Аланский мир от Испании до Китая.....</i>	187
<i>SELECTED NARTÆ TALES.....</i>	199

Том III, 2005 г.

<i>Иуа GERSHEVITCH. Word and Spirit in Ossetic.....</i>	7
<i>В. И. АБАЕВ. Avestica.....</i>	21
<i>Жильбер ЛАЗАР. Сослагательное и желательное наклонения в осетинском языке.....</i>	37
<i>Fridrik THORDARSON. The Ossetic Gerund.....</i>	49
<i>Дж. И. ЭДЕЛЬМАН. Фрагмент истории осетинских числительных.....</i>	59
<i>Ю. А. ДЗИЦКОЙТЫ. Два этюда по исторической фонетике осетинского языка.....</i>	69
<i>Fridrik THORDARSON. Ossetic.....</i>	75
<i>В. С. УАРЗИАТИ. Культурно-исторический анализ осетинского столика «фынг».....</i>	110
<i>З. Л. ЦХУРБАТИ. Мотив мирового дерева в осетинском нартовском эпосе.....</i>	123
<i>Ю. А. ДЗИЦКОЙТЫ, К. К. КОЧИЕВ. Нарты и ваюги в селении Лац: на границе двух миров.....</i>	141
<i>В. М. ГУСАЛОВ. Сраоша в осетинском эпосе.....</i>	151
<i>Sonia FRITZ, Jost GIPPERT. Nartica I: The Historical Satana Revisited.....</i>	159
<i>Dean A. MILLER. The Warrior-hero out of Control: Batradz and His Compeers.....</i>	202
<i>SELECTED NARTÆ TALES. Translated by Walter MAY. How Хамус's Son Batraz Avenged his Father's Death.....</i>	213
<i>Рецензии на I том журнала «Nartamongæ».....</i>	219
<i>Гусалов Виталий Михайлович (некролог).....</i>	226

Том IV, 2007 г.

<i>Kirsten Schack</i> АБРАХАМСЕН. The Biographic Data, Information about the Scientific Activity and the List of Publications of Fridric Thordarson.....	7
<i>Fridrik THORDARSON</i> . Ossetisch <i>uæxsk / usqæ</i> «Schulter» Lexikalische Marginalien.....	16
<i>Н. Я. ГАБАРАЕВ</i> . Фридрих Тордарсон – осетиновед. (<i>Герундий в осетинском</i>)	25
<i>Иуа GERSHEVITCH</i> . Linguistic Geography and Historical Linguistics.....	32
<i>V. I. АБАЕВ, W. BELARDI, N. MINISSI</i> . Profilo Grammaticale Dell'osseto Letterario Moderno.....	50
<i>Gilbert LAZARD</i> . L'ossète, Langue Iranienne du Caucase.....	66
<i>В. И. АБАЕВ</i> . О собственных именах нартовского эпоса.....	74
<i>Е. Б. БЕСОЛОВА</i> . Еще раз о слове « <i>цирхъ / цирыхъ</i> » из нартовских сказаний осетин.....	91
<i>Ю. А. ДЗИЦКОЙТЫ</i> . К этимологии топонима <i>K'wydar</i> 'Южная Осетия'	97
<i>Alain CHRISTOL</i> . Scythica 6: Quand la Bière Fermente...: Ossète Æntauyn	141
<i>Л. И. ЛАВРОВ</i> . Памятник кабардинского и осетинского языков XVII в.	149
<i>István ERDÉLYI</i> . Goten und Hunnen in Südrußland.....	163
<i>David TESTEN</i> . Ibn Rusta and Bakrī on the Ossetians and the Arkhaz.....	172
<i>Agustí ALEMANY</i> . Addac, Alanenkönig in Hispania.....	180
<i>Я. ЛЕБЕДИНСКИЙ</i> . Исследовательский кружок «Галлия-Сарматия».....	187
<i>А. А. ТУАЛЛАГОВ</i> . К вопросу о сарматских «жезлах» и скипетрах.....	194
<i>Ю. А. ПРОКОПЕНКО</i> . К вопросу об этнополитической истории населения Центрального Предкавказья II в. до н.э. – нач. I в. н.э.	212
<i>А. К. НЕФЁДКИН</i> . Боевые собаки сарматов и аланов.....	236
<i>Ф. Х. ГУТНОВ</i> . Эксусиократор Алании и архонт Асии в X-XI вв.	241
SELECTED NARTÆ TALES. <i>Translated by Walter MAY</i> . Wyryzmæg's nameless son.....	263

<i>Ю. С. ГАГЛОЙТИ</i> . Новый труд по истории алан. (А. Алемань. «Аланы в древних и средневековых письменных источниках». М., 2005). <i>Рецензия</i>	271
---	-----

Том V, 2008 г.

<i>Alexander LUBOTSKY</i> . Avestan <i>x'arənah-</i> : the Etymology and Concept.....	9
<i>Иуа GERSHEVITCH</i> . An Old Persian Waiting for Godot.....	19

<i>T. N. PAKHALINA. On the Etymology of the Avestan Name Zardaŋuštra and Some of its Epithets</i>	39
<i>В. В. НАПОЛЬСКИХ. Кентавр ~ Гандхарва ~ Дракон ~ Медведь: К эволюции одного мифологического образа в Северной Евразии</i>	43
<i>Ю. А. ДЗИЦЦОЙТЫ. К этимологии термина nart</i>	64
<i>Oswald SZEMERÉNYI. Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian – Skudra – Sogdian – Saka</i>	97
<i>Alain CHRISTOL. Au Caucase: le Banquet des Nartes</i>	137
<i>François CORNILLOT. Le Testament du Roi Rasperagan: du Feu des Slaves au Nom des Roxolans</i>	148
<i>В. И. АБАЕВ. Дохристианская религия алан</i>	182
<i>Fridrik THORDARSON. Old Ossetic Accentuation</i>	194
<i>Ф. Х. ГУТНОВ. Феодалные общества Северного Кавказа в предмонгольский период</i>	205

SELECTED NARTÆ TALES

<i>The Nameless Son of Wyrgyzmæg</i>	243
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

<i>Толковый словарь осетинского языка / Под общей редакцией Н. Я. Габараева. Т. I: А–Æ. М., «Наука». 2007. 510 с.</i>	255
<i>Sonja FRITZ. Some Short Remarks on Fridrik Thordarson’s “Ossetic Grammatical Studies” (Некоторые краткие замечания о работе Фридрика Тордарсона «Очерки грамматики осетинского языка», вышедшей в Германии на немецком языке в 2008 г.)</i>	281

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

<i>И. ГЕРШЕВИЧ. I-я международная конференция по осетиноведению</i>	285
<i>А. П. ДЕРЕВЯНКО, В. И. МОЛОДИН. Российско-японская программа «Пазырык» – первый год совместных исследований</i>	289

Том VI, 2009 г.

<i>Alexander LUBOTSKY. Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations</i>	7
<i>Э. А. ГРАНТОВСКИЙ. О распространении иранских племен на территории Ирана</i>	24
<i>В. И. АБАЕВ. Из иранской ономастики</i>	74

З. Н. ВАНЕЕВ. Народное предание о происхождении осетин (к проблеме общественного строя Овсского царства).....	95
Иггар АЛИЕВ. Сармато-аланы на пути в Иран.....	114
Ronald KIM. On the Historical Phonology of Ossetic: the Origin of the Ob- lique Case Suffix.....	131
L. GAÁL. Ursprung des Ossetischen Verbalpräfixes <i>ra-</i>	175
Р. Л. ЦАБОЛОВ. К истории осетинских провербов.....	191
Н. Я. ГАБАРАЕВ. Некоторые тревожные проблемы осетинского языка	239
Agusti ALEMANY. La Lengua de los Alanos: Problemática General.....	264
I. A. RICHMOND. The Sarmatae, <i>Bremetennacvm Veteranorvm</i> and the <i>Re- gio Bremetennacensis</i>	273
Ю. С. ГАГЛОЙТИ. Сведения Страбона о горцах эллинистической Иберии.....	298
К. К. КОЧИЕВ. Опыт осетиноведческого комментария к рассказу Геро- дота об Эксампее и котле Арианта.....	319

SELECTED NARTÆ TALES

The Legend about Nart Uruzmag and Batradz the Son of Hamits.....	346
Tamerlan A. GURIEV. What's Behind an Epic Name.....	350

РЕЦЕНЗИЯ

Т. А. ГУРИЕВ. Скифские элементы в искусстве Индии (<i>Заметки о кни- ге Swati Ray «Scythian Elements in Early Indian Art». New Delhi, 2009</i>).....	355
--	-----

Том VII, 2010 г.

Список трудов В. И. Абаева. Составила З. Г. Исаева.....	7
Т. А. ГУРИЕВ. Василий Иванович Абаев (<i>к 110-летию со дня рождения</i>)	25
Олег Н. ТРУБАЧЕВ. Василий Иванович Абаев и этимология	41
Иуа GERSHEVITCH. Fossilized Imperativial Morphemes in Ossetic.....	50
М. И. ИСАЕВ. Из воспоминаний ученика об учителе.....	64
Д. И. ЭДЕЛЬМАН. К происхождению иранско-европейских грамматических изоглосс.....	73
В. И. АБАЕВ. Сравнительно-историческое иранское языкознание.....	85
Alain CHRISTOL. De la Parole a la Prière (oss. <i>Кивун</i>).....	90
Н. А. ДЖАНАЕВА. Мифосистема нартовского эпоса осетин в сравнительно-типологическом освещении.....	97

<i>Laurent ALIBERT. Légendes des Nartes, Roman Arthurien, Saga Islandaise: Organisation du Banquet et Rôle de la Coupe Sacrée.....</i>	112
<i>К. В. ТРЕВЕР. Сэнмурв-паскудж собака-птица.....</i>	130
<i>Ю. А. ДЗИЦЦОЙТЫ. Гиппологическая лексика в языке нартовского эпоса осетин.....</i>	164
<i>Антонио ПАНАИНО. «Венера» в осетинском языке.....</i>	201
<i>И. М. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ. Памирские языки о мифологии древних иранцев.....</i>	207
<i>Gherardo GNOLI. Two Historical Questions Relating to the Alans and the Mounins.....</i>	214
<i>Agustí ALEMANY. Decanus, Centenarius, Millenarius.....</i>	220
<i>Elio PROVASI. Wanderers and Prophets in the Caucasus.....</i>	237
<i>Fridrik THORDARSON. Gallia Alanica.....</i>	253
<i>Д. К. ХЕТАГУРОВА. Трансформация жанра колыбельной песни в лирике символизма (Ф. К. Сологуб, К. Д. Бальмонт, А. И. Токаев).....</i>	265
<i>И. АЛИЕВ, М. ПОГРЕБОВА. Об этнических процессах в областях Восточного Закавказья и Западного Ирана в конце II – начале I тысячелетия до н. э.</i>	281
<i>Б. В. ТЕХОВ. Кобано-тлийская археологическая культура эпохи поздней бронзы и раннего железа Центрального Кавказа.....</i>	299
ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО	
<i>Л. ЧИБИРОВ. Первый ученый-археолог осетинского народа. К юбилею профессора Б. В. Техова.....</i>	325

Том VIII, 2011 г.

<i>Жозель ГРИСВАР. Мотив меча, брошенного в озеро: смерть Артура и смерть Батрадза.....</i>	7
<i>Жорж ДЮМЕЗИЛЬ. Сидамон и его братья.....</i>	89
<i>Ален КРИСТОЛЬ. Сырдон и Одиссей.....</i>	159
<i>Le livre des héros. Légends sur les Nartes. Introduction (par Georges Dumézil)</i>	171
<i>Roland BIEIMEIER. Das Alanische bei Tzetzes.....</i>	180
<i>Ladislav ZGUSTA. Typology of Etymological Dictionaries and V. I. Abaev's Ossetic Dicionary.....</i>	207
<i>Fridrik THORDARSON. Preverbs in Ossetic.....</i>	219
<i>Fridrik THORDARSON. Linguistic Contacts between the Ossetes and the Kartvelians.....</i>	229

<i>Adriano Valerio ROSSI</i> . Ossetic and Balochi in V. I. Abaev's <i>Slovar'</i>	236
<i>Richard N. FRYE</i> . Ossete – Central Asian Connections.....	285
<i>И. М. ДЪЯКОНОВ</i> . К методике исследований по этнической истории («киммерийцы»).....	289
<i>В. И. АБАЕВ</i> . К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов.....	305
<i>Е. Е. КУЗЬМИНА</i> . Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических данных.....	318
Памяти Магомета Измайловича Исаева.....	354

Том IX, 2012 г.

<i>В. И. АБАЕВ</i> . Скифский язык.....	7
<i>К. Т. ВИТЧАК</i> . Скифский язык: опыт описания.....	115
<i>Кристоф ВЪЕЛЬ</i> . Осетино-арийский героический мифоцикл.....	131
<i>Жорж ШАРАШИДЗЕ</i> . Индоевропейская память Кавказа.....	170
<i>Alain CHRISTOL (Rouen)</i> . Parole et Assemblée: de la Scythie aux Balkans	237
<i>Anna BUTLER</i> . Three Digoron Notes.....	245
<i>Е. Б. БЕСОЛОВА</i> . К этимологии термина «Нарт».....	250
<i>Я. В. ВАСИЛЬКОВ, Д. РАЗАУСКАС</i> . Балтийский ключ к проблеме Вия-Вайю.....	261
<i>Roland BIELMEIER</i> . Präverbien im Ossetischen.....	292
<i>Roland BIELMEIER</i> . Zur Entwicklung der Ossetischen Deklination.....	311
<i>В. Б. КОВАЛЕВСКАЯ</i> . Конь в истории и языке осетин.....	321
<i>Ю. А. ДЗИЦЦОЙТЫ</i> . Этимологические заметки.....	331
<i>И. М. ДЪЯКОНОВ</i> . К методике исследований по этнической истории («киммерийцы»).....	340
<i>J. HARMATTA</i> . Proto-Iranians and Proto-Indians in Central Asia in the 2nd Millennium BC. (Linguistic Evidence).....	356
Юбилей ученого (к юбилею Л. А Чибирова).....	368

Том X, 2013 г.

<i>Э. А. ГРАНТОВСКИЙ</i> . «Серая керамика», «расписная керамика» и индоиранцы.....	7
<i>S. S. MISRA</i> . Bearing of the Indo-European Comparative Grammar on the Aryan Problem.....	48

<i>F. R. ALLCHIN. Archeological and Language-Historical Evidence for the Movement of Indo-Aryan Speaking Peoples into South Asia</i>	65
<i>В. И. АБАЕВ. Жанровые истоки «Слова о полку Игореве» в свете сравнительного фольклора</i>	84
<i>Sonja FRITZ, Jost GIPPERT. Wyrzmãgs Eselsritt</i>	110
<i>V. A. KUZNETSOV. The Avars in the Nart Epos of the Ossets</i>	127
<i>Е. Б. БЕСОЛОВА. О форме мировосприятия нартов</i>	133
<i>Alain CHRISTOL. Introduction à l'Ossète</i>	141
<i>Alain CHRISTOL. Scythica (1, 2, 3)</i>	199
<i>Alain CHRISTOL. Scythica (5)</i>	210
<i>Ю. А. ДЗИЦКОЙТЫ. К этимологии теонима «куырдалæгон»</i>	223
<i>В. А. КУЗНЕЦОВ. Средневековые дольменообразные склепы Верхнего Прикубанья</i>	234
<i>Ильа GERSHEVITCH. The Ossetic 3rd Plural Imperative</i>	250
<i>Rainer ECKERT. Zu Einigen Ossetisch-Slawischen Übereinstimmungen</i>	262
<i>Sonja FRITZ. Ein Frühes Ossetisches Sprachdenkmal</i>	270
<i>Fridrik THORDARSON. An Ossetic Miscellany Lexical Marginalia</i>	281
<i>Dieter WEBER. Eine Angeblich Slavisch-Ossetische Lexikalische Übereinstimmung</i>	290
<i>Vladimir E. OREL. Ossetica</i>	296
Содержание опубликованных томов журнала «Nartamongæ» (тт. I-X)...	300

Издательство “Проект-Пресс”, 362003, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5.

Отпечатано в полном соответствии с предоставленными диапозитивами в ОАО
«Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева».
362011, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 16. Тел.: 76-99-11, 76-81-97, 74-24-23.